

«ЛЕХАИМ»

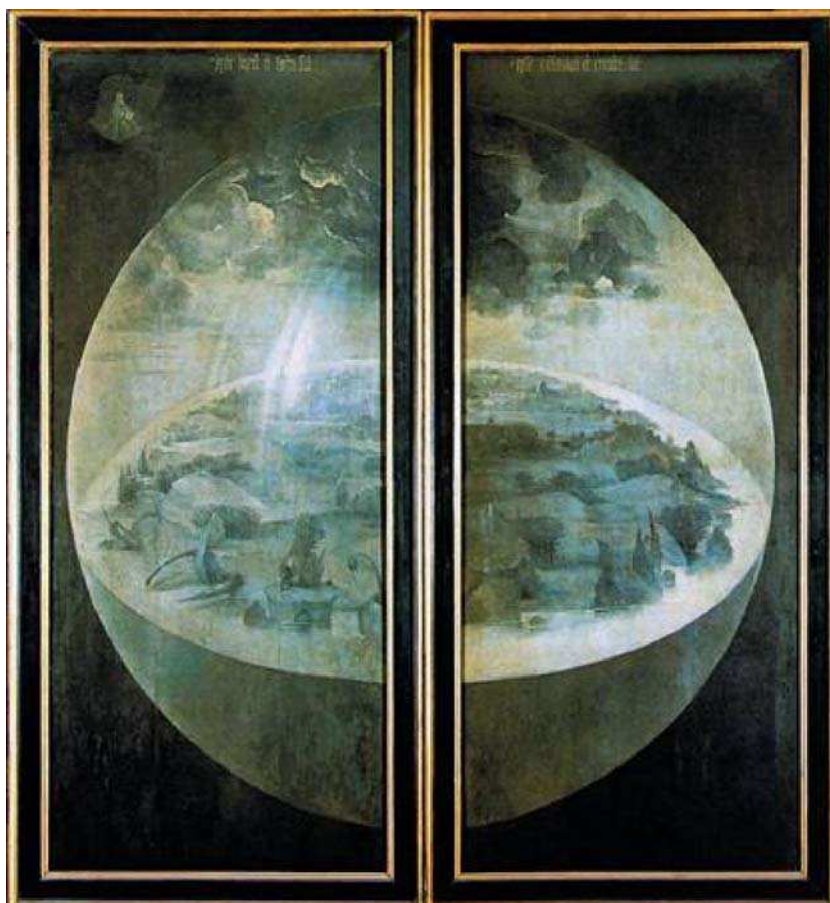
**АВГУСТ
2010**

**АВ
5770**

№ 8(220)

Сознание, определяющее бытие

Nĩño ààè ò àèè Éĩño Ñ àèí cáódãè Ñãđì àí Áđàí í àáđ



Иероним Босх. «Сад земных наслаждений» (триптих, левая и правая панели). 1504 год

ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

11 тишрея 5712 (11 октября 1951) года

<...> Отвечаю на Ваш вопрос о моем отношении к теории эволюции. Вы не уточнили, какую именно эволюцию имеете в виду. Вероятно, речь идет об эволюции растительного и животного мира. Я считаю, в согласии с Торой, что в течение шести дней Творения Б-г создал Четыре царства (независимые друг от друга царства минералов, растений, животных и человека). Наши мудрецы подробно разбирали этот вопрос. Однако Творение не отрицает возможности последующей эволюции отдельных видов через различные мутации.

<...> На первый взгляд есть противоречие между выводами исследователей о том, сколько времени требуется «для появления письменности, эволюции и развития языков и культур», и взглядами Торы. Оценки ученых не совпадают с простым, буквальным значением Торы, положениями наших мудрецов и традицией, веками признаваемой нашим народом, о возрасте человечества с момента Сотворения. Согласно традиции с Сотворения мира прошло 5712 лет – мы так и пишем в различных наших документах.

На мой взгляд, однако, никакого противоречия здесь нет. Знаменитое правило, названное по имени Гейзенберга, применимо к любым научным заключениям: все «законы» в любой отрасли науки – это гипотезы и предположения, которые видятся наиболее подходящими или наиболее вероятными. Иными словами, никогда нельзя с достоверностью сказать, что произойдет в будущем. Можно только давать предположительные оценки. Одну из таких оценок – чем больше событий, тем значительнее вероятность того, что их доля в общем числе событий соответствует нашей гипотезе (по отношению к количеству событий, не укладывающихся в гипотезу), – мы и называем «законом».

То же самое верно применительно ко всем «законам природы» без исключения – и уж тем более в отношении теории эволюции: даже ученые высказывают множество точек зрения, полностью противоречащих друг другу.

Далее, даже если сегодня действует закон (реальный, а не предположительный) и эволюционный процесс действительно ныне имеет место, из этого никоим образом не следует, что какой-то закон или процесс работал в предшествующие эпохи, отстоящие от нас на тысячи лет.

Когда кто-то хочет обсудить эволюцию, совершавшуюся в древние времена, приходится опираться на многочисленные допущения, при этом для многих из них нет экспериментального базиса. Все исследователи охотно признают, что природная среда и биологические условия тогда значительно отличались от нынешних. Совокупность высокочередных параметров включала температуру, атмосферное давление, внешние уровни радиоактивности, взаимодействие флоры и фауны и пр. Поразительно, что исследователи исходят из современного эволюционного процесса как основы для ретроактивных выводов о далеком прошлом – словно ничего не изменилось! Они выдвигают предположения и приходят к выводам (при этом никто даже не пытается проверить, применимы ли эти теории к существовавшим тогда условиям), которые принимают без тени сомнения.

В современную эпоху мощного технического прогресса даже слабые притязания на достоверность эволюционной теории рассыпались в прах. К примеру, ныне доказано, что минимальное количество радиоактивного материала полностью меняет процесс и скорость событий, иногда в удивительной степени. Это открытие полностью отвергает всякую возможность научных доказательств эволюции растительных и животных видов в те времена, когда окружающая среда содержала значительно большее количество радиоактивного материала, чем сегодня.

И это только один небольшой аспект радикально изменившихся условий. Произошли и другие фундаментальные изменения – например, в составе и плотности атмосферы, что необычайно сильно повлияло на солнечные и космические лучи всех видов, на то, как они проникают через атмосферу и воздействуют на Землю.

И в добавление к вышесказанному. Все теории эволюции основаны на допущении, что мир возник с первоматерии, а потом в какой-то момент (по совершенно неизвестным нам причинам) началась эволюция. Различные части первоматерии предположительно соединились кумулятивным образом, и материя эволюционировала в растения, затем в животных и т. д. Когда же задают вопрос о том, откуда произошла первоматерия, в ответ мы слышим, что не дело ученого отвечать на него. Верующий же ученый может ответить, что Б-г создал первоматерию ex nihilo.

То же относится к другому фундаментальному вопросу: что породило эволюционный процесс и почему именно в этот момент, не раньше и не позже? На этот вопрос наука тоже не дает ответа. Таким образом, с научной точки зрения вера в то, что Б-г создал миллиарды атомов, установил законы, в соответствии с которыми эти атомы шаг за шагом эволюционировали, ничем не отличается от веры в то, что – в соответствии с прямым смыслом Сефер Берешит – Б-г создал небеса и землю в первый день, отделил воды во второй и т. д. В шестой день Он сотворил человека, имеющего разум, способного говорить и достигшего высокого уровня в процессе эволюции.

С точки зрения современной науки крайне маловероятным представляется самопроизвольное зарождение нечего из ничего – даже простого одноклеточного организма, – не говоря уже о зарождении из первичной материи высокоорганизованного организма^[1]. В конечном счете «наука» объясняет явления, опираясь на хотя бы единожды зафиксированный опыт. Таким образом, сотворение из абсолютного ничто не может быть «доказано». Напротив, согласно недавно сделанным заключениям исследователей, разрушение чего-то до состояния «ничто», как и происхождение чего-то, созидание чего-то из абсолютного «ничто», в природе невозможно.

Тот, кто верит в сотворение *ex nihilo*, вопреки подобным заключениям, должен легко поверить и в сотворение полностью развитых животных, людей и т. д. Как говорили наши мудрецы, «Все, что Б-г сотворил, было сотворено в законченном виде» (Хулин, 60а). Нет никаких логических оснований ограничивать способность Б-га к созиданию чего-то из ничего. Тот, Кто смог сделать это, несомненно, мог и сотворить человека из пригоршни земли.

Таким образом, все оценки того, сколь долгое время занял эволюционный процесс, уводят нас в сторону: нет ни одной научной теории, ни одного аргумента, подтверждающего, что формы земной жизни не были сотворены в совершенно законченном виде.

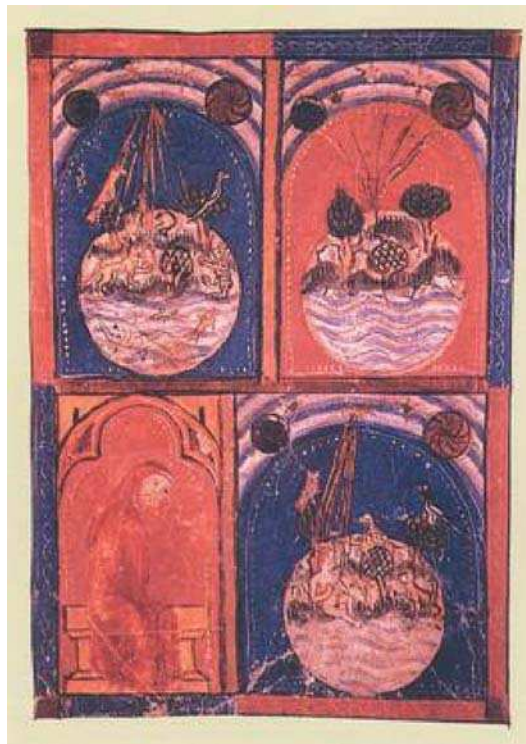
Поднимался вопрос: зачем Б-г создал отдельно материю, растения, животных, людей? Он мог создать первоматерию и позволить ей развиваться в соответствии с законами эволюции. Зачем Ему надо было утруждать Себя сотворением мира в течение шести дней? Очевидно, что этот вопрос лишен научного смысла и внутренне противоречив.

Научного объяснения ни сотворения *ex nihilo*, ни законов природы не существует. Поэтому нет никакой причины верить в одно иррациональное событие больше, чем в другое, столь же иррациональное. Напротив, сотворение *ex nihilo*, как уже упоминалось, еще менее вероятно, чем сотворение человека непосредственно из земли, вне эволюционного процесса.

Между прочим, есть люди, которые интерпретируют слова наших мудрецов «Б-г строит миры и разрушает их», а также утверждения Зоара и других каббалистических трудов о первочеловеке буквально, то есть: существовали телесный человек и физические миры, позже разрушенные. И только потом был сотворен наш мир, которому сейчас 5712 лет. Такие толкования действительно можно найти в нескольких книгах, а также в трудах некоторых ранних каббалистов (ряд источников приводится в Тора Шелейма, Берешит, 1:5, с. 422 и др.).

В сфере каббалы, как и во всех областях Торы, полемика допустима только до того момента, когда согласовано и принято некое решение, в соответствии с

требованиями дискуссии о Торе. До Аризалья происходили обсуждения и споры. Однако Аризаль считался в еврейском мире – и у ашкеназов (среди них Алтер Ребе и Виленский гаон), и у сефардов – авторитетом в каббале. Он высказал решающее слово: Б-жественное провидение не предусматривало никакого физического мира, подобного существующему ныне, ибо материальный космос появился единожды, в рамках нынешнего «цикла шмиты» (ср.: Тора Ор рабби Шнеура-Залмана из Ляд, 51д; Торат Хаим, Тора Шелейма, Берешит, 1:5, с. 422 и т. д.). В перспективе Торы недопустимо давать какое-либо иное объяснение событий (как происходило Творение и т. д.), отличное от Аризалья.



**Последние дни Творения (фрагмент). Миниатюра. Сараевская агада. Испания. XIV век.
Национальный музей Боснии и Герцеговины. Сараево**

НОВАЯ ОДЕЖДА КОРОЛЯ

10 мархешвана 5716 (26 октября 1955) года

<...> Вы спрашиваете, как реагировать, если Вам говорят: наука якобы доказала, будто мир существует больше чем 5715 лет? Можно ли на это ответить знаменитой фразой наших мудрецов, что Б-г «строил миры и разрушал их»?

Смысл этой фразы не в том, что Б-г создавал какие-то предшествующие физические миры. Речь здесь идет о духовных мирах, как написано у Алтер Ребе в его Тора Ор, раздел Шмот.

Утверждение, что у науки есть какие-то доказательства, абсолютная ложь. В коротком письме разъяснить все это довольно трудно, однако главное положение научных работ о том, что мир существует несколько миллиардов лет, опирается на следующую теорию.

На берегах реки постепенно накапливается слой песка, и каждая сотня футов образуется в течение ряда лет – в зависимости от окружающих условий (имеются в виду сегодняшние температура, атмосферное давление, направление ветра, соотношение элементов окружающей среды и т. д.). Поскольку существуют горы песка высотой в несколько миль, предполагается, что эти горы образовались песчинка за песчинкой (течением той же реки – и при этом перечисленные выше условия не оставались неизменными в течение тысяч лет!) за такой-то период, который больше, чем 5715 лет.

Задается вопрос: откуда взялись эти песчинки? Ответа нет.

Задается вопрос: если вдруг в некоем месте на плоской равнине появились песчинки, разве невозможно, чтобы так же вдруг появились и горы? Опять-таки, ответа нет.

Задается вопрос: откуда вы знаете, что пять тысяч лет назад все условия, связанные с рекой, ветром и т. д., были теми же, что и сегодня? Ответа снова нет.

Наконец, еще один вопрос: если вы настаиваете на научном характере ваших доказательств, как же произошло, что результаты исследований возраста Вселенной, полученные астрофизиками, археологами, геологами, данные изучения радиоактивности категорически противоречат друг другу? Например, один исследователь полагает, что возраст мира не может превышать полумиллиарда лет, а другой – что он не меньше двух миллиардов лет!

Эти противоречия вполне определенно доказывают, что все дискуссии и исследования – лишь теории, ни на чем не основанные.

ДАТИРОВКА ПО СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

1 сивана 5716 (11 мая 1956) года

Отвечаю на Ваше письмо от 25 ияра. Счастлив узнать, что многие Ваши сомнения рассеялись. В наших священных книгах объясняется, что сафек (сомнение) имеет то же числовое значение, что и имя Амалек^[2]. Сомнение тяготеет к клипе Амалека – духовной силе нечистоты, которую представлял Амалек. Эта сила воплощает желание прыгнуть в кипящую воду – точно так же она пытается остудить рвение еврейского народа^[3]. То же самое относится ко всем Вашим сомнениям: убежден, они порождены влиянием Амалека.

Вы пишете, что прочли в книжках по астрономии о звездах, свет которых достигает Земли за шесть тысяч лет и более. Как же это согласуется, спрашиваете Вы, с утверждением нашей святой Торы, что со времени Творения прошло 5715 лет?

Даже если предположить, что вышеупомянутые расчеты расстояния до звезд правильны (а в этом вопросе мнения ученых расходятся), они не противоречат принятому нами возрасту Вселенной. Когда были созданы звезды, тогда же и световые лучи. Б-г мог сотворить звезду, которая начинала светить непосредственно после творения, – точно так же Он мог сотворить звезду, которая уже светила. Тем более что в Торе сказано: «И было утро, день один», хотя «да будут светила» сказано только на четвертый день; то есть свет существовал до того, как были сотворены светила.

Вы пишете, что шесть дней Творения не соответствуют нашим дням, то есть не состоят из 24 часов и т. д. К сожалению, подобные толкования предлагаются в нескольких книгах. Они извращают содержание стихов (идя на компромисс, из почитания Торы), поскольку не очень представляют себе, на каких «основаниях» строятся разные научные теории. Стоит только изучить и разобрать эти основания, и любому психически здоровому человеку станет ясно, что речь идет не более чем о гипотезах, очень далеких от фактов. Это мнение ученых, как ясно указывается в их книжках. Книги, обычно изучаемые в школах для начинающих, скрывают от читателей многие трудности и сомнения, связанные с излагаемыми гипотезами.

У меня нет возможности глубже осветить здесь эту тему. Но замечу: простейшее доказательство того, что шесть дней Творения состояли из 24 часов каждый, состоит в том, что идея соблюдения шабата после шести дней недели соотносится с отдыхом Б-га после шести дней Творения.

[1] Отсюда следует, что идея Большого взрыва требует еще большего акта веры, чем сотворение человека из предсуществующей материи, о котором рассказано в Торе.

[2] «Сафек» состоит из еврейских букв «самех» – 60, «пей» – 80 и «куф» – 100. $60+80+100=240$. «Амалек» состоит из букв «аин» – 70, «мем» – 40, «ламед» – 30 и «куф» – 100. $70+40+30+100=240$.

[3] Об Амалеке в стихе говорится: «ашер карша ба-дерех». Хотя буквально это означает «тот, кто наткнулся на тебя по пути (из Египта)», «карха» может также подчеркивать «кар», «холод». Бесцветное, пресное влияние Амалека можно толковать как «расхолаживающее». Когда человек испытывает духовный подъем и энтузиазм, Амалек стремится ввергнуть его в сомнения, сделать более циничным и т. д.

ВЕСЬ МИР – ТОРА

Аиде Эацад

В эти дни евреи во всех странах отмечают важную дату – 250 лет с момента ухода из этого мира выдающегося мыслителя и наставника, основателя хасидизма рабби Исраэля Бааль-Шем-Това (Бешта). Полагаю, сейчас самое время поговорить о его взглядах на мир, на взаимоотношения человека с Б-гом. Взгляды Бешта по сути революционизировали еврейскую «модель мира», позволили еврею не просто достойно встретить вызовы современной цивилизации, но и стать одним из самых приспособленных к этой цивилизации народов.



Разумеется, даже самый краткий разбор учения Бешта требует куда больших масштабов, чем журнальная страница. Поэтому ограничусь лишь одним аспектом – мыслью основателя хасидизма о том, что вся наша жизненная практика, каждое явление окружающего мира несет в себе урок, усвоение которого способно приблизить нас к Б-гу.

Еврейская философия до Бешта четко делила мир на две части: «святую» и «светскую». Первая – это изучение Торы, молитва, выполнение Б-жественных заповедей. Вторая – повседневная жизнь, заработок, ведение хозяйства, путешествия и тому подобное. Только «святая» часть жизни, только Тора способна приблизить нас к Создателю, «светская» же часть с Б-гом практически не связана. Отсюда часто присутствующая у еврейских религиозных авторитетов до Бешта проповедь аскезы – сокращение «светской» части жизни ради увеличения той ее части, которая посвящена Торе.

Учение Бешта решительно порывает с прежней традицией. Согласно ему, все явления окружающего мира суть знаки, подаваемые нам Б-гом. Соответственно, вся наша жизнь может быть «святой»: наблюдая мир, познавая сокрытые в нем Б-жественные откровения, мы так же приближаемся к нашему небесному Отцу, как если бы 24 часа в сутки изучали святыя книги. Весь мир несет в себе Б-жественное, весь мир – Тора!

Известно, что отец Бааль-Шем-Това покинул этот мир, когда сын был еще ребенком. Почувствовав приближение кончины, он попросил, чтобы сын подошел к нему поближе, и сказал: «Не бойся никого, кроме Б-га одного». Для человека, не знающего языка Торы, необходимо пояснить, что глагол «бояться» в этом контексте имеет смысл не «пугаться», а «благоговеть». То есть отец говорил сыну, что только Б-г заслуживает преклонения, только Он важен, и Он – всё.

С малых лет Бешт следовал этому завету. Он выходил в поле, в лес, проводил долгие часы, размышляя о величии Б-га, обнаруживая знаки этого величия во всех Его творениях. Так он понял, что всё на свете – каждое живое существо, каждый лист на дереве, каждая капля воды в реке, каждый камень – всё раскрывает Б-жественность. Соответственно, познание каждого творения позволяет глубже понять Б-га и Его замысел. Наша задача, смысл жизни человека – раскрыть единство Б-жьего мира с Тем, Кто его создал.

Важность именно этой составляющей мировоззрения Бешта стала очевидной уже после его кончины, в эпоху технологической революции. Наша повседневная жизнь зависит от технологий и от науки, причем чем дальше, тем больше. Старая философия, проводящая четкую границу между «святым» и «светским», по сути вынесла технологическую революцию за скобки, оставила ее «вне Б-га». Неизбежной реакцией на это стало появление так называемого «научного атеизма» – теории, утверждающей, что наука не нуждается в Б-ге и способна представить модель мира без Б-га.

Разграничение «святого» и «светского», науки и религии принесло человечеству много вреда. И дело даже не в том, что, лишившись Б-га, наука немедленно лишилась морали и многократно была использована не для целей созидания, а для целей уничтожения. Главное, человеку очень неудобно в мире, где между материальным и духовным, Б-жественным, стоит стена. Если полагать, что наша повседневная жизнь проходит «вне Б-га», – пусть даже под Его наблюдением, но не приближая нас к Нему, – это приводит к раздвоенности, к душевному конфликту. Недаром врачи вот уже на протяжении десятилетий предостерегают, что научно-техническая революция одним из своих побочных результатов имеет резкий рост нервных и психических заболеваний! Это неизбежный результат того, что человек видит несовместимость «храма» и «лаборатории» – духовной стороны жизни и ее материальной стороны.

Именно этот внутренний конфликт в человеке сняло учение Бешта. Не может быть разделения «святого» и «светского», потому что «светское» – неотъемлемая часть святого, мир со всей его наукой и техникой – часть Б-га! Когда мы говорим в молитве: «Слушай, Израиль, Б-г один», – мы тем самым признаём и публично возвещаем, что Он – единственное, что есть на свете. Все, что есть, – это часть единства, которое есть мир Б-жий. Поэтому если нам кажется, что мы видим вещи или приобретаем знания, противоречащие существованию Б-га или представлению о Его доброте, – это действительно нам просто кажется, поскольку наши знания в данный момент недостаточны, чтобы постичь сущность увиденной вещи или полученной информации.

Еврей, усвоивший мировоззрение Бешта, хасидскую философию, не просто преодолевает кажущийся конфликт материального и духовного, не просто становится более устойчивым перед вызовами ежечасно меняющегося мира. Он видит в своей материальной жизни такое же служение Б-гу, как изучение Торы или молитва в синагоге. Когда человек понимает, что Б-г определяет всё и находится в каждом явлении окружающего мира, – у этого человека не может быть страха перед трудностями, он не может опустить руки, видя препятствия. Мир как Тора, мир, полный Б-га, становится для

него источником безграничной силы и беспредельной радости. Как сказано в псалмах царя Давида: «Вкусите и увидите, как благ Г-сподь! Блажен человек, который уповает на него».

ЛЕХАИМ АВГУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ТШУВА

Ääí Øòäíçäüü

Слово «тшува» проще всего перевести с иврита как «раскаяние». Но, во-первых, это слово, понятное всем, несет в русском языке христианскую коннотацию, а во-вторых, не передает ряд аспектов еврейского понятия «тшува». Оно определяет процесс возвращения к вере во всей его философско-теологической сложности. Перевод, более близкий и по значению, и этимологически, – «возвращение». Возвращение в поисках того, что утрачено на жизненном пути, к прерванному разговору с собственной душой. Осознав несостоятельность своего представления о мироздании, мы останавливаемся, начинаем размышлять, почему потеряли верное направление, и в конце концов возвращаемся к своим истокам и корням. Впрочем, даже если «возвращающийся» не был изначально религиозным человеком, мы говорим именно о возвращении – если не к личному, то к общеврейскому истоку.

Маршрут этого возвращения каждый выбирает сам. Неповторимость личности человека определяет и уникальность избираемой им дороги, у него нет и не может быть попутчиков. К счастью, врата Небес многочисленны. Каждый, кто ощущает неодолимую потребность вернуться к вере, входит в свои собственные, только для него созданные врата. По этому поводу вспоминается описанная в Талмуде история царя Менаше (одного из неудачнейших правителей в истории Иудеи): когда ангелы закрыли перед ним Врата раскаяния, Сам Всевышний создал для него еще одни.

Потребность раскаяться появляется у человека, когда он осознает необходимость глобального изменения всей сложившейся у него системы ценностей. И здесь важно не переусердствовать в самобичевании: ведь, соприкоснувшись со злом, всегда пачкаешься, как и от соприкосновения с грязью. Люди, в той или иной степени предрасположенные к мазохизму, склонны, осознанно или неосознанно, вновь и вновь возвращаться к воспоминаниям о совершенных ими промахах. Из анализа прошлого следует извлекать практические выводы на будущее, и он не должен превращаться в «расчесывание ран». Тот, кто приближается к раскаянию, тот, кто совершает тшуву, не только приходит к мысли о необходимости исправления, но и ощущает готовность, проанализировав прошлое и допущенные когда-то ошибки, подняться на новый уровень сознания. Тшува ставит перед нами не только психологические, но и общемировоззренческие проблемы, прежде всего, проблему понимания категории времени в традиционном контексте.

Однонаправленность времени считается строго установленным фактом, так что выражение «совершить тшуву» звучит парадоксально: вернуться в прошлое, казалось бы, невозможно. Но ведь процесс духовного возвращения совершается не в обычном мире, а в пространстве, неподвластном физическим законам, где будущее и прошлое существуют одновременно и сливаются в бесконечность. В нем нет «точки невозвращения» и необратимых событий. В процессе тшувы мы оказываемся в реальности, где действуют совсем иные законы, где мы можем полностью измениться,

поменяв местами плюсы и минусы или заменив всю систему координат. Это делает понятным следующее свойство тшувы: мы верим, что при определенных условиях она превращает грехи прошлого в заслуги.

Чтобы подняться до этого уровня, необходимо досконально разобраться в себе, проникнув в самые укромные уголки своей души. Впрочем, задача куда сложнее, нежели всеобъемлющий самоанализ. Если мы не просто раскаиваемся в грехах прошлого, но и видим будущее в возвращении к вере, нам приходится погружаться в те сокровеннейшие глубины нашего существа, где душа соприкасается с Б-гом. Только там, в зоне вечных сумерек, можно найти отправную точку для новой системы ценностей. Возвращающийся к вере должен быть готов к тому, что чувства, которые он при этом испытывает, вытеснят прежние, сопровождавшие проступок, да и те, что подтолкнули его к тшuve.

Этот путь особенно сложен, поскольку обычно представляет собой непрерывный процесс, в котором трудно, а то и невозможно поставить точку. Действительно, в какой-то момент мы полагаем, что достигли необходимой глубины, но тут же осознаем, что это не так; процесс продолжается, и мы погружаемся еще глубже. Заметим, что наше изначальное беспокойство не обязательно проистекает из памяти об очевидной ошибке; оно может быть вызвано поступком, представлявшимся нам достойным похвалы; однако в результате нашей духовной эволюции этот поступок стал восприниматься нами как греховный. Таким образом, тшува исправляет не только безусловные грехи, но и нейтральные, а то и добрые дела, совершенные не лучшим образом.

Нам часто хочется однозначности там, где ей нет места. Манихейское, контрастное разделение добра и зла не вписывается в подлинную сложность жизни, ведь даже в таком «однозначном» жанре, как вестерн, хорошие и плохие парни все-таки чем-то схожи. Нельзя ожидать, что столь сложный процесс, как тшува, будет окрашен в черный и белый цвета.

Возвращение к вере – это составление плана на будущее. Его цель – определить новую шкалу ценностей, соответствующую новому духовному уровню. Бесполезно и вредно фиксировать мысли об ошибках, совершенных в прошлом. Они должны стать деталями «машины времени», с помощью которой мы не только ликвидируем ущерб, нанесенный нашей личности в прошлом, но и преобразуем само прошлое.

В основополагающей книге каббалы «Зоар» мы читаем: «Чем более человек способен превратить темноту в свет и горечь в сладость, тем выше ворота, которые для него будут раскрыты». Достижение такого уровня свидетельствует о высокой степени духовного преобразования, ведь критерий совершенной инверсии – именно степень преобразования прошлого. Анализируя свое прошлое, свои проступки, недостаточно лишь молиться о том, чтобы нас простили за зло, причиненное нами кому-то. Это еще не тшува, от нас требуется большее: превратить бывшие ошибки в отправную точку новой, совершенной биографии. Предельно кратко я сформулировал бы это так: не будьте пленниками бывших неудач, стройте будущее из переосмысленного прошлого.

ЛЕХАИМ АВГУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

В МЕСЯЦЕ ЭЛУЛ

Elul Olé

Элул, как известно, предшествует месяцу тишрей, когда мы отмечаем Рош а-Шана и Йом Кипур. В это время каждый предстает пред Высшим судом. Поэтому элул предназначен для глубокого осмысления прожитого за год, для пристального самоанализа, поиска ошибок и путей их исправления. Само название месяца переводят как «всматривание», «поиск», «копание» (Э. Ки-Тов, «Сефер а-тодаа», гл. «О месяце элул»).



Таким образом, традиция определила круг вопросов, которые нам следует обдумать. Как соединить циклы календаря с нашим индивидуальным временем, с личными проблемами и переживаниями? Думаю, не ошибусь, сказав, что большинству из нас не так-то просто настроиться на самоанализ и объективную самооценку только потому, что этого требует календарь. В связи с этим решусь дать совет, указав на то, что почти всегда позволяет найти новые возможности для исправления и самосовершенствования. Это учеба.

Закон обязывает каждого еврея изучать Тору всю жизнь (Рамбам, «Мишне Тора», разд. «Гильхот Талмуд Тора», Алаха, 8). Эта заповедь занимает центральное место в традиции. Мне, как и многим другим в моем поколении, не довелось учиться в еврейской школе – просто потому, что таких школ не было. Даже самостоятельно добывать какие-то знания по еврейской истории или традиции было не так-то просто, а подчас и опасно. Но вот времена изменились, появилась возможность учиться. Все ли и полностью ли используют эти новые возможности?

Не знаю, как вы, но я мог бы уделять гораздо больше времени учебе. Что же мне мешает? Причин много, но среди них есть несколько самых типичных. И тут я хочу перейти от личных проблем к общим, повторяющимся; они упомянуты в Талмуде (Йома, 35б).

Бедняк, богач и распутник прибывают после смерти на Высший суд. На Суде их спрашивают, почему они не учили Тору. Бедняк оправдывается тем, что ему приходилось все время, силы и мысли отдавать поиску хлеба насущного. Тогда ему напоминают о мудреце Гилеле. О нем рассказывают, что, перебравшись из Вавилона в Израиль, он зарабатывал на жизнь тяжелым, низкооплачиваемым трудом и отдавал половину заработанного служителю в бейт мидраш, чтобы иметь возможность учиться у мудрецов Страны Израиль. В один из дней он ничего не заработал, и служитель не пустил его в школу. Возбравшись на крышу, Гилель попытался прослушать занятия через окно. Это происходило зимой, в долгий холодный вечер. Гилеля завалило снегом, и он едва не замерз, но учителя случайно заметили его в окне. Гилеля привели в пример бедняку, дабы показать, что даже беднейшие из бедных могут и должны учиться.

Богач оправдывается тем, что не имел возможности учиться из-за множества важных забот, связанных с его капиталом. Ему приводят в пример рабби Эльазара, сына Харсома, которому достались от отца обширные угодья в разных районах страны. Он же, поручив дела доверенному человеку, посвятил все время учебе. Однажды рабби Эльазара задержали собственные работники, не знавшие его в лицо, и потребовали, чтобы он как житель этого селения выполнил положенные работы. Рабби Эльазар предпочел откупиться: ему не хотелось попусту тратить время, доказывая, что он их хозяин (это окончание истории о нем, приведенной в книге «Эйн Яаков»). Этот рассказ учит нас тому, что избыток средств, как и их недостаток, не оправдывает невежества.

Распутник тоже объясняет, почему остался неучем. Он ссылается на свою красоту, на силу влечений, которым невозможно противостоять. Ему приводят в пример необычайно привлекательного внешне праведника Йосефа. Проданный в рабство в Египет, он оказался в доме вельможи Потифара. Похотливая жена царедворца решила совратить юношу; изо дня в день она пыталась уговорами и угрозами склонить его к прелюбодеянию, но Йосеф не поддавался соблазну.

Заметим: при всех различиях трех героев еврейской истории объединяет то, что знания и личные качества позволяют им добиться успеха в жизни. Гилель был избран нами, рав Эльазар – первосвященником, Йосеф стал фактическим властителем Египта.

Понятно, что мудрецы Талмуда приводят этот рассказ, дабы помочь нам распределить время и силы так, чтобы не страдала учеба. Ни бедность, ни богатство, ни жизненные соблазны не должны мешать ей, как не помешали Гилелю, раву Эльазару, сыну Харсома, и праведнику Йосефу.

Самоанализ и самооценка перед новым годом – дело сугубо индивидуальное, интимное. У каждого из нас свой жизненный путь, свои взгляды, пристрастия и опыт. В конце концов, каждый принимает решения самостоятельно и несет ответственность за сделанный выбор.

Но время идет, и кто знает, будет ли у нас возможность наверстать упущенное?

ИУДАИЗМ И КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

עֲדָיִוִּי עֲאֵי עֵעֹרִי אֵד

Окончание. Начало в № 7, 2010

Начнем с начала. Будет ли иудаизм рассматривать попытки «искусственного» создания человека как запрещенное действие, «игру в Б-га»? Те, кто немного знаком с историей европейского еврейства в Средневековье (или хотя бы с творчеством братьев Стругацких), должны сразу вспомнить историю с големом, которого создал пражский раввин Йеуда-Лива бен Бецалель (известный в иудаизме под именем Маараль). Если раввин создал искусственного человека, значит, это разрешено? Подкрепляют эту идею разнообразные истории про творение големов и обсуждения их статуса (человек или животное), приводимые в Талмуде.

Фразу из Торы «...Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему» часто комментировали. Смысл одного из комментариев таков: человек подобен Всевышнему способностью творить нечто, чего не было раньше. По мнению Маарала, эта способность стоит выше природы. Завершив Творение, Всевышний оставил в нем место для новых существ, таких, например, как новые виды животных и растений, созданные путем скрещивания разных видов. (Следует отметить, что евреям, в отличие от остального человечества, запрещено скрещивать животных и растения – «исур килаим».) И поскольку такие акты творения совершаются благодаря законам, заложенным в природу, кажется, будто они сотворены изначально.

В шестой главе Пиркей Авот (мишна 11) сказано: «Все, что создал Святой [Творец], благословен Он, – создал Он во славу Свою». Вот одно из объяснений этой фразы: любая сила и любой закон, заложенный Всевышним в Творение, может и должен служить для Его славы. Таким образом, если Всевышний заложил в природу возможность клонирования, то задача человека – найти способ использовать это во славу Всевышнего. Значит, «создание» нового человека не только не запрещено иудаизмом изначально, но, возможно, окажется в границах исполнения заповедей Всевышнего.



Мицва, Ршут или Исур?

Система взаимоотношений между еврейским Законом, современными биотехнологиями и биомедицинской этикой получила широкое развитие за последние полвека. Еврейский Закон утверждает, что новые биотехнологии, особенно репродуктивные, не запрещены и не разрешены изначально. Компетентные раввины должны рассматривать индивидуально каждый случай. В целом, есть три возможности. Возможность первая: клонирование будет признано в ряде случаев выполнением заповеди («мицва»). Возможность вторая: клонирование хотя и не будет заповедью, но окажется разрешенным действием («ршут») при выполнении определенных условий. Возможность третья: при определенных ситуациях клонирование будет признано несомненно запрещенным действием («исур»).

Чтобы объяснить, о чем речь, приведем примеры всех трех категорий и их приложения в случае клонирования.

Заповедь

Одна из хорошо разработанных областей во взаимоотношениях иудаизма и биотехнологий – это использование искусственного оплодотворения для пар, которые не могут произвести потомство обычным способом. По мнению подавляющего большинства современных авторитетных раввинов, искусственное оплодотворение в таких случаях станет выполнением заповеди Торы «плодитесь и размножайтесь» или, по крайней мере, выполнением заповеди мудрецов «заселение Земли», обязывающей еврея иметь потомство.

Пользуясь простой логикой, можно вывести отсюда следующее. Представим себе ситуацию, когда даже искусственное оплодотворение не помогает, например, из-за нежизнеспособности мужского семени. Но при разрешенном клонировании генетическим материалом станет ядро соматической клетки мужа. С помощью описанной выше технологии используют яйцеклетку будущей матери с предварительно удаленным ядром, инициируют ее деление и развитие. Полученный жизнеспособный эмбрион имплантируют будущей матери. В таком случае у ребенка будет ДНК отца, мДНК матери, выносит и родит его мать. Это ничуть не хуже обычного искусственного оплодотворения, при котором лишь половина генетического материала была от отца ребенка. Вероятнее всего, клонирование в такой ситуации также будет считаться выполнением заповеди.

Разрешенное действие

Представим себе пару, имеющую детей и выполнившую заповедь «плодиться и размножаться». Они не могут больше иметь детей «обычным» способом, поэтому хотят прибегнуть к искусственному оплодотворению. Большинство авторитетов считают, что это разрешенное действие. Несомненно, подобная логика распространяется и на клонирование, описанное в предыдущем параграфе.

Вероятно, к категории разрешенного действия относится и ситуация, когда незамужняя женщина, желающая иметь детей, прибегнет к клонированию, используя в качестве донорского генетического материала свою же клетку. В ситуации с искусственным оплодотворением такое действие скорее запрещено, чем разрешено, поскольку ей необходимо использовать семя неизвестного донора. Клонирование в подобной ситуации менее проблематично, так как женщина использует свою собственную клетку в качестве генетического материала. Но можно предположить, что такое действие, хотя и не запрещенное, раввины не станут рекомендовать. Довод очень прост: гораздо правильнее выйти замуж и помочь мужчине выполнить заповедь, произведя для него потомство, чем произвести потомство без участия мужчины. Такое поведение называется в иудаизме «битуль мицва» – «отказ от выполнения заповеди».

Запрет

А теперь рассмотрим ситуацию, неоднократно используемую как аргумент адептами клонирования. Они утверждали, что благодаря клонированию гомосексуальные пары смогут иметь потомство, используя собственные гены. С точки зрения иудаизма гомосексуализм категорически запрещен. Соответственно, и клонирование в такой ситуации запрещено.

Неясно, разрешено ли клонирование, если в качестве донора генетического материала используют умершего человека. Ситуация, когда семя человека было заморожено до его смерти, а использовано для искусственного оплодотворения – после, пока вызывает сомнения. Но большинство авторитетов если не запрещают, то, по крайней мере, настоятельно не рекомендуют такую практику. Скорее всего, это распространится и на клонирование.

Родители клона

В вопросе родственных взаимоотношений клона поможет тот факт, что большая часть подобных вопросов, так или иначе, подвергались рассмотрению при анализе отношения иудаизма к искусственному оплодотворению.

Прежде всего, определимся с родителями клона. В связи с отцовством возможны две ситуации. Если донором генетического материала был мужчина, то, несомненно, он и будет отцом. Логика такова: почти все авторитеты считают, что отец при искусственном оплодотворении – это донор семени. Он дает лишь половину генетического материала для эмбриона. В случае же клонирования донор предоставляет весь генетический материал. Поэтому в его отцовстве еще меньше сомнений.

Если же донор женщина, статус отца определить крайне трудно, и раввинам придется рассмотреть этот вопрос отдельно, когда его поставят на повестку дня. Но, как уже говорилось, раввины, вероятнее всего, не будут рекомендовать женщинам становиться донорами для репродуктивного клонирования.

Установление материнства в обеих ситуациях, описанных выше, несколько проблематичнее. В первой ситуации претендовать на материнство могут две женщины – донор яйцеклетки и суррогатная мать. Во второй ситуации к ним добавится еще и донор генетического материала.

При обсуждении вопроса о материнстве в случае искусственного оплодотворения, когда эмбрион, полученный в результате оплодотворения яйцеклетки одной женщины, выносит другая (так называемая суррогатная мать), возникло два основных направления. Соответственно первому, опирающемуся на основы иудаизма, настоящая мать та, которая выносила и родила ребенка. А донор яйцеклетки (то есть половины генетического материала) не имеет права считаться матерью, поскольку зачатие произошло в пробирке, вне ее тела. Приверженцы другого направления утверждали, будто с точки зрения иудаизма у одного ребенка может быть несколько матерей. Поэтому обе женщины будут считаться матерями ребенка. На практике большинство следует первому мнению, но учитывают и второе, поэтому впоследствии запрещают этому ребенку вступать в брак с родственниками женщины – донора яйцеклетки, как если бы она была настоящей матерью.

Если перенести логику этих направлений на клонирование, возникнет следующая картина. В соответствии с первым направлением, матерью будет та женщина, которая выносила и родила ребенка (суррогатная мать), статус же донора яйцеклетки и донора генетического материала останется под сомнением, но будет учитываться при запрете на брак с родственниками. Если же принять мнение, допускающее возможность нескольких матерей, ситуация не изменится: обе или все три женщины будут считаться матерями.

Папа или брат?

Как уже говорилось, при обсуждении этических проблем клонирования высказывалось предположение, что клон будет не сыном донора генетического материала, а его братом-близнецом. На первый взгляд логика этого предположения вполне убедительна. Ведь у клона и у донора, как и у однояйцевых близнецов, идентичная ДНК. Однако с точки зрения иудаизма понятия «брат» или «сестра» связаны не с генетикой; такое родство возможно только при общем отце или матери.

Выводится это из двух ситуаций, описанных в трактате Талмуда Йевамот (97б). В первой два брата-нееврея переходят в иудаизм. Переход в иудаизм автоматически аннулирует их генетическую связь с родителями. И мудрецы запрещают им выполнять законы левирантного брака (женитьба на вдове умершего бездетного брата), так как они больше не считаются братьями. Во второй ситуации представлены

два брата-близнеца, зачатые, когда их мать еще не была еврейкой; она перешла в иудаизм во время беременности. Хотя в момент гиюра (принятия иудаизма) генетическая связь братьев с матерью была аннулирована Законом, то, что они родились у одной матери, делает их братьями, и они обязаны выполнять законы левирантного брака.

Поэтому клон и донор не могут считаться братьями, поскольку у них нет необходимого для этого условия – общего родителя.

Ду бист а ид?

Разобравшись с родителями, пора разобраться и с национальностью. Точнее, с еврейством ребенка-клона. Еврейский закон утверждает: ребенок, родившийся у еврейской матери, – еврей, независимо от национальности отца, а ребенок, родившийся у нееврейки, – нееврей.

И здесь нужно вернуться к спорам о том, кто будет матерью клона. Если согласиться с тем, что это – суррогатная мать, то национальность клона будет зависеть от ее национальности. Если же допустить, что у ребенка может быть несколько матерей, то в случае, когда хотя бы одна из них нееврейка, будет подвергнуто сомнению еврейство ребенка, и ему придется пройти гиюр (то есть принять иудаизм). Вероятнее всего, большинство авторитетов решат соблюдать строгость в соответствии со вторым мнением.

Права эмбриона

Но все это касается уже родившегося клона. А как же быть с уничтожением и гибелью эмбрионов? Это действительно очень сложный вопрос. Статус эмбриона, полученного путем искусственного оплодотворения в пробирке (IVF), заслуживает отдельного изучения. Если же рассмотреть ситуацию в соответствии с мнением большинства современных авторитетов, то выглядеть она будет примерно так.

Иудаизм запрещает аборт. Но, в отличие от многих других религий, не приравнивает их к убийству взрослого человека. Поэтому запрет не категоричен и есть ряд ситуаций, когда раввины не только разрешают аборт, но и предписывают его как обязательное действие. Например, когда сохранение беременности угрожает жизни матери. Сохранить жизнь матери считается важнее, чем еще не родившемуся ребенку.

Более того, статус плода до 40 дней с момента зачатия далек от статуса живого человека. Для ряда законов Талмуд приравнивает его к «воде». Это вовсе не значит, что аборт на таком раннем сроке разрешен в любом случае. Но многие полагают, что перечень причин, по которым дается разрешение на аборт, может быть расширен.

Еще проще ситуация с эмбрионом, зачатым в пробирке, но не имплантированным (так называемый пре-эмбрион). С одной стороны, как считает большинство авторитетов, создавать такие эмбрионы, зная изначально, что они не будут развиваться и погибнут или их уничтожат, запрещено. Но если их создавали для искусственного оплодотворения, и часть эмбрионов была имплантирована, то гибель оставшихся не является нарушением.

Спасти человека

Одна из высших ценностей иудаизма – человеческая жизнь. Ради спасения жизни Тора предписывает идти на очень большие жертвы, как материальные, так и моральные. Вплоть до нарушения многих заповедей самой Торы. И очевидно, что если уничтожение «лишних» пре-эмбрионов в случае, когда они создавались для искусственного оплодотворения, не является нарушением, то их использование в исследованиях, потенциально ведущих к большим прорывам в медицине, к спасению здоровья и жизни людей, тем более не будет запрещено.

Собственно, участие Хайфского центра Рамбама в исследованиях стволовых клеток заключалось в предоставлении «лишних» пре-эмбрионов, хранившихся в морозильных камерах центра. И на это были получены разрешения раввинов, обоснованные приведенной выше логикой. Таким образом, использование эмбриональных стволовых клеток для медицинских исследований не только не запрещено иудаизмом, но рассматривается как выполнение важной заповеди – спасения жизни человека.

Это позволяет сделать вывод, что если «терапевтическое клонирование» станет возможно, то с точки зрения иудаизма создание пре-эмбриона клона больного человека и выделение из него стволовых клеток для дальнейшего выращивания нужной ткани или органа может стать разрешенным и даже рекомендованным действием.

Подобное отношение распространится и на использование клонов как доноров органов. Например, в случае, когда больной лейкемией разрешает создать свой клон в надежде, что в будущем этот клон станет для него донором костного мозга. Дело в том, что еврейская религия рассматривает донорство костного мозга как, по меньшей мере, похвальное действие, а возможно даже – моральную обязанность. Иудаизм также не видит проблемы в том, чтобы детей рожали с определенной целью, а не только ради выполнения заповеди «плодиться и размножаться». Еврейская традиция учитывает, что многие заводят детей ради того, чтобы те заботились о них в старости, и считает это вполне достойной причиной.

Соответственно, тот, кто заводит ребенка, чтобы помочь ближнему, делает сразу два добрых дела – рождает ребенка и спасает человеческую жизнь.

То же относится и к паре, которая рождает ребенка, клона больного, в надежде, что младший спасет жизнь старшему. И хотя популярная пресса осуждает это, еврейская традиция несомненно сочтет подобный поступок морально оправданным. Иметь детей – чудесное и похвальное дело. Иметь ребенка, который спасет жизнь человеку, – еще более похвально.



Наклонная плоскость

И уж совершенно необоснованны с точки зрения иудаизма мнения, согласно которым к клону будут относиться как к недочеловеку. Нет сомнения, что ребенок, созданный с помощью клонирования, но выношенный и рожденный женщиной, будет полноценным человеком, с уникальной душой. Он достоин того, чтобы к нему относились соответствующим образом. То, что он генетически идентичен донору, вовсе не делает его «вторичным». Ведь, как уже говорилось, никто не считает генетически идентичных близнецов частями одной личности. И точно так же, как уникален каждый из близнецов, клон и его донор, несмотря на сходство, будут совершенно самостоятельными личностями.

Подобные аргументы высказывались и на заре исследований в области искусственного оплодотворения. Но сегодня никому в голову не придет считать ребенка, зачатого в пробирке, недочеловеком. Вероятнее всего, то же самое произойдет и с клонированием.

Очень предварительные выводы

Хотя, как уже говорилось, иудаизм решает проблемы по мере их возникновения, из всего сказанного выше можно сделать, по крайней мере, два вывода.

Во-первых, клонирование будут рассматривать как метод воспроизводства, весьма далекий от идеала. Но, когда все другие методы окажутся недейственными, иудаизм, вероятно, отнесется к клонированию как к выполнению заповеди. А значит, и клонов будут считать полноценными людьми. Клоны не роботы, не рабы, не полулюди, и любая попытка классифицировать их подобным образом должна быть решительно отвергнута.

Во-вторых, клон и донор генетического материала свяжут такие же отношения, как родителя и ребенка, а не брата или сестру. Еврейство клона будет зависеть от того, еврейка ли суррогатная мать и, возможно, донор генетического материала (если это женщина), а также донор яйцеклетки.

Настороженное отношение к неизвестному естественно и разумно. Но априорно запрещать что-то непонятное лишь по причине непонятности крайне неразумно и неправильно. Еврейская традиция считает, что решать новые проблемы должны авторитетные раввины. Им же следует выносить суждение о них.

ЛЕХАИМ АВГУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ РУССКУЮ «МИШНУ»

Î ðð Èààííà

В серии «Библиотека еврейских текстов» вскоре выйдет в свет первый из шести томов нового русского перевода «Мишны».

«Мишна» – основа основ еврейской устной традиции. Ее составил один из величайших еврейских ученых, рабби Йеуда а-Наси, закрепивший основные положения Устной Торы в виде кодекса – единой, общей для всего народа книге. Это произошло через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 году н. э.

В древности «Мишна» воспринималась как книга общедоступная, именно поэтому о ней говорится: «В десять лет – “Мишна”», а подразумевается, что десять лет – это еще не возраст анализа и углубленных размышлений, но идеальный возраст для чтения и заучивания. В основе нового издания именно идея общедоступности, оно впервые позволит читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом «Мишны» на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, проясняющими смысл, а иногда и контекст написанного. Справочный аппарат опирается на еврейские классические комментарии, без которых невозможно понять книгу, собранную восемнадцать веков назад. В шеститомное издание войдут все разделы и трактаты «Мишны», как простые, так и сложные, как актуальные для современного читателя, так и не имеющие практического применения в наши дни, однако представляющие историческую и культурную ценность.

Открывается издание разделом «Зманим» («Времена»).

Предлагаем читателю ознакомиться с предисловием переводчика и комментатора.

ЗАПИСЬ УСТНОЙ ТОРЫ

«Писаное нельзя читать наизусть, а устное не читают по писаному» (Вавилонский Талмуд, Гитин, 60а). Это важнейшее правило еврейской традиции строго соблюдалось на протяжении многих веков: есть Устная Тора, и ее слова следует передавать из уст в уста. И есть Тора Письменная, которую запрещено передавать изустно, а можно только зачитывать. Какой бы цепкой памятью ни обладал человек, если ему требуется привести обширную цитату из Танаха, он должен открыть книгу и прочесть по ней, потому что это письменный текст. Не зря же Танах называют еще «Микра»: обычно этот термин переводят на русский как «Писание», хотя точнее было бы употребить слово «Чтение», ведь Танах обязательно именно читать. А вот предание зачитывать никак нельзя – его можно только рассказывать по памяти. Нарушение этого правила на протяжении многих поколений не допускалось. Но было бы ошибкой истолковать этот закон в том смысле, что Устную Тору запрещено записывать. Класть на бумагу было не запрещено – нельзя было именно зачитывать. В результате у многих учеников – неважно, храмовых ли священников или раввинов – имелись записи Устной Торы, но эти записи были сугубо домашними, частными. Ими пользовались, чтобы не забыть того, что уже выучено. На эти конспекты нельзя было ссылаться в качестве доказательства. В передаче Устной Торы вес имело слово сказанное, а не слово записанное, хотя мы обнаруживаем, что свитки с записями законов были в ешиве р. Акивы и в ешиве р. Шимона бар Йохая, да и почти у всех крупных мудрецов эпохи – во времена, когда еще никаких зафиксированных письменных кодексов Устной Торы не существовало. Некоторые такие записи были включены в книги, составленные позднее и сохранившиеся до наших дней. Практически во всех ешивах были люди, называемые баалей Мишна («владеющие “Мишной”»), – они обладали исключительной механической памятью и помнили наизусть огромные отрывки Устной Торы; к ним обращались в тех случаях, когда не могли точно воспроизвести высказывания ученых предыдущих поколений по некоему вопросу. Поскольку нельзя было пользоваться чужими записями, чтобы узнать, что и кто сказал по данному поводу, и существовала нужда в таких людях – своего рода живых книгах, которые из своей бездонной памяти могли извлечь все необходимые высказывания и материалы.

Такое положение дел сохранялось до р. Йеуды а-Наси, который считал, что пришло время закрепить основные положения Устной Торы в виде кодекса, а не в виде частной записи. Он собрал крупнейших мудрецов своего времени и приказал объединить имевшиеся в разных ешивах записи, чтобы сформировать единую, общую для всех книгу. Произошло это через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 году н. э. Эта книга называется «Мишна».

Слово мишна происходит от глагола шана, означающего «заучивать, регулярно повторяя, зубрить». В этом смысле слово употребляется уже в Торе: «И тверди их детям твоим» (Дварим, 6:7), – и не просто «тверди», а, если попытаться перевести дословно, сохраняя нюансы смысла: «заставь вы зубрить», «научи многократным повторением». Слово шана первоначально относилось к любому учебному материалу, который следовало выучить наизусть. Р. Йеуда бен Тейма, живший задолго до р. Йеуды а-Наси, был из тех баалей Мишна, кто помнил наизусть огромные отрывки Устной Торы. Именно ему принадлежит описание порядка обучения детей Торе. «В пять лет – “Микра”», то есть Тора Письменная, в этом возрасте надо учить ребенка читать и понимать прочитанное. «В десять лет – “Мишна”» – это возраст заучивания наизусть: ребенка заставляли запоминать самые важные высказывания, содержащиеся в Устной Торе. И только «в пятнадцать лет – [время] для учебы» (Авот, 5:21), то есть только после пяти лет зубрежки ученика начинают учить анализировать, обдумывать материал, сравнивать выученные отрывки «Мишны» и делать выводы относительно того, о чем в «Мишне» не говорится, то есть применять полученные

знания. Р. Йеуда изменил здесь только одно: если раньше «Мишну» заучивали со слуха, причем в том виде, в каком ее преподносил учитель, то теперь все сыны Израиля могли учить ее из общей для всех книги.

Но сказанным значение труда р. Йеуды не ограничивается, его заслуга еще и в том, что он добился всенародного признания «Мишны»: собрал авторитетнейшую судейскую коллегию, которая постановила, что сформированной таким образом книгой следует пользоваться всем, что это не еще одна частная запись, каких много, не еще один конспект, но авторитетный источник, на который можно и нужно ссылаться. Иными словами, «Мишна» стала первой книгой Устной Торы.

Более того, р. Йеуда не только записал важнейшие положения Устной Торы, но еще и незадолго до своей смерти завершил, «запечатал» «Мишну». Важность этого акта трудно переоценить. Ведь все существовавшие до того версии «Мишны» были живыми сборниками законов, которые непрерывно пополнялись, в них вносили изменения и уточнения. В книгу р. Йеуды вносить изменения и уточнения было невозможно – она «закрылась». Неважно, по какой причине тот или иной закон в «Мишну» не попал. Он может быть очень важен и необходим, но после того, как «Мишна» была «запечатана», внести его в сборник невозможно. Р. Йеуда очень строго следил за тем, чтобы его труд не оказался слишком объемным, и очень тщательно отбирал материал. В результате «за бортом» «Мишны» оказалось множество важнейших свидетельств и высказываний. Но их в «Мишну» так и не внесли, а вместо этого создали несколько сборников дополнительных материалов. Важнейшим из них считается собрание под названием «Тосефта» («Добавленное»). Приводимые в нем тексты называются барайта – «внешние», то есть не вошедшие в «Мишну» р. Йеуды материалы. Более того, если в «Мишну» вкралась ошибка, если некое высказывание оказалось неполным, если в нем не хватает ссылки на то, что это частное мнение, то и такое уточнение в «Мишну» не вносится, а сопровождает ее в виде устной традиции: особо подчеркивается, что такое-то высказывание принадлежит мудрецу такому-то, а не является общепринятым установлением. Признанное же мнение по этому поводу можно найти, например, в «Тосефте». В Талмуде мы регулярно сталкиваемся с комментарием по поводу некоторых записей «Мишны»: «неполная», что означает, что здесь пропущена строка и высказывание следует дополнить (далее приводится текст дополнения). Это важнейшее свойство запечатанных книг: все, что следует в них исправить, не вносят в текст, а держат в памяти или же делают пометки на полях.



Титульная страница Вавилонского Талмуда. «О заповедях, относящихся к Субботнему дню». Часть 2. Вильно, типография Р.М. Ромма. 1859 год

СТРУКТУРА «МИШНЫ»

«Мишна» делится на шесть разделов, или «порядков» (седер), сегодня расположенных один за другим следующим образом: «Зраим» («Посевы»), «Зманим» («Времена»), «Нашим» («Женщины»), «Незикин» («Ущерб»), «Кидушин» («Святыни»), «Тоорот» («Чистота»). Раздел «Посевы» посвящен законам, регламентирующим ведение сельского хозяйства; раздел «Времена» – законам, связанным с субботой и праздниками.

В раздел «Женщины» помещены законы семейной чистоты и семейного права, в раздел «Ущерб» – законы права уголовного и финансового. Раздел «Святыни» посвящен храмовым жертвоприношениям, а раздел «Чистота» – законам ритуальной чистоты и скверны.

В свою очередь, каждый раздел состоит из нескольких трактатов. Каждый трактат посвящен конкретной теме, указываемой, как правило, в его названии. Например, трактат «Шабат» («Суббота»), как нетрудно догадаться, посвящен законам субботы, а трактат «Брахот» («Благословения») – законам, связанным с порядком каждодневных молитв. Впрочем, если какая-то тема не слишком объемна, то она иногда не выделена в отдельный трактат, а входит в качестве главы в другой. Например, в двух последних главах трактата «Мегила» («Свиток»), в целом посвященного празднику Пурим, изложены в основном законы, связанные с синагогой и публичными чтениями Писания. В конце трактата «Мозд катан» («Малый праздник»), посвященного будним дням праздников Песах и Суккот, помещены законы траура и т. п. Иногда трактат посвящен нескольким небольшим по объему темам, – например, трактат «Пеа» («Край [поля]»); по закону Торы его следует оставлять несжатым – для бедных) посвящен всем пяти видам благотворительности, которые предписаны Торой; в названии же отражен только один вид из пяти.

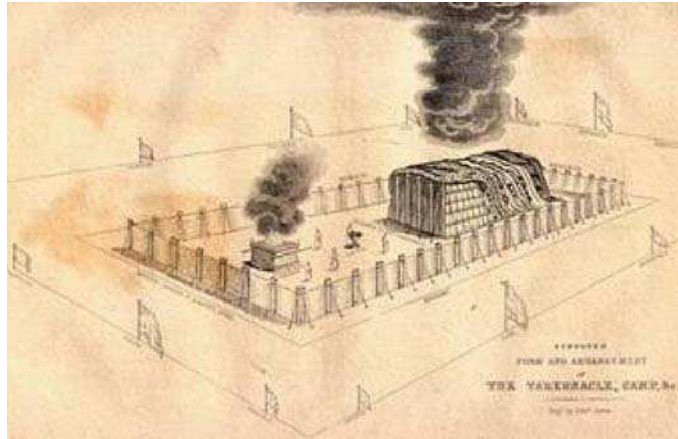
Следует отметить обстоятельство, вызывающее немалое удивление: некоторые важные темы в «Мишне» практически не затрагиваются, – например, нет раздела, посвященного законам тфилин или кистям-цицит, нет трактата о Хануке. Существуют различные предположения, почему это так. Рамбам в предисловии к комментарию к «Мишне» пишет, что отсутствующие в «Мишне» законы и так были всем известны, а потому р. Йеуда не нашел нужным изложить их письменно. Высказываются также предположения, что эти трактаты были утеряны или что существовал отдельный раздел «Мишны», посвященный этим темам, но он до нас не дошел. Во времена гаонов (примерно в VII век н. э.) дополнительные трактаты были сформированы из материалов, в «Мишну» не вошедших, а рассыпанных здесь и там в Талмуде или в других источниках. В результате к «Мишне» добавилось семь так называемых «малых трактатов». Материал, использованный в них, – древний, но упорядочен он был позже «Мишны», а потому значение малых трактатов меньше, чем значение самой «Мишны».

Трактаты «Мишны», в свою очередь, делятся на главы. Эти главы называются или по порядковым номерам (например, трактат «Хулин», глава восьмая), или по первому значимому слову или обороту. Например, та же восьмая глава трактата «Хулин» («Будничное», который посвящен законам разрешенной и запрещенной пищи) называется «Всякое мясо», потому что она открывается словами: «Всякое мясо запрещено варить в нутряном жире...» В старых текстах очень часто ссылки на Талмуд^[1] идут именно в такой форме, даже без указания названия трактата, например: «Как написано в “Укравший древесину”...», то есть в трактате «Бава кама» («Открывающие врата»), глава девятая. Предполагалось, что читатели помнят наизусть названия всех глав «Мишны».

Как правило, внутри каждого раздела «Мишны» трактаты, в которых больше глав, предшествуют меньшим по объему. Правда, следует учесть, что еще в незапамятные времена некоторые очень большие трактаты были разделены на несколько частей. Например, утверждается, что «Шабат» и «Эрувин» исходно были одним трактатом, точно так же, как три трактата: «Бава кама», «Бава мециа» и «Бава батра» («Открывающие, Серединные и Последние врата») – исходно составляли один, но в дальнейшем для удобства были разделены. В этих случаях порядок их размещения в

разделе соответствует количеству глав в исходном варианте, а не в сохранившемся до наших дней.

Главы разделяются на параграфы, каждый из которых называется мишна. В дальнейшем название всего труда р. Йеуды мы будем писать с большой буквы – «Мишна», а отдельные параграфы – с маленькой буквы.



Устройство лагеря вокруг скинии Завета. Гравюра Э. Говера. 1870 год

МАТЕРИАЛ «МИШНЫ»

Как уже говорилось, в «Мишну» вошел материал, который до того бытовал в частных записях из разных ешив или хранился в памяти мудрецов из окружения р. Йеуды. То, что этот материал не был принципиально новым, то есть созданным непосредственно при составлении «Мишны», можно продемонстрировать на примере высказывания р. Йосе из последней мишны трактата «Келим» (посвященного законам ритуальной чистоты утвари): «Благо вам, келим, которые вошли в скверне, а вышли в чистоте»^[2]. Дело в том, что трактат «Келим» открывается словами: «Источники скверны...», а завершается словами: «...стеклянная воронка чиста». Получается, что р. Йосе, который жил задолго до составителя «Мишны» р. Йеуды а-Наси, изучал трактат «Келим» практически в том же виде, в каком он сегодня предстает перед нами, а р. Йеуда привел в своем труде уже существовавшую мишну. Точно так же можно доказать, что по крайней мере первая глава трактата «Негаим» (посвященная законам чистоты, связанной со службой в Храме) вообще является отрывком храмового кодекса, которым пользовались еще священники в Иерусалимском Храме. В «Мишне» соседствуют фрагменты разного времени; иногда отрывок древнего текста сопровождается спором, – происходившим тоже в древности, но позднее, – относительно того, как этот текст следует понимать. Например, трактат «Кидушин» открывается фразой: «Жена приобретается за деньги...» Далее приводится спор между школами Шама и Гилеля, существовавшими еще во времена Храма, о том, как следует понимать слово «деньги» в этом отрывке. Получается, что исходный закон был сформулирован задолго до Шама и Гилеля. Вероятно, самый древний закон Устной Торы в первоначальной формулировке мы находим в главе «Где место» – пятой главе трактата «Звахим», посвященного храмовым жертвоприношениям. Там, среди прочего, говорится о том, что жертву следует съесть в Храме за внешним занавесом. Но ведь внешний занавес во Втором храме не существовал, более того, его не было и в Первом храме! Упомянутый внешний занавес использовался только в переносном Храме – Мишкане, скинии Завета. Перед нами формулировка закона, существовавшего еще до Первого храма. Можно привести еще немало примеров того, что в «Мишне» содержатся фрагменты глубокой древности.

причем в неизменном виде. Соседствуют они с законами, сформулированными во времена р. Йеуды и незадолго до него.

Одна из важнейших особенностей «Мишны», в значительной степени определившая развитие еврейской культуры, состоит в том, что р. Йеуда не считал нужным разрешать некоторые авторитетные споры, которые вели между собой мудрецы предшествовавших поколений. Он не взялся решать, чье мнение является правильным, а чьим можно пренебречь. Вместо этого он нередко помещает в «Мишне» весь спор целиком, приводя мнения всех участников. Более того, он не делает исключения даже для себя, и иногда мы встречаем оборот: «Мудрецы считают так-то, а р. Йеуда а-Наси считает вот так». Именно это уважение к чужим суждениям, признание того, что любое авторитетное мнение имеет право на существование, оказались определяющими для еврейской культуры.

Эту традицию подхватил Талмуд, состоящий в основном из споров вокруг текстов «Мишны». И крайне редко в Талмуде спор завершается окончательным решением, кто из участников прав. В подавляющем большинстве случаев в Талмуде изложены позиция и аргументы каждой из сторон, но нет итогов спора. В «Мишне» же спор не решается практически никогда. Одно из начал обучения талмудической премудрости состоит в решении такого рода задач: например, ученик знает, что в «Мишне» написано: «Тот, кто нацарапал (две буквы) на теле (в субботу), по мнению р. Элиэзера, виновен, а р. Йеошуа говорит: “Не виновен”». Вопрос к ученику: виновен или не виновен? Пока ученик не ответит: «Это спор р. Элиэзера и р. Йеошуа, и по первому мнению виновен, а по второму нет», считается, что он еще не понял, как следует учить «Мишну», и не научился как следует разбираться в еврейской литературе. Другое дело, если раввину зададут вопрос: «Можно ли в субботу нацарапать надпись на теле?» Настоящий ученый сможет дать ответ и в простом случае («запрещено»), и в сложном («мало ли что в жизни бывает»), но он всегда будет помнить, что тема начинается со спора в «Мишне» и что есть два авторитетных мнения, каждое из которых заслуживает уважения.

Очень часто в «Мишне» не указывается, чье мнение приведено. В таких случаях употребляется термин *стам мишна* – «замкнутая», то есть анонимная мишна. Чаще всего такая формулировка свидетельствует о том, что приводимое анонимно мнение общепринято. Но есть множество случаев, когда в Талмуде все же задается вопрос, кому именно принадлежит это мнение, особенно если в дополнительных источниках вроде «Тосефты» приводится какая-то другая позиция. Иногда удастся установить, кто именно является автором высказывания, хотя чаще всего пользуются формулировкой: «Анонимная мишна принадлежит р. Меиру», иными словами, считается, что чаще всего анонимно приводятся формулировки р. Меира, который был учеником р. Акивы, – по всей видимости, потому, что именно его кодекс был одним из основных при создании «Мишны» р. Йеуды. В то же время есть и немало исключений из этого правила.

Еще одно правило состоит в том, что «Мишну» не используют в качестве источника практического закона. Связано это с изложенным выше: иногда мы не знаем, к какой сфере человеческой деятельности относится данный закон; частное это мнение или общепринятое, – и узнать это можно только из сопровождающих «Мишну» текстов Талмуда. Иногда в «Мишне» приводятся законы, которые даже во времена ее составления уже давно утратили актуальность. И все же именно «Мишна» является тем источником, с которого начинают изучать практические законы.



Титульный лист «Зраим». Первая книга «Мишны» с комментариями р. Овадьи Бертиноро и «Тосафот Йом-Тов». Вильно, типография Р.М. Ромма. 1861 год

ЯЗЫК «МИШНЫ»

«Мишна» написана на иврите, хотя в науке принято выделять ее язык в отдельный диалект, так называемый мишнаитский иврит. У него есть свои грамматические особенности, широко используются заимствования из арамейского языка, греческого и латыни. В Талмуде (Хулин, 137б) говорится: «Язык Торы отдельно, язык мудрецов отдельно». Имеется в виду, что это разные диалекты, и не следует считать, что значение слова в одном из диалектов в точности соответствует его значению в другом. Многие слова библейского иврита в иврите мишнаитском обладают совершенно иным смысловым оттенком. Сказанное следует распространить и на современный иврит: он весьма отличается и от мишнаитского иврита, и от иврита библейского, причем иногда путаница в пластах языка становится причиной серьезных ошибок переводчиков и исследователей.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И КОММЕНТАРИЕВ

Мы старались переводить текст «Мишны» по мере возможности дословно, следуя, однако, правилам русского литературного языка. Одной из проблем перевода такого рода текстов является принципиальное решение: должен ли перевод быть яснее оригинала. Другими словами, следует ли нам разъяснять прямо в тексте те места, которые в первоисточнике становятся понятными только благодаря комментариям. Мы избегали вносить дополнения в текст перевода, разве что иногда вставляли отсутствующие в оригинале слова, необходимые для построения фразы. Кроме того, мы старались ограничить использование слов на иврите, даже когда речь идет о терминах, не имеющих адекватного русского перевода; однако практика показывает, что слишком строгое применение этого принципа порой ведет к неточности, и потому в некоторых

случаях мы все же оставляем оригинальный термин, приводя его объяснение в комментариях. Общим правилом составления комментария был отказ от перекрестных ссылок. Мы стремились сделать издание максимально удобным для чтения, так чтобы смысл любого слова был объяснен в примечаниях к той мишне, на которой открыта книга, – отсюда повторения одних и тех же примечаний. Отсылки к другим главам или трактатам даются только для обоснования приводимой в комментарии трактовки или как предложение сравнить два отрывка «Мишны».

Цель нашего издания – позволить русскому читателю самостоятельно прочесть текст «Мишны». Мы не ставили перед собой задачу продемонстрировать всю глубину этого текста, описать его влияние на еврейскую культуру и т. п., а потому ограничились комментариями, проясняющими смысл написанного, иногда – подразумеваемый контекст. В тех случаях, когда, по нашему мнению, развернутые объяснения необходимы, мы выносим их в «Пояснения», но и это не научное исследование, а материал, облегчающий понимание непосредственно текста «Мишны».

При составлении примечаний мы основывались на классических комментариях р. Овадьи Бертиноро. Кроме классических комментариев к «Мишне» Рамбама, р. Йом-Това Геллера, мы активно использовали комментарии р. Пинхаса Кегати, Ханоха Альбека, Элиэзера Леви, Авраама Хашина и – в редких случаях – английские издания Ф. Блекмана и «Арт Скролл».

Для перевода ботанических названий использовались пояснения р. Йосефа Капах и труды проф. Йеуды Феликса (главным образом, его примечания к трактату «Швиит», а также книга «Растения в “Мишне”»).

[\[1\]](#) Талмуд – это свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий «Мишну» и «Гемару» как единое целое. «Гемара» в отличие от «Мишны» включает дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении восьми столетий, и является основным источником Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуды.

[\[2\]](#) Игра слов: «келим», вынесенное в заглавие трактата «Мишны», означает «сосуды».

ПОСЛЕДНИЙ НЕВОЛЬНИК НА ГОРЕ НЕВО

О стихотворении Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»

Ἀἰνίεé Νῆεéí

Окончание. Начало в № 7, 2010



Работа Лазаря Гадаева в соавторстве с архитектором Александром Гагкаевым, представленная на конкурс памятника Осипу Мандельштаму

КОНТЕКСТ

Александрыйский столп и Мавзолей. Ввиду того что КП[1] – стихотворение политическое, в нем следует искать аналог эффектного политического жеста, которым открывается пушкинский «Памятник». В предчувствии близкой смерти поэт противопоставил свой «нерукотворный памятник» Александровской колонне,

воздвигнутой в 1834 году на Дворцовой площади в честь Александра I и увенчанной фигурой ангела, схожего лицом с покойным императором. Эта колонна была данью памяти предшествующего правителя со стороны правителя действующего. Аналогичный жест со стороны Мандельштама, представляющего себя умершим, должен, следовательно, относиться тоже к предшествующему, усопшему правителю и его памятнику – то есть к Ленину и его Мавзолею. Мавзолей показан через его метонимию – Красную площадь, растворен в стихах 3, 5 и 8 (в состав каждого из них входят все литеры, из которых складывается это слово) и подсказан рифмой круглей – полей; имя Ленина закодировано в последнем стихе посредством параномазии (подготовленной предшествующим нагнетением мягких «л» и «н»): на земЛЕ посЛЕдНИй жив НевоЛЬНИк.

Загробное состязание с Лениным. Репетиция посмертного соревнования с Лениным уже имела место незадолго до этого – в апрельском шуточном стихотворении:

*Yòî éàéàÿ óëëöà?
Óëëöà Î áí ääüöò àì à
xòî çà óàì èëëÿ ÷ äðò îââ!
Êàé äá í è äîäòò ùââé,
Êðéâ çâð-èò, à í á í ðÿì î.
Î àëî á í áì áúëî èèíáéíîâ,
Î ðâââ î î í á áúë èèëáéíîâ,
È î î ò î î óÿò à óëëöà
Èëë, äâðí áé, ÿò à ÿì à
Òàé è çíââòüÿ î î èì áí è*

Этого Мандельштама.

«Третья строчка второй строфы, – вспоминает Н.Я. Мандельштам, – первоначально была: “Жил он на улице Ленина” <...> Этой строчки О. М. испугался (да и сейчас за нее могут съесть – как так – такую улицу захотел переименовать – да еще как!), и мы решили ее “позабыть”. Стишок же записывали шифром, так как любую улицу называть своим именем ссыльному было опасно» [8, 343][2].

Ленин-Моисей. Советская агитационная риторика постоянно апеллировала к образу покойного вождя и его усыпальницы как к залого освобождения пролетариата на всем земном шаре. Широкое распространение получил траурный лозунг: «Могила Ленина – колыбель свободы всего человечества». Этот лозунг, в частности, фигурировал на плакате с изображением Ленина, стоящего на земном шаре[3].

В политической мультипликации середины 1920-х – начала 1930-х угнетенных народов – марсианах, китайцах, самоедах, американских неграх – изображение Ленина неизменно завершало картину как видение надежды[4]. Все это,

безусловно, учитывается Мандельштамом и в качестве фона при введении образа земного шара, и как современный эквивалент того многонационального паломничества, из-за которого у Пушкина памятник поэта конкурирует с памятником правителя.

Такое же непосредственное отношение к ленинскому мифу, сложившемуся в революционном риторическом обиходе, имеет библейская коннотация невольника, который не попадет в светлое будущее по примеру евреев, рожденных в рабстве и умерших в пустыне, так и не войдя в Землю обетованную:

Задолго до 1917 года леворадикальная поэтика приспособила к своим нуждам <...> метафору плавания по бурному морю к заветной гавани (социализму), она же – Земля обетованная. Другим совокупным достоянием церкви, монархических од и левонароднической поэтики, унаследованным ленинианой, был присоединяемый к портретам Ленина-Капитана (Возничего и т. п.) <...> образ революционного Моисея <...> Традиционным, в частности, было прикрепление ленинского образа к библейскому трагическому сюжету о вожде, обреченном умереть на пороге Земли обетованной (Втор., 4:21-22; 34:4-5). Примечательно, что к этим клерикальным аналогиям безотчетно прибегает не кто иной, как сам Ленин. Выступая 1 мая 1919 года на Красной площади, он приоткрыл завесу грядущего: «Большинство присутствующих, не переступивших 30–35-летнего возраста, увидят расцвет коммунизма, от которого пока мы еще далеки». В 1920 году, вскоре после своего пятидесятилетия, в речи на III съезде комсомола, он изменил сроки: «Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество». Как видим, в обоих случаях большевистский вождь примеряет к себе плачевную участь Моисея и библейский рассказ о поколении отцов, которое вымерло, не достигнув Земли обетованной, куда вошло только их молодое потомство <...> К сюжету о Моисее снова патетически взывает, по случаю болезни Ленина, официальный безбожник Демьян Бедный: «Долгий, долгий, мучительный путь, / И – предел роковой пред страной Обета...» (стихотворение «Моисей», снабженное эпиграфом из Втор., 34) [2, 211–212] [\[5\]](#).

Мавзолей между Египтом и Ханааном. В контексте отождествления Ленина с Моисеем выпуклая Красная площадь коннотирует с горой Нево, с которой Моисей лицезрел перед смертью Ханаан и под которой он был похоронен. Соответственно, в одну сторону с горы-площади открывается вид на светлое будущее человечества, где присутствуют погребенный поэт и школьник, а в другую – на пространство изгнания и рабства, которому в КП приданы египетские черты. Как это сделано? Среди русских римейков оды «К Мельпомене» пушкинский был первым, в котором духовный памятник, воздвигнутый себе поэтом, противопоставлен материальному памятнику, воздвигнутому себе отечественной и притом современной поэту властью, а не властителями далеких стран в древние времена; в этом за Пушкиным следует и Мандельштам. Однако для Мандельштама значим не только пушкинский вариант материального памятника (Александрийский столп), но и тот образ у Горация, которому он явился на смену, – египетские пирамиды [\[6\]](#) – универсальный символ непосильного труда бесчисленного множества рабов. Хотя своим названием ленинский Мавзолей обязан другой древней усыпальнице и тоже одному из чудес света, в творческом сознании Мандельштама египетские коннотации этого сооружения (разумеется, вполне расхожие) были – наравне с буддийскими – очень устойчивыми, и столь же характерен метонимичный Мавзолею образ горы, накладывающий на эти египетские коннотации контрастные им синайские (см.: [12, 182], [19, 36–37]).

Рисовые поля резонно отождествлены К.Ф. Тарановским с Китаем: «Вспомним, что в тридцатые годы полуфеодальный, полуколониальный Китай часто приводится в политической фразеологии того времени как типичный пример “порабощения человека человеком”» [18, 195]. Тут можно добавить, что и собственно образ рисовых полей как субститута угнетенного Китая был привычным клише. В этом легко убедиться на примере мультипликационного фильма «Китай в огне» (1925), вторая, центральная, часть которого так и называлась – «Рисовые поля» и показывала бедных крестьян, притесняемых арендатором. Но в КП образ рисовых полей содержательно не исчерпывается их очевидной метонимичностью по отношению к современному Китаю. Хотя египтяне и не знали риса, сам стереотип залитых паводком полей восходит к освоению дельты Нила, где в глубокой древности была создана сложная система бассейновой ирригации и самый календарь соответствовал водному режиму великой реки и связанным с ним сельскохозяйственным работам.

Поэт-Христос. Черты двух мессианских фигур – Моисея и Христа, привычно соединяемые в изображении революционного вождя, как мы видели на примере «Мистерии-Буфф», в КП распределены между непогребенным (= не вошедшим в новый Ханаан) Лениным-Моисеем и зарытым в землю поэтом-Христом. Вторая из двух этих коннотаций была убедительно выявлена Р. Войтеховичем: «образ заживо погребенного поэта <...> который пока еще только “шевелит губами”, но вскоре “скажет” то, что дойдет до “каждого школьника”, раскрывается как реминисценция из притчи Иисуса Христа о зерне: “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода” (Иоанн, 12, 24). Мотив этот, по-видимому, ассоциативно связывается с притчей о сеятеле: “Красная площадь” “твердеет” (умирает), там ничего не “прорастет”, “прорастет” именно в воронежском “черноземе”» [4]. Таким образом, 1-й стих КП приобретает новый смысловой оттенок – с нажимом на личное местоимение: я лежу в земле, – а он лежит непогребенный на Красной площади.

Слова Мандельштама, записанные Рудаковым:

Сказал «Я лежу», сказал «в земле» – развивай тему «лежу», «земля» – только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой более реальным, то – реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш (росток) должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя в путь, перекрывая одно движение другим <...> [13, 61], –комментаторы возводят к теоретическим построениям Вячеслава Иванова [13, 61–62][7], который разграничивал два типа символизма – идеалистический, возводя его к античной эстетике, и реалистический, связанный со средневековым мистицизмом[8]; пафос второго из них – «чрез Августиново “transcende te ipsum” к лозунгу: a realibus ad realiora. Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного творчества – утвердить, познать, выявить в действительности иную, более действительную действительность», он «раскроет в символе миф. Только из символа, понятого как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф» [6, 125–126]. В свете этой концепции тема земли в «Лишив меня морей...» и КП последовательно проходит стадии реального («упор насильственной земли»), реальнейшего («лежу в земле») и сверхреального (лежу в Земле обетованной).

Два Завета. Понятно, что, несмотря на двускатность горы-площади, под вождем, не способным войти в Ханаан, земля откидывается только в одном направлении – вспять, к невольникам. В полном согласии с мессианской задачей Ленина-Моисея зерно его яростного, «ветхозаветного» учения взрастет на почве рабства и принесет невольнику освобождение, подвигнув его к восстанию. Поскольку среди евреев Моисей

и есть символический последний невольник, его большевистский двойник должен оставаться непогребенным до тех пор, «покуда на земле последний жив невольник»: после смерти и погребения этого абстрактного последнего невольника символическую роль такового примет на себя непогребенный Ленин (вождь, не сошедший с горы и не преданный земле под горой, не может считаться умершим, – подобная логика, в сущности, и стояла за всем проектом Мавзолея). Напротив того, зерно учения поэта-Христа (проповедь любви и милосердия) упадет в душу школьника, рожденного свободным[9].

Двускатная композиция. Отмечалось, что композиция КП повторяет организацию ее имплицитного пространства: в двух центральных двустушиях (стихи 3–6) говорится о неодоушевленном, но волевым центре – скате земли на Красной площади, тогда как в двух периферийных (стихи 1–2 и 7–8) – об одоушевленных невольниках: поэте, зарытом в насильственную землю по месту прижизненной ссылки, и крестьянах, обрабатывающих низинные, залитые водой рисовые поля. Упоминание Красной площади в каждом из двух центральных двустуший служит метатекстуальным изображением двустороннего ската, по разные стороны которого на периферии текста находятся поэт и невольник. Эта имитация двускатности выполнена очень последовательно, с помощью двойного эпитета нечаянно-раздольный (типологически восходящего к эпитету угодливо-поката из «Стихов о русской поэзии»), а также инверсии, создающей симметричный синтаксический рисунок («всего круглей земля» – «земля всего круглей»), и, наконец, двойного упоминания собственно ската, чему и должны соответствовать два разных денотата. Первый из двух скатов твердеет добровольный[10], логично сменяясь упором насильственной земли. Добровольность отнюдь не тождественна свободе, будучи производным понятием от насильственности, которая латентно присутствует в любом добровольном акте. Второй скат – нечаянно-раздольный. Эпитет нечаянно имеет два значения: 1) ненамеренно и 2) неожиданно; первое из них субъективизирует носителя этого качества, т. е. скат, второе – объективирует (берется точка зрения того, кто/что скатывается). Раздольность подразумевает прежде всего свободное движение откидывающейся вниз земли, противоположное движению добровольному – не только по направлению, но и по своему характеру, ибо нечаянность как раз и заключается в свободе движения, неожиданной по эту, несвободную, сторону от горы-площади. Итак, твердь уходит из-под основания гробницы, с тем чтоб достичь позиции, симметричной упору насильственной земли.

Конечно, не случайно, что реваншистская по отношению к Ленину переключка с «Памятником» содержится именно в двух периферийных двустушиях, которые своим безупречным шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы (то есть основным размером «Памятника», которым написаны первые три стиха каждого катрена) резко отличаются от двух центральных с их сбивчивым стихом. Поэтому-то в окончательной версии текст КП был разбит на двустушия вопреки перекрестной рифме.

Мы видим, как в согласии с обобщающим утверждением, что «Мандельштам с безошибочным чутьем избирает для подтекстообразующего цитирования, прямого или зашифрованного, как раз места, сами представляющие собой цитату или поэтическое оформление “чужого” художественного или идеологического прототипа» [17, 119], образ тверди, откидывающейся по скату планеты из-под основания рукотворного памятника – горы-Мавзолея, не только просвечивает насквозь всю мандельштамовско-тютчевскую тему чудесного движения камня – того самого, что, согласно книге пророка Данииля (2:31-35), «оторвался от горы без содействия рук» и разбил истукана (колосса на глиняных ногах), а сам «сделался великою горою и наполнил всю землю» [17, 120][11], – но и словно бы прозревает источник пушкинского эпитета «нерукотворный» – стих из

надписи В. Рубана к постаменту Медного всадника («Нерукотворная здесь русская гора»)[12], имеющий ту же самую библейскую генеалогию [17, 124–125]. В контексте гибели нелояльного поэта подспудная тема камня, чудесным образом разбивающего истукан, коннотирует с чудесным поведением каменных глыб в мифе о поэте Орфее – мученике и чудотворце.



Плакат на смерть В.И. Ленина с траурным лозунгом. 1924 год

АВТОР

Поэтическое vs. политическое[13]. Все воронежские стихи были абсолютно неприемлемы с точки зрения советской стилистической конъюнктуры. Но утверждение М.Л. Гаспарова, что Мандельштам «был отторгнут эпохой не за идеологию его воронежских стихов, а за стиль», тогда как «[и]деология их ни в чем не перечит официальной печати» [11, 27], нуждается в уточнениях (которыми ученый, должно быть, намеренно пожертвовал из-за формата популярного издания). Это обобщение приложимо прежде всего к авторским установкам, так никогда и не ставшим органичной составляющей поэтического мышления. Но даже они возобладают только во второй период воронежского творчества – с декабря 1936 года по июль 1937-го, тогда как в первый его период – с апреля по июль 1935-го (на который, как уже говорилось, пришлась основная идеологическая ломка) – одновременно пишутся гражданские стихи с противоположным знаком. Кроме того, мы должны учитывать неспособность Мандельштама к адекватной самоцензуре. Известно, что поэт наивно стремился легализовать стихи, интонационно и семантически отзывавшиеся крамолой, да и просто насыщенные недопустимыми намеками и запрещенными к упоминанию реалиями[14]. Поэтика Мандельштама не только мешала его «политике», но и вмешивалась в нее помимо авторской воли.

С другой стороны, в апреле–мае 1935 года написан ряд программных стихотворений, названных Н.Я. Мандельштам, наряду с КП, «маленькими уродцами». Столь уничижительную аттестацию они заслужили не из-за «политики» как таковой, а из-за ее грубого вмешательства в поэтику. Хотя письма С.Б. Рудакова и воспоминания Я.Я. Рогинского доказывают, что сам поэт относился к этим текстам со всей серьезностью, иногда они и в самом деле оставляют ощущение вымученности и тщетной мимикрии под какие-то мейнстримные стихотворные образцы (что, видимо, и давало Мандельштаму повод в откровенной беседе с женой признавать их «собачьей чушью»). Знакомую ткань мандельштамовского стиха здесь топорщат наигранно-прямолинейные доктринерские высказывания: «...лучше бросить тысячу поэзий», «На честь, на имя наплевать» и т. п.

КП представляется результатом стихийного смешения двух противоборствующих тенденций – к былому бунтарству и к новому смирению. Первая

из них во многом, хотя и не всецело, определила «политику» стихотворения, вторая – опять-таки по преимуществу, но не тотально – его поэтику. Подобный стилистический «уклон» мог быть возможен только в гражданских стихах и только в этот короткий период активной идеологической борьбы Мандельштама с самим собой^[15]. Поэтика, искаженная в угоду «политике», заразила темное по смыслу стихотворение, и это стало причиной беспримерной спектральности его интерпретаций.

Эзопов язык vs. поэтика загадки. Отдельное недоумение вызывает собственно смысловая темнота КП, казалось бы, плохо совместимая как с идеей школьного заучивания, так и с идеей политического высказывания, раздающегося из-под земли – оттуда, где бояться уже нечего. Да и практическая функция чрезвычайной непрозрачности этого текста не вполне понятна, ведь он прямо продолжает откровенно крамольное и очень прямолинейное четверостишие. Для чего было прятать библейские аллюзии настолько глубоко, что не только их смысл, но и само их наличие так и не поддается бесспорной верификации? Не проще ли допустить, что эти аллюзии – лишь естественная примесь в хаотичном брожении творческой мысли? Что установка на прямоту высказывания, Мандельштаму чуждая, привела в данном случае к искривлению самой этой мысли, – так сказать, к увиливанию содержания от формы помимо воли поэта? В самом деле, принять подобное допущение было бы намного проще. Однако Мандельштам с его изощренным филологизмом заслуживает, если угодно, «презумпции виновности».

Поборников концепции эзопова языка в творчестве позднего Мандельштама ее противники обычно упрекают в тенденциозной попытке вырвать поэта из контекста его времени и представить конспиратором-подрывником, играющим в прятки с цензурой, чем-то вроде «вредителя» пропагандистской мифологии, но только со сменой знака, – что совершенно не вяжется ни с его самоубийственно-откровенными политическими инвективами первой половины 1930-х годов, ни с позднейшими мучительно-честными гражданскими исканиями. Эти возражения вполне обоснованны. Однако они рассматривают политическое высказывание в поэзии Мандельштама несколько упрощенно – как не подчиняющееся общим принципам его поэтики, тяготеющей к загадке и игре с читателем. Применительно к КП, построенной как парафраза, как отражение отражения, подобное невнимание к авторским эстетическим установкам совершенно блокирует понимание того, каким образом текст преломляет свой литературный источник. Поэт здесь ведет игру, конечно же, не с цензором, а с исходным литературным материалом, воспроизводя на новом историческом витке основные компоненты мифа, окружающего стихотворение Пушкина. В основе этого мифа – контраст между дерзким политическим жестом, определяющим настрой аутентичного пушкинского текста вразрез со всей русской (и не только русской) традицией гораццианского поэтического завещания, – и длительной историей превратного восприятия «Памятника», вплоть до 1880-х известного лишь в искаженном виде, приданном ему по цензурным соображениям Жуковским, который нейтрализовал политическое острие начальной строфы, превратив Александрийский столп в безобидный Наполеонов столп, т. е. Вандомскую колонну, а в 4-й строфе заменил слова «в мой жестокий век восславил я свободу» на едва ли не противоположные по смыслу, с каким-то сервильным оттенком: «прелестью живой стихов я был полезен» (в суть этой редакции не были посвящены даже близкие друзья Пушкина).



Кадры из мультипликационных фильмов:
 «Межпланетная революция. Совершенно вероятное происшествие в 1929 году» (1924),
 «Китай в огне» (1925),
 «Самоедский мальчик» (1928)

Комсомольцы vs. детвора. Наше восприятие КП не должно искажаться под влиянием отделяющего нас от нее массива мандельштамовских текстов 1936–1937 годов. В оде Сталину поэт смиренно пообещает: «...в книгах ласковых и в играх детворы / Воскресну я сказать, как солнце светит». Но четкое предсказание «...то, что я скажу, заучит каждый школьник» еще напрямую связано с мандельштамовским представлением, заостряющим политический посыл «Памятника», о роли русского поэта как второй власти[16] – представлением, актуальность которого зафиксирована и для воронежского периода[17]. Школьник, заучивающий слова поэта, еще наполовину погружен в игры детворы и может не понимать смысла этих слов, но, повзрослев, он поймет его, и тогда «вторая власть», похороненная «первой», возьмет у нее реванш. В 1933 году, на пике своего бунта, поэт высказал убежденность в этом реванше:

...он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением:

Êâê îîäêîâî äàðèò çà óéàçîî óéàç-

Êîî óâêîá, êîî óâîâò,

Êîî óââðîâî, êîî óââèç!!

– Это комсомольцы будут петь на улицах! – подхватил он сам себя ликующе.
 – В Большом театре... на съездах... со всех ярусов... – И он зашагал по комнате [5, 51].

Детвора оды являет собой анахронную метаморфозу, постигшую разнузданных комсомольцев из мандельштамовских устных фантазий. Можно сказать, что идеологическая эволюция Мандельштама обратна пушкинской: от «Памятника» – вспять, к «Медному всаднику».

Талмуд vs. Гораций. Школьник, занимающий промежуточную возрастную позицию между комсомольцами и детворой, наделен признаком ученичества, исключительным в этом ряду, что мотивировано соотнесенностью загробных речей поэта с проросшими семенами нового учения. Однако мотив заучивания да и вообще коннотации школы, регламентированной учебы, верности букве и т. д. плохо сочетаются с духом новозаветной проповеди, зато естественно ассоциируются с еврейской традицией, тем самым обеспечивая не только противо-, но и сопоставление двух мертвых учителей – поэта и Ленина-Моисея. К талмудическому контексту стихотворение отсылает и своей «буквой» – а именно, как заподозрил Л.М. Видгоф, всем своим почином:

Àà, ý ěăæó â çàì ěâ ãíàì è øâîĵĵ,

Í í ò í, ÷ ò í ý ĩĕăæó çâó:èò êăæâîé øêĕĕĵĕĕ...

В общем плане мы здесь имеем дело с универсальным концептом, объявляющим способность шевелить языком и губами тем минимумом свободы, который сохраняет за собой пленник. Привлечение образа губ в связи с мотивами казни, смерти, могилы, земляного состава образует в предшествующих мандельштамовских текстах особый семантический комплекс. Однако стихи 1–2 КП указывают, по наблюдению Л.М. Видгофа, на более конкретный источник, узнаваемо воспроизводя расхожую еврейскую формулу:

...слова Торы, произнесенные от имени даже умершего мудреца, увеличивают его заслуги. Ср.: Иевамот (один из разделов Талмуда. – Л. В.), 97а: «Шепот уст усопших (Шир, 7, 10). Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бен Йохая: Всякий мудрец, когда говорят слова, слышанные из его уст в этом мире, – уста его шевелятся в могиле» [18].

Вспомним у Мандельштама: Да, я лежу в земле, губами шевеля... <...> [3, 412].



Дом № 2 по улице Линейной в Воронеже, где жил О.Э. Мандельштам

Л.М. Видгоф осторожно полагает (вслед за Б.С. Острером), что «хотя в доме его родителей бывали и раввины, и фольклорист Ан-ский, и учителя иврита, Мандельштам был слишком мало знаком с Библией и еврейской традиционной литературой вообще», чтобы в данном случае можно было говорить о прямом

заимствовании [3, 413]. Невозможно, однако, поверить в когнитивную беспомощность будущего поэта, за годы, проведенные в родительском доме, ничего будто бы не впитавшего из еврейской культуры. Что касается интересующего нас талмудического концепта, то возможность знакомства с ним Мандельштама возрастает ввиду его широкого устного бытования, которое зафиксировано в «Хасидских историях» Бубера:

Ученики рабби Баруха спросили его: «Можно ли достичь истины посредством изучения Талмуда? Ибо мы видим, что Абайе говорит одно, а Рава – другое, как если бы они жили в разных мирах. Разве возможно одновременно понимать и то и другое?»

Цадик ответил: «Кто хочет постичь слова Абайе, должен соединить свою душу с душой Абайе <...> После этого, если он хочет постичь слова Равы, пусть соединит свою душу с душой Равы. Именно это означают слова Талмуда: “Когда произносится слово от имени сказавшего его, уста сказавшего шевелятся и в могиле”. Уста произносящего слово движутся так же, как и уста давно умершего учителя» [1, 109].

Шевелящий губами в могиле поэт преображается в еврейского законоучителя и цадика, в то же время выполняя неозвученное обещание: *Non omnis moriar*.

Литература

1. Бубер М. Хасидские истории: Первые учителя / Пер. М. Хорькова и Е. Балагушкина. Ред., сост. и примеч. М. Яглома при уч. Н.-Э. Заболотной. М.–Иерусалим, 2006.
2. Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2002.
3. Видгоф Л.М. Москва Мандельштама: Книга-экскурсия. М., 2006.
4. Войтехович Р. Дополнения к интерпретации стихотворения О. Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» // Русская филология. № 7. Тарту, 1996. С. 186–196. Цит. по: TSQ. № 13 (Summer 2005) <<http://www.utoronto.ca/tsq/13/vojtechovich13.shtml>>.
5. Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.
6. Иванов Вяч. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория / Сост., предисл., примеч. С.С. Аверинцева. М., 1995.
7. Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970.
8. Мандельштам Н.Я. Третья книга / Сост. Л.Ю. Фрейдин. М., 2006.
9. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. / Сост. и коммент. П. Нерлера и А. Никитаева. М., 1993–1999.
10. Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений / Вступ. статьи М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца. Сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1995.

11. Мандельштам О. Стихотворения. Проза / Сост. Ю. Фрейдина. Предисл. и примеч. М. Гаспарова. Подгот. текста С. Василенко. М., 2001.

12. Мачерет Е. О некоторых источниках «Буддийской Москвы» Осипа Мандельштама // *Acta Slavica Iaponica*. Т. 24. 2007. Р. 166–187.

13. О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. ст. Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца. Публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца. Коммент. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 7–185.

14. Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.

15. Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.И. Николаева. М., 2000.

16. Раби Шимон. Фрагменты из книги Зогар / Пер. с арамейского, коммент. и приложения к текстам М.А. Кравцова. М., 1994.

17. Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.

18. Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000.

19. Черашняя Д.И. Тема мавзолея в творчестве О. Мандельштама // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 59. № 4. 2000. С. 36–48.

20. Јовановић М. Заметки о «Нерукотворном памятнике» Мандельштама // Сборник за славистику Матице српске. Белград, 1976. № 11. С. 171–176.

[1] Стихотворение «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» имело домашнее название «Красная площадь», везде по тексту – КП.

[2] Здесь и далее стихотворения Мандельштама цит. по: [10]. (Первая цифра в квадратных скобках обозначает номер издания в списке литературы в конце статьи, вторая – номер страницы в этом издании.)

[3] [М.]: Центральное товарищество «Кооперативное издательство», 1924. (С этим изображением меня познакомил Н.Г. Охотин.)

[4] «Межпланетная революция. Совершенно вероятное происшествие в 1929 году» (1924); «Китай в огне» (1925); «Самоедский мальчик» (1928); «Блек энд Уайт» (1933).

[5] Ср. также траурную речь Зиновьева, «канонически упоминавшего о “красе обетованном, который предносился духовному взору Владимира Ильича”» [2, 274]. В связи с вопросом о скрытом присутствии образа Сталина в КП (К.Ф. Тарановский и М. Йованович, придерживаясь диаметрально противоположных мнений относительно политической направленности стихотворения, сходились в том, что оно тесно связано со сталинской темой [20, 176]) ценно следующее наблюдение М. Вайскопфа: «Что же касается “газетной”, официально-панегирической рисовки сталинской фигуры, то небезынтересно выделить <...> элементы ленинского культа, воспринятые или, напротив, отвергнутые Сталиным при создании этой персональной религии. Его называют великим кормчим, учителем (вернее даже, корифеем всех наук), но вот, например, образ Моисея ему, видимо, совершенно чужд – просто потому, что он вовсе не собирается умирать на пороге Земли обетованной» [2, 290].

[6] Образ пирамид сохранен во всех русских переложениях «Exegi monumentum...» – Ломоносова, Востокова и других, включая главный пушкинский источник – «Памятник» Державина: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, / Металлов тверже он и выше пирамид».

[7] Ср. замечание М.Л. Гаспарова по поводу этой же реплики: «Мы неожиданно вспоминаем формулу Вячеслава Иванова *a realibus ad realiora*, когда-то столь враждебную акмеистам» [10, 56]. Ср., например, в статье «Утро акмеизма»: «А=А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного *a realibus ad realiora*» [9, I, 180].

[8] Тютчева Иванов признает «величайшим в нашей литературе представителем реалистического символизма» [6, 129]. Представителем идеалистического символизма оказывается Пушкин.

[9] Ср.: «...Гораций пожертвовал пирамидами ради Империи, Пушкин – Империей ради неведомого ему мира <...> Стоя в устье Империи, Пушкин развязал связь свою с ней и вступил в вольный союз с вечностью Любви. <...> “не требуй венца” буквально противоположно повелительному наклонению *cinge* и “венчай”. Но в новой концепции слава как увенчание теряет смысл. Венчает только бессмертное государство <...> Люди же будущего будут не венчать, а любить <...>» [15, 208–209]; «Творчество как нерукотворный памятник – в контексте поздней пушкинской поэзии логическое развитие темы *Imitatio Christi*» [14, 290].

[10] А в ранней редакции, как уже упоминалось, – твердеет многопольный. Многопольность подчеркивает невозможность засева из-за отвердения земли.

[11] Согласно агадической литературе, этот эпизод варьирует историю Вавилонской башни.

[12] Впрочем, на него, как известно, впервые печатно указал И.Л. Фейнберг еще в 1933 году.

[13] Эту понятийную пару Л.В. Пумпянский использует в применении к «Exegi monumentum...» [15, 198].

[14] Так, например, «Стансы» с их темой доносительства и демонстративным самоотожествлением с Пушкиным поэт сперва уничтожил, затем восстановил и, наконец, попытался опубликовать [10, 610–611].

[15] Но в дальнейшем для поэта, горячо желавшего легализовать свой труд, было вполне логично приобщить КП к группе стихотворений, эстетически близких ей, но действительно прорежимных, в порядке самообмана закрыв глаза на совершенно дикое для советской лирики начало этого текста.

[16] «Выбирая род смерти, О. М. использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: “Чего ты жалуешься, – говорил он, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают”...» [7, 167].

[17] «“Поэзия – это власть”, – сказал он в Воронеже Анне Андреевне, и она склонила длинную шею. Ссылные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти... О. М. держал себя как власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал <...> О. М. упорно твердил свое – раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит – она власть...» [7, 178].

[18] Цитируемый здесь пассаж выверен по источнику цитаты [16, 321] и является отрывком из примечания М.А. Кравцова к с. 176. Комментатор указывает как на параллель к тексту «Зоара» на талмудическое толкование фразы из Шир а-ширим (Песни Песней).

ЛЕХАИМ АВГУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

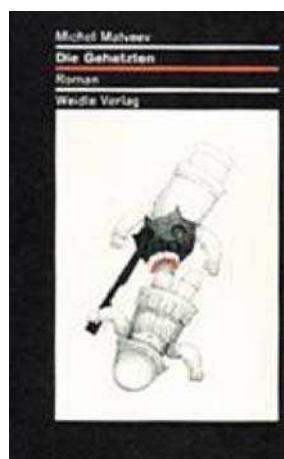
РАВНОМЕРНАЯ ПОСТУПЬ НЕСЧАСТЬЯ, ИЛИ РОМАН С СИГУРАНЦЕЙ

Мишель Матвеев о жизни в страшном сне

Олег Юрьев

ПОКОЙНЫМ РОВНЫМ ШАГОМ

Этот поразительный роман называется «Загнанные», во французском оригинале (1933) «Les Traqueés», в немецком переводе (2010), в котором я его и прочел, – «Die Gehetzten»^[1]. Начало романа более чем замечательно и заслуживает помещения в один из сборников лучших романов начал XX века (такие существуют и хорошо делают, что существуют):



Немецкое издание романа Мишеля Матвеева «Загнанные». Bonn: Weidle Verlag, 2010 год

Покойным ровным шагом, гигантское красное знамя впереди, со стороны вокзала приближается конный отряд.

Хоть я и привык уже к таким проездам, но этот производит на меня сильное впечатление. Я останавливаюсь, обескураженный надписью черными буквами по красному знамени: «Да здравствует революция! Смерть жидам!»^[2]

Вот так оно дальше и движется: покойным ровным шагом. Равномерность и сдержанность интонации, тон отчета, спокойного регистрирующего наблюдения – наблюдения как бы со стороны, даже когда речь идет о себе самом, о самых близких и о самом страшном – и, может быть, даже особенно когда о страшном! – таков повествовательный стиль французского писателя Мишеля Матвеева, он же одесский художник Иосиф Константиновский, он же парижский скульптор Жозеф Констан.

Нельзя сказать, что мысли, чувства и оценки рассказчика скрываются от читателя или выводятся за скобки как нечто малосущественное. Напротив, они честно регистрируются и обстоятельно описываются, но так отстраненно, так равномерно, так почти равнодушно, что на душе становится зыбко и знобко...

Оказывается, это равномерно ошутимое отстояние «повествующего “я”» от «“я” описываемого» считалось в 30-х годах прошлого века, по крайней мере во французской литературе, «русским» или «восточноевропейским стилем» – интонацией приезжих из кошмара революций и гражданских войн. Будущий министр культуры в правительстве де Голля, а тогда уже заметный писатель Андре Мальро в своей рецензии на роман Матвеева, опубликованной в 1934 году в знаменитом журнале «Nouvelle revue française», намекал, что это как бы еще не совсем литература, что ей бы следовало оперировать языком, идеями и образами и вообще быть более культурной, литературной, французской и европейской:

Совершенно своеобразная литература возникает сейчас в Европе. Книги, чье значение состоит не в опыте, тонкости или качестве письма, демонстрируемых писателем, но единственно в выборе событий, о которых он рассказывает. <...> Это литература выходцев из стран, где так много насилия, что вся жизнь пронизана особым трагизмом. <...> Слабость всех этих книг (в том числе и рецензируемой) заключается в том, что их темы очень плохо сочетаются с выбранной формой повествования.

Конечно, это голос «французского мастера», воспитанного на столетиях сосредоточенного оттачивания литературного языка. Неудивительно, что новое часто воспринимается как «недостаточность умения» (хотя недостаточность умения, конечно, встречается гораздо чаще, чем действительно новое), но очень любопытно, что именно этот «восточноевропейский» тон буквально через несколько лет – а в полную силу уже после второй мировой войны – зазвучал в экзистенциалистской прозе, чьим предшественником и одним из источников многие сегодня всерьез считают скромного скульптора-анималиста с Монпарнаса Мишеля Матвеева, Жозефа Констана, Иосифа Константиновского. Как, впрочем, и его рецензента Андре Мальро.

ЯФФА–ЕЛИСАВЕТГРАД–ОДЕССА–ЯФФА

Константиновский родился в 1892 году в Яффе от родителей-одесситов. Почему? Скучные источники расходятся в показаниях. Одни утверждают, что отец его был моряком (стало быть, прихватившим в рейс беременную жену и по рождении сына сошедшим на пару лет на берег?). Другие (веб-страница одной тель-авивской галереи, задорно требующая, чтобы Константиновского ни в коем случае не именовали русским художником, но только и непременно израильским!) торжественно объявляют его родителей сознательными «пионерами алии», особо не объясняя, впрочем, почему пионеры через пару лет вернулись в Одессу. Судя по тому, что отец юного Иосифа принял вполне нерядовое участие в первой русской революции, а сын-подросток ему при этом активно помогал^[3], нельзя полностью исключить политической подоплеку путешествий Константиновского-отца.

По окончании революции глава семьи попадает ненадолго в каталажку, вслед за чем семейство перебирается... не так далеко, собственно говоря, перебирается: в город Елисаветград Херсонской губернии^[4], где начинается пыльная, жаркая, нудная жизнь мелких ремесленников в провинциальном южнорусском городке с преимущественно еврейским населением. Население ходит, конечно, без пейсов, зато в котелках – XX век

как-никак на дворе. Только в 1914 году Иосиф Константиновский возвращается в «красавицу Одессу» и начинает учиться живописному мастерству в Художественном училище им. Великого князя Владимира Александровича.

Между прочим, 16 мая 1917 года в помещении этого училища состоялся совет, на котором решалось, каким быть художественному образованию в свободной России. По крайней мере, в свободной Новороссии. «Общество независимых художников», например, предлагало отменить общеобразовательные предметы (и действительно, зачем художнику, например, французский язык? – нашему художнику, к слову, он понадобится) и рисование гипсов. Иосиф Константиновский был к этому обществу близок, участвовал, как минимум, в одной из его выставок, да и вообще, как и большая часть одесской художественной интеллигенции, был большим энтузиастом «освободительной борьбы с царизмом».

На второй день после прихода советской власти, – вспоминает художник Амшей Маркович Нюренберг (1887–1979), – я оставил свою педагогическую работу, собрал группу революционно настроенных художников и отправился с ними в исполком. В бригаду, кроме меня, входили поэт Максимилиан Волошин, художники: Олесевич, Фазини (брат Ильи Ильфа), Экстер, Фраерман, Мидлер, Константиновский и скульптор Гельман. Представляя секретарю одесского исполкома Фельдману бригаду, я говорил ему о нашем революционном энтузиазме [5].



Синагога на Московской улице Елисаветграда. Начало XX века

Молодой человек поступил даже в какое-то советское культпросветуправление на службу и некоторое время заведовал, или, как тогда говорили, заведывал, изящными искусствами (кажется, в детских учреждениях и рабочих клубах). В такие времена юноши с запасом революционного энтузиазма легко и просто становятся не то что инспекторами культпросвета, но вполне полковниками и наркомами, да и просто героями – в смысле покойниками. Вполне возможное дело, что перед Иосифом Константиновским открывалась Большая Советская Биография. Все изменил кровавый погром в Елисаветграде, начало которого так выразительно описано в «Загнанных». Продолжение описано не менее выразительно, можете мне поверить.

Еврейские погромы по ходу Гражданской войны учинялись, как известно, и белыми, и красными, в обоих случаях невзирая на разную степень решительности и успешности попытки как того, так и другого начальства бороться с этой напастью, разлагающей войска и вредящей установлению государственного порядка [6]. Но

елисаветградский погром 1919 года, в котором погибли отец и брат Константиновского, был, судя по нашему роману, устроен «зелеными» – крестьянскими бандами, состоявшими преимущественно из населения окрестных хуторов. Сами по себе селяне были за революцию, точнее, как это вообще свойственно российскому (мало-, бело-, червонно- и прочему) населению по отношению к любым явлениям исторической жизни, за, но против: за большевиков против коммунистов, за анархистов против большевиков, за Украину против кацапов, за Россию против Советов, а главное – за все хорошее против жидов.

Потеряв обожаемого отца и брата, Константиновский решил, несмотря на всю свою левизну, покинуть революционную Россию (человеком очень левых взглядов он остался навсегда, что, кстати, через несколько лет позволило ему легко войти в круг парижской художественной богемы 20-х годов, более или менее закрытый для русских «белоэмигрантов», в большинстве своем настроенных «зверино-антикоммунистически»). В конце 1919 года Константиновский и его жена Ида отчаливают из Одессы на легендарном пароходе «Руслан» (некоторые называют его израильским «Мэй-флауэром»), который привез в подмандатную Палестину будущий цвет израильской культурной элиты: поэтессу Рахель, первого главного архитектора Тель-Авива Йеуду Магидовича, доктора философии Иосифа Клаузнера и множество одесских художников. Так Иосиф Константиновский вернулся на свою дважды родину, и у него были действительно все возможности на ней укорениться. Вероятно, ему даже открывалась Большая Израильская Биография отца-основателя и классика израильского искусства. Но примерно через год он покидает Землю Израиля (в качестве причины называется резкое ухудшение здоровья) и через Египет, Турцию и Румынию добирается (в 1923 году) до веселого города Парижа, стоящего на мрачной реке Сене[7].



Квартал Монпарнас в Париже. Начало XX века

ПАРИЖ–РАМАТ-ГАН

Здесь он жил (с перерывами) до середины 60-х годов, а в послевоенное время сделал себе даже некоторое имя как скульптор-анималист – как бы маленькую европейскую биографию. Известно его интервью воскресному выпуску газеты «Юманите»[8], интересовавшейся в первую очередь его монпарнасским ателье, знаменитым красотой расположения и видом из окон, его скульптурами, ну и вообще – жизнью. Как писатель он к этому времени был уже малоактуален, но все же его спросили, как он начал писать. Основные сведения о начале писательской карьеры Мишеля Матвеева происходят из ответа на этот вопрос. Итак, он начал писать (французский язык так пригодился) *довольно случайно и чтобы слегка подработать.*

Году в 1928-м я общался со многими писателями. В одном заведении на рю Месье-ле-Принс я познакомился с писателем Пьером Моранжем и с издателем марксистской литературы и редактором журнала по психологии Жоржем Полицером. Они попросили меня написать сначала статью, а потом целую книгу о событиях 1905 года в России. С чеком на 550 франков я отправился в Карпентра^[9] (почему в Карпентра? – ни малейшего представления, с таким же успехом я мог поехать и в Кимпер). Сойдя с поезда, я вошел в гостиницу напротив вокзала. Через три недели я вышел из нее с рукописью «Людей пятого года» в чемодане и сел в первый же поезд на Париж. Поскольку книжка имела успех, ко мне обратился «Галлимар». Но только в 1934 году, когда у меня снова стало плохо с деньгами, я написал «Загнанных», роман о массовых убийствах евреев, совершенных белыми во время русской революции. Роман был переведен на шесть языков. <...>

Тут надо заметить, что в 1934 году написать «Загнанных» Константиновский-Матвеев никак не мог, потому что в 1933-м они уже вышли в издательстве «Галлимар», да и белогвардейских преступлений роман тоже никак особенно не касается: елисаветградский погром, что очевидно любому читателю, был делом хозяйственных рук революционного крестьянства, да и не погрому роман, в сущности, посвящен, а пути уцелевших его жертв по полицейским комиссариатам, тюрьмам, беженским комитетам, гостиницам разных стран, в основном фантазмагорического Королевства Румынии.

...На этот раз мне дали 1500 франков, и я сел в поезд на Клермон-Ферран. Потом я написал «Странную семью» («Étrange famille»), сборник рассказов, получивший в 1936 году литературную премию Prix des Deux Magots, и «Вчера и давно» («Hier et autrefois»), воспоминания о детской жизни в России 1914 года.

Вдобавок к не совсем, как мы видели, надежным сведениям Иосифа Самсоновича, сообщим, что в 1947 году вышла его книга «Город художников» («La cité des peintres»), где подробно описывается печальная жизнь маленькой колонии русских художников в Париже, а в 1959 году – роман о детстве «Далеко, давно» («Ailleurs, autrefois»).

С литературными делами на этом пока все, но что касается карьеры скульптора, то в том же 1964 году, когда состоялась беседа с «Юманите»^[10], мэр израильского города Рамат-Ган выделил Жозефу Констану бесплатную мастерскую. С тех пор бывший пассажир «Руслана», начиная с 50-х годов и без того регулярно навещавшийся в Израиль, стал жить на два дома, на две мастерские – рамат-ганскую и парижскую. 3 октября 1969 года он умер, одни источники говорят – в Париже, другие – в Израиле. Впрочем, у источников на его счет, включая сюда и его самого как источник, двоеение данных – постоянное дело. Несомненно одно: ателье в Рамат-Гане после смерти хозяина было превращено в небольшой музей, и, пожалуй, когда я в следующий раз буду по соседству, непременно туда загляну. Животные Жозефа Констана очень милы, круглы и изгибисты, а среди ранних, еще одесских картин встречаются вполне увлекательные смещения плоскостей. Но вернемся к «Загнанным», его в свое время самой успешной, потом успешно забытой, хотя и не оставшейся во французской литературе без последствий книге.



Жозеф Констан. Сцена в интерьере. 1913 год. Anaf Arts Auction

ПУТЬ БЕЗЫМЯННЫХ

У безымянной семьи (рассказчик, его жена, его брат, его мать, жена брата, ребенок брата так везде и именуются: жена, брат, мать, невестка, ребенок) те же самые остановки на ее пути из Одессы в Париж, что были и у семьи Константиновских. Но в совершенно иной последовательности: Одесса, Египет, Турция, Румыния, Палестина (неудавшаяся попытка сойти на берег), Франция. «Загнанные» ни в коем случае не автобиография и не «документальный роман», хотя в тогдашней еврейской прессе часто утверждалось обратное: для вас, не прошедших этого пути, может, и роман, а для нас – голая правда. Что, конечно, вполне однозначно говорит о гипнотической силе этой книги.

Главное отличие описанной в «Загнанных» «одиссеи без Итаки» от любой настоящей одиссеи этого рода, в том числе и от одиссеи Константиновских, – это присущая ей логика страшного сна, в котором одно несчастье следует за другим с неизбежностью и неуклонностью, совершенно неестественной для реальной жизни и характерной скорее для какого-то многосерийного эпического кошмара. И всегда в одной и той же последовательности событий: несчастье происходит, несчастье разворачивается во всю свою эпическую силу, потом намечается неременный поворот к лучшему, и действительно случается некоторое спасение и успокоение, которое совершенно неизбежно оборачивается новым несчастьем. И все повторяется снова и снова. Именно в равномерной и постоянной повторяемости этого цикла заключается отличие кошмара от реальных несчастий.

Очень наглядно логика страшного сна демонстрируется на странствиях безымянной семьи, то есть, в основном, двух ее глав, рассказчика и его младшего брата, по коридорам, тюремным камерам и кабинетам сигуранцы – всемогущей политической полиции Румынии между двумя мировыми войнами. Надобность у них самая простая – получить разрешение на выезд из Румынского королевства. В это фантастическое по своему невинному садизму и патетическому абсурду государство, хапнувшее в результате первой мировой войны прорву чужих земель – от Трансильвании до Бессарабии, не говоря уже о целановской Буковине, старший брат попадает с

единственной целью: вытащить из Советской России младшего брата с семьей и мать. Перетащить их через границу (с помощью профессиональных контрабандистов) в результате удастся, хотя и не через румынскую, где королевские пограничники организованно грабят и убивают нарушителей, а через гораздо более дырявую польскую[11]. Но тут и начинаются бесконечные хождения по беженским комитетам, иностранным консульствам и, главное, по румынским учреждениям. Эти хождения, а по дальнейшему ходу дела и сидения занимают большую часть «Загнанных», так что их, в сущности, можно было бы оснастить подзаголовком роман с сигуранцей. Вся эта балканская величественность, аффектированная паранойя и какая-то даже детская и почти обаятельная жестокость описаны с чрезвычайной подробностью и отчетливостью, но, конечно, это не сатирический роман, предназначенный для разоблачения и обличения. Он сосредоточен на равномерной поступи несчастья: надежда, поворот к лучшему, катастрофа, новая надежда, новый поворот к лучшему, новая катастрофа и т. д. Рассказчик – и это важное объяснение природы матвеевской равномерности! – не идиот, он довольно быстро замечает, в каком мире с какими закономерностями он оказался. Он всегда знает, что будет дальше. Именно отсюда его отстранение от себя самого и от всего, что с этим самым собой происходит, его почти равнодушие и отчуждение. Он наблюдает все перипетии романа, как сон, в котором сам участвует. И у читателя развивается довольно скоро почти такое же отстраненное и одновременно завораживающее любопытство: как и когда случится новое несчастье? Это любопытство и является двигателем читательского интереса при наблюдении за «облавной охотой» (именно в таком, охотничьем смысле надо понимать заголовок «Загнанные»), где за охотника мировая история, или судьба, или сама жизнь, а погромщики, или сигуранца, или мандатные власти Палестины – всего лишь загонщики. Старого еврейского Б-га, что придал бы всей этой истории толику трансцендентного смысла, для этих нерелигиозных (но вполне национально-культурно ориентированных) евреев не существует, в этой книге и в их жизни Его нет – не упоминается и не присутствует. Они обменяли Его в свое время на Цивилизацию и Прогресс, но Цивилизация и Прогресс отвернулись от них.



Жозеф Констан. Эму. Скульптура из дерева. 1950–1955 годы. Gordon Gallery

НЕСЧАСТЬЯ, ПРИСУЩИЕ РАЮ

Когда черед несчастьев все же выносит семью из ненавистной Румынии, оказывается, что их не принимает ни один средиземноморский порт, начиная, естественно, с Яффы – здесь как раз происходят погромы и англичане не разрешают высадку новых евреев. Бесконечно, месяцами, носит корабль с беженцами от порта к порту, от страны к стране; кажется, что на этом вот все сейчас и закончится, но нет: во-первых, очередной поворот к лучшему в этой логике обязателен, а во-вторых, «Летучий голландец» с евреями на борту был бы образом, едва ли не символом, что для Матвеева совершенно невозможная вещь.

В мире Мишеля Матвеева отсутствуют символические и метафорические уровни. Есть только человек с его простейшими инстинктами, не непременно низкими, – сюда относятся и жалость к близким, и семейная связь, – которым он подлежит вне зависимости от собственных желаний. И есть жизнь как последовательность непосредственных воздействий на человека. В повествовании Матвеева, пусть и от первого лица, нет ничего дневникового и/или эпистолярного; дневниковость или эпистолярность здесь даже не имитируются. Здесь просто рассказывается. Никому, потому что никого нет, включая себя самого. Я бы сказал, что грамматическое первое лицо этого повествования является, по сути, третьим лицом. В каком-то смысле это литературное открытие Мишеля Матвеева, вряд ли осознанное или желаемое. Но это именно то, что он, наряду с Эмманюэлем Бовом (Бобовниковым)^[12], внес во французскую и европейскую прозу.

...В конце концов, после многих месяцев болтанки по Средиземному морю, рассказчику с семейством удастся найти очередного покровителя и высадиться с его помощью в прекрасной Франции – в свободе, в цивилизации, в раю. Он получает работу – тяжелую и ручную, находит жилье – убогое и тесное, начинает новую жизнь. Все вроде бы хорошо кончилось. Но тут, конечно приходят несчастья иного плана: болезни, смерти, разрушение семьи и т. п. Несчастья, присущие раю. Но и эти несчастья описываются так же равномерно, отстраненно и внимательно, как и елисаветградский погром 1919 года:

Я захожу в секретариат госпиталя.

– Я хотел бы видеть мою невестку, она умерла этой ночью...

– Вы имеете в виду, ее тело?

– Да, тело...

Мой брат исчез, на похоронах он не появился. Никто не знает, где он.

Нужно жить.

Остается мать, она старая; остается ребенок, он болен.

ОБЪЕКТ ИСТОРИИ

Очень любопытно, что такая сухость, отчетность, равномерность совсем не характерны для современной Матвееву «молодой советской литературы», даже если речь идет о тех же материях и о тех же реалиях – о погромах, налетах, отступлениях, наступлениях – возьмите хоть «Конармию». Одессит Матвеев-Константиновский – полная противоположность «южной школе» со всем ее метафорическим роскошеством и революционным романтизмом. По тону его можно скорее отдаленно (но очень отдаленно) сравнить с Леонидом Добычиным, как раз сейчас медленно, но верно начинающим входить в европейскую моду.

Пожалуй, можно в этой связи говорить об особом состоянии людей из Восточной Европы, особенно евреев из Восточной Европы во время и после первой мировой войны – в том случае, если, в отличие от бабелевского Лютова, они не встали окончательно на сторону «субъекта истории», на сторону одной из активно «созидающих историю» сил. Выброшенные из позитивистского рая, точнее, из обещания позитивистского рая предвоенной Европы (как там покрикивал шолом-алейхемский Пиня: Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация!), они оказались – довольно неожиданно для себя – в ситуации полной беспомощности, полной объектности. Не людьми, а игрушками. Игрушками для всех – для соседских крестьян, которым понадобился их скарб, для чиновников всевозможных «новых государств», возникших в результате первой мировой войны, наконец, для Истории и Политики с самых заглавных букв. Произошло то, что через 20 лет в несоизмеримо усиленном виде повторилось в Катастрофе второй мировой войны: полный отказ всех защитных механизмов, твердо обещанных Государством, Цивилизацией, Современностью. По крайней мере, для евреев, или армян, или карпатороссов – народов, не имеющих собственных государств, законов и армий.

Религиозный человек, полностью отдающий себя воле Б-жьей, знает/верит, что от него, от его поведения многое зависит. Он должен делать то-то и то-то и не делать того-то и того-то. Поведение его структурировано религиозными законами и у него есть объяснения.

«Цивилизованный человек» (а значительная часть евреев Российской империи очень хотела быть «цивилизованными людьми») верит, что если не все, то почти все зависит от него самого – от его усилий, его талантов, его знаний. Надо только преодолеть препоны, косные рамки, налагаемые как традиционной жизнью еврейской общины, так и отсталыми, «неевропейскими» законами Российской империи.

А тут – опыт, несовместимый ни с тем ни с другим: от тебя не зависит ровно ничего, ты можешь быть кем угодно, каким угодно, делать что угодно – тебе или повезет, или не повезет. В любом случае ты объект, предмет.



Дом-музей Жозефа Констана. Рамат-Ган. 2008 год

В чисто литературном смысле, я полагаю, «русский» или «восточноевропейский стиль», который имел в виду Мальро, происходит не из русской литературы (на которую не очень похож – ни на современную ему, ни на литературу XIX века, за исключением разве что «Подлиповцев» Решетникова, что наверняка случайность): он происходит непосредственно из экзистенциального опыта русских беженцев – опыта мировой войны, революции, разрушения всякой государственности и цивилизации, Гражданской войны со всеми ее кошмарами, перемещения по миру без смысла и цели, оседания в чужой культуре – опыта абсолютной объектности.

Таким образом, и в основе экзистенциализма отчасти лежит «русский опыт» – но только, конечно, понятый через свой собственный – через опыт второй мировой войны, Алжира, перемещения в пространстве, разрушения устойчивых картин мира и проч.

Я думаю, именно этот исторический опыт впервые в истории позволил некоторым европейцам – точнее, заставил некоторых европейцев – посмотреть на себя самих как на не требующие объяснения, описания, названия объекты. Которые почему-то живут какую-то жизнь и почему-то ее регистрируют.

И разве не поразительно, что у истока этого трагического, но, несомненно, сущностно важного развития европейского самопонимания находился, оказывается, скромный скульптор-анималист из Парижа и Рамат-Гана?

Может быть, этот перевод его романа, вызвавший заметный энтузиазм в немецкой прессе (уже добрая дюжина рецензий во влиятельных газетах и на крупных радиостанциях), нагонит новую волну европейского интереса – как это было в свое время с Эмманюэлем Бовом: забытый во Франции, он сделался общепризнанным «классиком модерна» после появления в 70-х годах переводов на немецкий, сделанных Петером Хандке. Может быть, и время Мишеля Матвеева наконец-то пришло. Может быть, начинается его Большая Европейская Биография.

[1] Michel Matveev. Die Gehetzten. Bonn: Weidle Verlag, 2010.

[2] Перевод, как и в других, далее не оговариваемых случаях, мой. – О. Ю.

[3] Я знаю? Подносил бомбы, рисовал транспаранты, свистел при приближении городских; первая книга Мишеля Матвеева «Люди пятого года» («Hommes de 1905», 1929) рассказывает как раз о событиях того времени и ввиду своей исключительной подробности и обстоятельности считается чуть ли не учебником по устройству революций. Неудачных, видимо, все-таки...

[4] Ныне Кировоград, но слышать, что совершаются в последнее время поползновения вернуть этому новороссийскому городку императрицыно имя. Дай-то Б-г: веселая царица была Елисавет!

[5] Нюрнберг А. Воспоминания, встречи, мысли об искусстве. М., 1969.

[6] Не единственной, но, несомненно, одной из существенных причин разложения фронта первой мировой войны был повсеместный террор «рабочего и крестьянина в серой шинели» по отношению к еврейскому населению практически всех территорий, на которых шли боевые действия. Все «пархатые» автоматически считались германскими и австрийскими шпионами, и офицеры русской армии, даже если и пытались вмешаться, существенных успехов добиться не могли. Регулярная армия постепенно превращалась в гигантскую банду мародеров и насильников, что сделало ее полностью созревшей для разгрома и последующей Гражданской войны. Так (не только, конечно, так, но в том числе и так) откликнулась для Российской империи слабоумная антиеврейская политика, систематически проводившаяся ее, мягко говоря, малокомпетентной верхушкой с 80-х годов XIX века. Решающим сигналом было, конечно, поощрение, допущение и соучастие организации знаменитых погромов начала века, в первую очередь кишиневского. Это был сигнал к самоотмене государства.

[7] Этот оборот, про веселый город Париж, стоящий на мрачной реке Сене, вырезала мне в свое время из материала о Пауле Целане редактор русской службы радиостанции «Немецкая волна». «Да что вы мне такое пишете?! У меня же дикторы будут смеяться!» – сказала редактор, по совместительству жена одного выдающегося культуролога. Сотрудничество не заладилось. Я рад, что оборот удалось спасти, хотя, конечно, у нашего героя с рекой Сенной не было такой трагической связи, как у Целана. Но у Целана-то была!

[8] Humanite` du Dimanche, 13.09.1964.

[9] Карпентра – городок в Провансе, столица маленького района, исторически находившегося в собственности римских пап. Поэтому здесь разрешалось (за хорошие деньги, конечно) проживание евреев, воспрещенное на остальной территории Французского королевства. Местная синагога – самая старая во Франции – снаружи без особых примет, зато внутри золото, голубизна рококо и вделанный высоко в стенку крохотный гнутый стульчик для пророка Элияу. Знал ли об этом Жозеф Констан, когда собирался в Карпентра писать о революции пятого года?

[10] На этот год, вероятно, пришелся пик прижизненной известности Жозефа Констана, как на 1934-й – пик прижизненного писательского успеха Мишеля Матвеева.

[11] Кто бы это в свое время объяснил Остапу Бендеру? Может, и по сей день он гулял бы по Рио-де-Жанейро в клетчатых шортах, открывающих шишковатые коленные чашечки в старческой гречке.

[12] Эмманюэль Бов – один из классиков новой французской литературы, доведший равномерное отчуждение повествующего от повествования до мыслимого совершенства. Был, как и Матвеев, прочно забыт, но в 70-х годах прошлого века вспомнен по всей Европе (что, кажется, с Матвеевым происходит сейчас). В России известен до сих пор недостаточно, но это положение постепенно исправляется усилиями С.Ю. Юрьенена, совместно с Ауророй Гальего блистательно переведшего на русский его самый знаменитый роман «Мои друзья» (с 2005 года публикуется в русско-датском журнале «Новый берег»).

ПАРТИЗАНЫ-ЕВРЕИ В ПОЛЬШЕ, 1942–1945

Даниил Романовский

Тысячи евреев приняли участие в антинацистском и антифашистском сопротивлении своих стран – в особенности в партизанских движениях – в Югославии и СССР, Греции и Италии, Франции и Болгарии. Во всех этих странах евреи были бойцами общенационального партизанского движения, даже если иногда в его рамках создавались чисто еврейские воинские единицы. Еврейский батальон 2-й Словенской бригады в армии Тито, несмотря на его состав и название, был частью Народно-освободительной армии Югославии; во Франции чисто еврейские организации сопротивления, такие, как Еврейская армия или Еврейские скауты Франции, с началом партизанского движения в стране в 1944 году влились в общепольские партизанские армии. На оккупированных советских территориях в 1942 году также возникали отдельные еврейские партизанские отряды (такие, как отряд Е. Атласа под Слонимом), но все они были включены в те или иные советские партизанские соединения.



Евреев из Варшавского гетто отправляют на принудительные работы. 1941 год

В оккупированной же немцами Польше в 1942 году возникло обособленное еврейское партизанское движение. До самого конца войны оно не влилось в официальную Армию Крайову (Отечественную армию), подчинявшуюся Польскому правительству в изгнании (в Лондоне). Гвардия Людова (с 1944 года – Армия Людова), контролировавшаяся Польской рабочей партией, т. е. фактически Москвой, в 1943–1944 годах включила в свой состав много еврейских отрядов, однако другие еврейские отряды

только сотрудничали с ГЛ/АЛ, а были и такие, которые сохранили свою независимость до конца – до гибели отряда в неравном бою с врагом или до его самороспуска в преддверии освобождения Красной Армией.

Парадоксально то, что Армия Крайова, поставившая задачей объединить под своим контролем все партизанские силы страны и в результате превратившаяся в конфедерацию нескольких армий, признававших авторитет Польского правительства в изгнании – собственно Армия Крайова, умеренно левые Батальоны Хлопске (Крестьянские батальоны), крайне правые Народовые Силы Збруйне (Национальные вооруженные силы) и некоторые другие, – ни разу не попыталась подчинить себе на том же основании еврейские партизанские отряды. Это произошло не потому, что военно-политические цели еврейских отрядов казались офицерам АК более чуждыми ее целям, нежели цели левых БХ или антидемократических НСЗ. Причиной этого был крайний национализм и антисемитизм.

Толчок к возникновению еврейских партизанских отрядов в Польше дали депортации евреев из гетто в лагеря уничтожения. Депортации начались в конце весны и летом 1942 года, а с ними началось и бегство евреев в леса – где такие леса были. В некоторых местах это бегство приняло массовый характер. По подсчетам Ш. Краковского^[1], в «Генерал-губернаторстве» (без «дистрикта Галиция») летом и осенью 1942 года в леса бежало более 50 тыс. евреев гетто и рабочих лагерей.

Разумеется, бегство в леса, в особенности в дни депортаций, не означало спасения. На еврейских беглецов немедленно начиналась полицейская охота, в которой участвовали немцы – полиция, реже вермахт, польская «синяя полиция», сотрудничавшая с оккупантами, а иногда и простые польские крестьяне. Большую часть бежавших отлавливали в первые же дни; там, где бегство было особенно массовым, как в южной части Келецкого воеводства в 1942 году, – доля пойманных в первые дни превышала 90%.

Шансы закрепиться и выжить в лесах были у нескольких категорий бежавших. Во-первых, это были жители маленьких местечек, которые и до войны вели полукрестьянский образ жизни, знали окружающую местность, лес вообще. Во-вторых, это были люди, прошедшие военную подготовку – бывшие солдаты польской армии или члены военизированных молодежных организаций – сионистских или левых. Для того чтобы выжить в лесу, надо было иметь оружие и уметь им пользоваться. Те, кто владел оружием, и составили первые еврейские партизанские отряды. Если считать партизанским отрядом вооруженную группу, участвовавшую хотя бы в одной боевой операции, то в годы оккупации в Польше действовало около 30 еврейских отрядов. Те, у кого не было оружия и кто не мог воевать, – в том числе женщины, дети и старики – собирались в лесу в так называемые семейные лагеря. Защита семейных лагерей стала основной задачей многих еврейских партизанских отрядов.

На фоне того, что мы знаем об операциях югославских или советских партизан, еврейское партизанское движение кажется пассивным. Первой и главной задачей партизан-евреев было выживание, и они вели сугубо оборонительные операции и иногда казнили предателей, выдававших евреев немцам. Лишь немногие отряды занимались «рельсовой войной», нападали на немецкие патрули и т. п. Изредка отряды устраивали нападения на лагеря принудительного труда для евреев, либо организовывали побег из них с целью пополнить отряд новыми бойцами. Не всегда такие операции были успешны. Так, после нападения отряда Йехиэля Гриншпана на лагерь у деревни Яблоня, в районе Влодавы, немцы ликвидировали лагерь.

Тактика еврейских отрядов мало отличалась от тактики Армии Крайовой. АК была против активной партизанской войны, считая, что та не принесет ничего, кроме немецких репрессий против мирного населения. Группы АК занимались разведкой для союзников, экономическими диверсиями и также иногда казнили коллаборантов. АК ждала момента, когда в Польшу вступит Красная Армия; в преддверии этого она планировала поднять восстание и поставить Советы перед свершившимся фактом: в стране воссозданы органы власти, подчиняющиеся Польскому правительству в изгнании, воссоздан довоенный строй. Численность носивших форму и бывших постоянно при оружии бойцов АК на территории «Генерал-губернаторства», т. е. к западу от реки Западный Буг, была невелика[2]. Коммунистическая Гвардия Людова, напротив, ставила своей задачей вести активную партизанскую войну; но летом 1942 года Гвардия еще была на стадии организации.

Итак, летом–осенью 1942 года польских партизанских отрядов, в которые могли бы вступить бежавшие в лес евреи, еще не было. Опереться на мирное население евреи, как правило, тоже не могли – крестьяне чаще всего были враждебны евреям: либо по причине своего антисемитизма, либо вследствие пропаганды АК, призывавшей крестьян евреям не помогать.

Гораздо хуже было то, что у евреев в лесах оказалось слишком много врагов; врагами были не только немцы, польская «синяя полиция», или «Остлегион», составленный преимущественно из советских военнопленных, но и, с конца 1942 года, «братья по оружию» – польские антинемецкие отряды. Решительно все еврейские партизанские отряды 1942–1944 годов воевали на два фронта – и против немцев, и против польских националистических формирований. Наиболее враждебны евреям были правые Народовые Силы Збруйне – члены НСЗ не колеблясь убивали всех евреев, встреченных ими в лесах или деревнях; в некоторых случаях отряды НСЗ шли на мировую с немцами, чтобы ликвидировать «еврейские банды» в лесу. Отношение к евреям основной АК было немногим лучше. Хотя в период подготовки восстания в Варшавском гетто между руководством АК и Боевой организацией евреев было заключено соглашение о сотрудничестве, которое как будто должно было оградить отряды БОЕ от нападений АК, оно, как мы увидим, сплошь и рядом нарушалось. Приказ № 116 нового командующего АК генерала Бор-Коморовского от 15 сентября 1943 года был истолкован местными командирами как приказ подавлять еврейские отряды:

Хорошо вооруженные банды бесцельно шатаются по городам и деревням, нападают на имения, банки, торговые и промышленные предприятия, дома и фермы. Грабежи часто сопровождаются убийствами, которые совершаются советскими партизанами, скрывающимися в лесах, или просто разбойными бандами. В нападениях принимают участие мужчины и женщины, особенно еврейки. <...> Я уже издавал приказ местным командирам в случае необходимости применять оружие против этих грабителей и революционных бандитов[3].



Польские партизаны Гвардии Людовой и советские партизаны. Люблинщина. 1944 год

Враждебное отношение АК к еврейским отрядам было нормой, помощь или хотя бы терпимое отношение к евреям со стороны отдельных партизанских командиров были исключением. Лояльнее относились к евреям Батальоны Хлопске, которые, так же как и НСЗ, подчинялись верховному командованию АК; однако у еврейских отрядов случались стычки и с ними. Безоговорочно поддерживала евреев коммунистическая ГЛ/АЛ; многие еврейские отряды были включены в нее; однако и в ГЛ/АЛ бывали порой командиры-антисемиты.

Еврейским партизанским отрядам пришлось выдержать столько же боев с АК, НСЗ и БХ, сколько с немцами и их помощниками. В грубом приближении, от рук АК и подчиненных ей сил погибло столько же евреев, скрывавшихся в лесах, сколько и от рук нацистов.

Люблинщина

Больше всего партизан-евреев в 1942–1943 годах было в Люблинском воеводстве. Люблинщина – лесистый район, население здесь более редкое, чем в Мазовии под Варшавой. Важнее было другое: летом 1942 года здесь уже имелись партизанские отряды. Первые отряды на этой территории были созданы бежавшими советскими военнопленными. Выжить в Люблинском воеводстве советским бойцам было легче – не только потому, что Люблинщина граничила с СССР, но и потому, что в ней имелось украинское население, поддерживавшее «русские» отряды.

Отношение советских отрядов к евреям на Люблинщине было неоднозначным. Федор Ковалев, командир самого большого русского отряда в Парчевских лесах, брал к себе евреев с оружием и терпел присутствие невооруженных евреев по соседству со своим отрядом. В отряде капитана Раевского, действовавшем в 1942 году к югу от Люблина, также было много евреев. Большинство мелких советских отрядов рассматривали евреев не как бойцов, а как источник денег и ценностей, на которые

можно было бы покупать у крестьян оружие и продовольствие, и евреев часто грабили. Бывали случаи изнасилования еврейских женщин советскими партизанами, иногда они перерастали в кровавые инциденты. Советские партизаны были особенно недовольны присутствием евреев-беженцев в лесах, потому что немцы охотились на таких евреев – более интенсивно, чем на партизан, – и это привлекало их внимание и к партизанам.

На Люблинщине возникло более десятка еврейских партизанских групп, и их положение в партизанском движении края было различным. Некоторые постепенно влились в большие советские партизанские отряды, но самые значительные еврейские отряды сохраняли свою самостоятельность и лишь сотрудничали с советскими или левыми польскими отрядами. Как правило, это были отряды, на попечении которых находились еврейские семейные лагеря или евреи, прячущиеся в деревнях у крестьян. Первых надо было снабжать продовольствием и защищать во время немецких «прочесываний» леса; за вторых надо было платить крестьянам. Выживание – свое собственное и подопечных небоеспособных евреев – было смыслом существования большинства таких отрядов.

Осенью 1942 года под Адамполем, в Парчевских лесах, возник отряд Мойше Лихтенберга. Лихтенберг был одним из немногих еврейских партизанских командиров, который собирался вести активные действия против немцев; однако первой операцией отряда была организация побега 80 евреев из лагеря принудительного труда в Адамполе. Операция оказалась неудачной и только спровоцировала немецкую облаву против партизан в ноябре 1942 года. Отряд Лихтенберга потерял много бойцов, но уцелел.

Конец отряда Лихтенберга был печален. После нескольких стычек с немцами и отрядами АК Лихтенберг решил перебазировать свой отряд. В это время к отряду примкнула группа советских военнопленных, только что бежавших из лагеря; во главе группы стоял офицер, назвавшийся Колькой. Колька предложил Лихтенбергу идти за Буг в Полесье, где условия для партизанской войны были лучше. Лихтенберг согласился. После трехдневного марша по лесам Колька предложил, что он пойдет и поищет безопасную переправу через Буг; при этом он отобрал из совместного отряда всех русских и лучшее оружие, оставив Лихтенберга почти безоружным. Колька ушел и исчез; впоследствии выяснилось, что он вовсе не собирался уходить на советскую сторону и придумал все, чтобы заполучить оружие. Прождав некоторое время, Лихтенберг лично отправился на розыски Кольки. Колька оказался в деревне Ляховичи; увидев приближающихся евреев, его люди открыли огонь – Лихтенберг и еще несколько евреев были убиты. После этого инцидента часть отряда переправилась на советскую сторону, другая часть примкнула к отряду Гриншпана.

Группа Хиля (Йехиэля) Гриншпана обосновалась в Парчевских лесах в конце 1942 года. Отец Гриншпана до войны торговал лошадьми; остальные люди его отряда также вели полудеревенский образ жизни. Благодаря этому они хорошо знали местность и впоследствии успешно уходили от немецких облав. Другим удачным обстоятельством было то, что они сразу нашли в лесу запас оружия. Гриншпан считал, что его цель – защищать мирных евреев, прячущихся в лесах, и прежде всего снабжать их продовольствием и информацией. К марту 1943 года Гриншпану удалось собрать большинство таких евреев в семейном лагере в центральной части леса – так ему было удобнее их защищать и снабжать. Семейный лагерь получил название «Альтана» («Беседка»); предположительно в нем собралось около тысячи человек.

На христианскую Пасху 1943 года немцы провели операцию против Гриншпана и Ковалева. Они захватили «Альтану», и все, кто не сумел быстро уйти,

погибли. После немецкой операции Гриншпану удалось воссоздать лагерь «Альтана»; однако теперь в «Альтане» оставили только стариков, женщин и детей и с ними 12 вооруженных мужчин – все остальные поступили бойцами в отряд Гриншпана. Весной 1943 года отряд Гриншпана под названием «Хиль» вступил в ГЛ; в нем было 100 бойцов. До конца 1943 года «Хиль» был единственным представителем ГЛ в Парчевских лесах; его основной формой деятельности (кроме защиты «Альтаны») была рельсовая война.

В январе 1944 года на Люблинщину из Полесья перешел польско-еврейский отряд Александра Скотницкого. АЛ присоединила отряд «Хиль» к отряду Скотницкого и на их базе создала батальон «Холод», на треть состоявший из евреев. Командир батальона М. Мелюх оказался антисемитом и, в частности, запретил Гриншпану заниматься поддержкой лагеря «Альтана». В ответ Гриншпан заявил, что выходит из АЛ. Последнее означало, что соглашение не нападать друг на друга, заключенное между АК и АЛ, теперь на еврейскую роту не распространяется. Немедленно АК устроила нападение на «Альтану» с требованием сдать оружие. Спасло ситуацию появление в районе советских партизан, которые и взяли «Альтану» под свою протекцию. Командование АЛ согласилось снять Мелюха, и рота Гриншпана вернулась в АЛ. Отряд Гриншпана досуществовал до освобождения Люблинщины в июле 1944 года; из евреев «Альтаны» уцелело около 200 человек. Отряд «Хиль» – один из немногих успешных еврейских отрядов в Польше.

В лесах к югу от Люблина первые еврей-партизаны появились в мае 1942 года в советском отряде капитана Раевского. В июле, после нескольких неудачных боев с немцами, Раевский решил идти за Буг. Еврей-партизаны отказались идти с ним: ведь при этом они бы оставили без защиты и поддержки евреев, прятаящихся в лесах и деревнях.

Осенью 1942 года представителю ГЛ Гжегожу Корчиньскому удалось объединить под своим началом разрозненные еврейские и русские отряды этого района. Наиболее удачной операцией группы Корчиньского в этот период было освобождение рабочего лагеря Янишув: по оценкам самих партизан (вероятно, преувеличенным), ушло 600 подневольных рабочих-евреев. Небольшую часть из них приняли в группу Корчиньского; еще 60 человек создали свой отряд, который вскоре был уничтожен АК. Остальные были выловлены немцами либо сдались немцам сами, столкнувшись с угрозой смерти от голода и мороза в лесу.

В феврале 1943 года Корчиньский и другой представитель ГЛ создали оперативную группу «Тадеуш Костюшко», в которую входили два еврейских отряда – «Берек Йоселевич» и «Сташиц», два польских отряда, два русских отряда и один смешанный. Отряд «Берек Йоселевич» успешно проводил совместные боевые акции с русским и польским отрядами. После немецкой операции «Вервольф» в июне–июле 1943 года русские отряды, включая евреев, состоявших в них, ушли на восток. Поскольку в ходе немецкой акции большинство еврейских семейных лагерей были также уничтожены, отряд «Берек Йоселевич» распался.

Отряд «Сташиц» просуществовал дольше. Способствовало этому то, что с конца 1943 года, на фоне наступления Красной Армии, крестьяне начали лучше относиться к евреям: снабжали еврейские отряды продовольствием, прятали небоеспособных евреев и т. п. Большинство бойцов «Сташица» погибли при освобождении Люблинщины в июле–августе 1944 года.



Отряд Хилы Гриншпана в Парчевском лесу. 1943–1944 годы. Архив Музея Холокоста США

В леса под Красником осенью 1942 года бежали тысячи евреев, и некоторые попытались создать боевые группы, самой значительной из которых стал отряд «Адольф», названный в честь своего командира Авраама (Адольфа) Брауна. Весной 1943 года «Адольф» был включен в ГЛ. Между тем руководство ГЛ горело желанием подчинить себе польский крестьянский отряд Анджея Келбасы «Дзядека» и другие такие же отряды, поддерживаемые большинством крестьян. На переговорах с представителями ГЛ Келбаса заявил, что войдет в состав ГЛ при условии, что из местных батальонов Гвардии будут удалены все евреи, – и командиры ГЛ согласились.

Свидетельства о том, как произошло это удаление, несколько различаются, приведем наиболее вероятную версию. Келбаса и его помощники явились на базу ГЛ для переговоров. Боец-еврей, стоявший в этот день на посту, пропустил Келбасу на встречу с командирами ГЛ, не проверяя его; он был немедленно обвинен командованием в нарушении устава и приговорен к расстрелу. Перед исполнением приговора командир 4-го батальона собрал всех бойцов отряда «Адольф» якобы для словесного внушения; когда евреи собрались, люди Келбасы открыли по ним огонь. 19 евреев были убиты на месте, остальные бежали.

Уменьшившийся «Адольф» снова стал самостоятельным отрядом; его командиром стал советский офицер, известный под именем Прохор и покинувший ГЛ в знак возмущения произошедшим. Командование ГЛ замяло инцидент. Келбаса был изгнан из ГЛ и впоследствии вступил в ультраправые НСЗ.

В декабре 1943-го командование ГЛ предложило отряду Прохора вернуться в ГЛ, и Прохор согласился. Отряд пережил крупнейшую антипартизанскую операцию на Люблинщине, проведенную немцами в июне 1944 года в ожидании вступления Красной Армии. Однако после окончания операции от отряда «Адольфа» оставалось всего 15 человек, а семейный лагерь, находившийся на попечении отряда, погиб полностью.

Келецкое воеводство

Благоприятные условия для партизанской войны сложились и в Келецком воеводстве, в особенности в районе Радома. В отличие от Люблина, здесь почти не было бежавших советских военнопленных; только во второй половине 1943 года в уже существующие отряды начали вступать русские и украинцы, дезертировавшие из «Остлегиона». До конца 1942 года евреи составляли большинство партизан.

Отряд «Еврейские львы» был создан осенью 1942 года, в период депортаций. В декабре отряд был включен в ГЛ, и его название было сокращено до «Львы». Зимой 1942–1943 годов «Львы» стали наиболее активным отрядом района Кельце; в январе 1943 года более половины всех боевых операций в районе Кельце было проведено им. Одновременно в составе ГЛ в районе Кельце действовал смешанный польско-еврейский отряд «Вилк» («Волк»).

Интересно, насколько различными были отношения обоих отрядов с местными крестьянами. Крестьяне охотно помогали «Вилку» – польскому по виду отряду, с польским командиром, но не желали снабжать продовольствием чисто еврейских «Львов». Весной 1943 года у «Львов» начались стычки с НСЗ. Чтобы выжить, «Львы» поменяли название отряда на «Людвик Варыньски» и приняли несколько русских военнопленных. Летом 1943 года, когда отряд понес потери, ГЛ расформировала его.

Вероятно, ни одна еврейская организация Сопротивления в Польше не готовила уход в партизаны так тщательно, как отделение Боевой организации евреев в Ченстоховском гетто. Заранее были подготовлены две базы: около местечка Конецполь и в районе Злоты Поток, в Келецком воеводстве. В марте 1943 года через двух евреев, спрятавшихся в лесу, БОЕ установила контакт с ячейкой Батальонов Хлопских. Во время переговоров между Берлом Гевирцманом, представителем БОЕ, и отрядом БХ поляки неожиданно открыли огонь: один еврей был убит, Гевирцман сумел бежать.

В июне 1943 года гетто Ченстоховы было ликвидировано. Была сделана новая попытка закрепиться в Конецполе и раздобыть оружие. На переговоры в Конецполь прибыло пять бойцов-евреев и представитель ГЛ Кжачек. Кжачек заявил, что для того, чтобы достать оружие, нужны деньги. Виндерман с деньгами организации и Кжачек отправились за оружием. По дороге Кжачек убил Виндермана и скрылся.

После этого инцидента БОЕ с большим трудом наладила контакт с коммунистом Станиславом Ханызом. Реалистически оценивая шансы еврейского отряда закрепиться в местности, где все население было настроено антисемитски, Ханыз предложил создать смешанный отряд, члены которого выдавали бы себя за поляков. Он добавил к будущему отряду двух поляков и несколько русских. Впоследствии в конецпольский отряд, созданный БОЕ, прибывали участники восстания в Варшавском гетто – члены той же организации.

Надежды Ханыза на то, что «интернациональный» характер отряда спасет его, оказались тщетными. В сентябре он послал группу – четырех евреев, русского и двух поляков – отбить у немцев скот, сданный крестьянами; на группу напали члены АК и всю расстреляли. Инцидент положил начало войне АК против отряда Ханыза и Гевирцмана. В конце 1943 года, когда часть группы Гевирцмана находилась в доме крестьянина, дружелюбного отряду, дом окружили солдаты АК; они избили евреев и сдали их немцам.

Последний бой немцам отряд Ханыза и Гевирцмана дал 17 января 1945 года. 19 января, когда район был освобожден Красной Армией, только семеро членов отряда оставались в живых.

В рабочем лагере для евреев в городе Островец Свентокшиски, на востоке Келецкого воеводства, также была организация Сопротивления. Раздобыв 12 пистолетов, организация устроила побег группе из 17 человек с заданием вступить в АК. Поляки

дали беглецам землянку и обучали их обращаться с оружием. Однако в феврале 1943 года, когда эти семнадцать должны были принести присягу, поляки, подчиняясь приказу свыше, открыли по ним огонь. Только двое из евреев спаслись бегством, остальные были убиты.

Варшавское воеводство

В Варшавском воеводстве условия для партизанской войны были минимальные: густые леса имелись только на востоке. Но до войны здесь жило много евреев, больше всего – в самой Варшаве, поэтому еврейские отряды все равно возникли. Наиболее значителен был отряд им. Мордехая Анелевича, состоявший из бывших участников восстания в Варшавском гетто. Короткое время он находился в районе Вышкува. Бойцы отряда были членами БОЕ, имели опыт подпольной и боевой деятельности, и отряд мог бы продержаться дольше других. Но не продержался.

Вышкувские леса были давнишней базой АК. И хотя между руководством АК и руководством БОЕ в Варшаве было заключено соглашение о сотрудничестве, оно мало повлияло на поведение отрядов АК по отношению к еврейским партизанам. Прежде всего, АК вела антиеврейскую пропаганду среди крестьян, и это сразу отразилось на снабжении отряда им. Мордехая Анелевича продовольствием. Фактически, для отряда началась война на два фронта – против немцев и против польских партизан правого лагеря.

Под Вышкувом отряд им. Мордехая Анелевича был поделен на три команды. Вскоре в бою с отрядом АК одна команда была убита. Жалоба в Варшаву штабу АК оказалась безрезультатной. Вторая команда отряда успешно пустила под откос немецкий воинский состав; немцы устроили карательную операцию, в которой и вторая команда была разбита, а уцелевшие примкнули к третьей – команде Подольского. Значительная часть команды Подольского погибла в боях с НСЗ, другая часть вернулась в Варшаву, третья примкнула к советским партизанам.

Как мы видим, главными союзниками партизан-евреев в Польше были советские партизаны или коммунистическая ГЛ/АЛ; официальная АК в лучшем случае их игнорировала, в худшем – рассматривала евреев как национального врага наравне с немцами и воевала с ними. Изредка, однако, еврейским партизанам удавалось сотрудничество и с АК. Например, еврейский отряд в Стажевском лесу под Миньском-Мазовецким пользовался поддержкой местного отряда АК. По некоторым свидетельствам, командир этого отряда Возняк попросту не выполнил приказа сверху об уничтожении еврейского отряда.

В небольшом количестве бойцы-евреи имелись в АК. В большинстве случаев это были люди, успешно выдававшие себя за поляков; в меньшинстве случаев эти евреи пользовались личной симпатией командиров. В Батальонах Хлопских, считавшихся левой организацией, положение было таким же. Среди членов НСЗ было несколько евреев, скрывавших свое еврейство, а также два врача-еврея. Для остальных евреев попытка вступить в Народовые Силы Збруйне оканчивалась гибелью.

* * *

Еврейское партизанское движение в Польше не нанесло какого-либо урона немецкой военной машине и не приблизило победу. Собственно, оно не ставило перед собой такой задачи. Первейшей задачей еврейского сопротивления во всех странах,

оказавшихся под немецкой оккупацией, было сохранение человеческих жизней в условиях геноцида.

Однако даже с этой задачей еврейское партизанское движение в Польше справилось плохо. Мы не находим в «Генерал-губернаторстве» таких успешных семейных лагерей, как лагерь Шолема Зорина под Минском или лагерь братьев Бельских в Налибокской пуще в Западной Белоруссии. Лишь единицы из польских евреев после войны своим спасением были обязаны партизанскому движению.

Одной из причин этого была, конечно, неадекватная военная подготовка евреев. Членами польских партизанских формирований были военные, многие из них – кадровые офицеры; еврейские же отряды лишь частично состояли из бежавших военнопленных-евреев, а подготовка членов таких организаций, как БОЕ или «Бейтар», не была в полном смысле слова военной. Противостояла им превосходно налаженная немецкая военная машина.

Антисемитизм – хроническая болезнь межвоенного польского общества, в особенности присущая офицерству, – был другой очевидной причиной: еврейские партизаны вынуждены были воевать на два фронта, и часть сил еврейских отрядов пошла на войну с АК и НСЗ. Антисемитизм, однако, наличествовал и в СССР, но советские партизаны не устраивали таких «этнических чисток» леса, как польские.

Сильнее всего в Польше сработал иной фактор.

Война, которую вели партизанские армии во многих оккупированных странах, была войной не только за освобождение. Ее второй целью – и часто эта цель была главной – было решить вопрос о власти и политическом строе страны после войны. В Югославии, Греции, Италии, Польше параллельно сражались две, три, четыре и более партизанских армий, и иногда между ними развивался острый конфликт. Левая ЭАМ-ЭЛАС и правая ЭДЕС в Греции, «четники» Михайловича и партизаны Тито в Югославии, Армия Крайова и Гвардия Людова в Польше воевали не только с фашистами, но и друг с другом – за власть в освобожденной стране. Особенно острым был этот конфликт в Польше.

Армия Крайова ожидала вступления в страну Красной Армии и полагала, что с какого-то момента война против немцев превратится в войну против Советов и принесенного ими режима. Гвардия Людова (Армия Людова) рассматривала Красную Армию как союзника. Таким образом, ГЛ/АЛ была для АК внутренним врагом, и в отдельных случаях между двумя армиями вспыхивали конфликты. Куда более острым был конфликт между АК и советскими партизанами на спорных территориях к востоку от Буга.

Евреи с довоенных времен воспринимались польскими правыми как сторонники Советского Союза, а значит, как враги Польши. Альянс еврейских отрядов с советскими партизанами (а больше было не с кем) и, позже, вхождение их в состав ГЛ/АЛ еще более укрепили представление правых о евреях как о «природных» коммунистах. Война с евреями стала для АК частью войны за власть в послевоенной Польше.

И все-таки война АК и НСЗ против польских коммунистов ГЛ/АЛ никогда не доходила до такого ожесточения, как война этих армий против еврейских партизан. Ведь коммунисты тоже были поляки, а евреи – нет. Евреи воспринимались польскими

правыми как национальный враг в той же мере, что и немцы или украинцы. Межвоенная Польша была больна не только антисемитизмом, но и крайним этническим национализмом. Отсутствие национального единства в стране во время войны предрешило превращение войны с евреями в одну из главных задач АК и НСЗ и обрекло на провал кампанию евреев за спасение еврейских жизней в Центральной и Восточной Польше.

[1] Shmuel Krakowski. The War of the Doomed: Jewish Armed Resistance in Poland, 1942–1944. New York–London, 1984. P. 101–102.

[2] Википедия оценивает численность АК в 400 тыс. человек. Подавляющее большинство из них, однако, до Варшавского восстания в августе–сентябре 1944 года были резервом и лишь sporadически привлекались к проведению мелких диверсионных акций. Большинство отрядов АК в 1942–1943 годах действовали на спорных территориях к востоку от Буга.

[3] Цит. по: Shmuel Krakowski. P. 14.

ПЬЯНЫЙ СИЛЕН

Аркадий Ковельман

וְיָדוֹעַ אֶל-

אֲשֶׁר הָיָה לִי בְּיָמַי אֲשֶׁר אֵין

- עַל, עַל הַיָּמִים, לִי אֵין וְיָדוֹעַ אֶל-

וְיָדוֹעַ אֶל-

אֲשֶׁר אֲשֶׁר הָיָה לִי בְּיָמַי אֲשֶׁר אֵין

לִי אֵין וְיָדוֹעַ אֶל, אֲשֶׁר אֵין וְיָדוֹעַ אֶל-

Владимир Маяковский.

Облако в штанах

Это были мои любимые стихи. Их медицинский аспект стал мне ясен, когда я прочел «И восходит солнце» Хемингуэя. В русском переводе роман назывался «Фиеста». Человек получил глупое ранение во время бегства на Итальянском фронте. У такого человека есть лишь одно утешение, да и то отложенное: Г-сподь даст ему «руку и имя» или «место и имя», по-еврейски – яд ва-шем (Йешаяу, 56:4-5). Впрочем, это касается только тех евнухов, которые «крепко держатся завета Моего».



Пьяный силен (фрагмент). Мрамор, II век н. э. Лувр

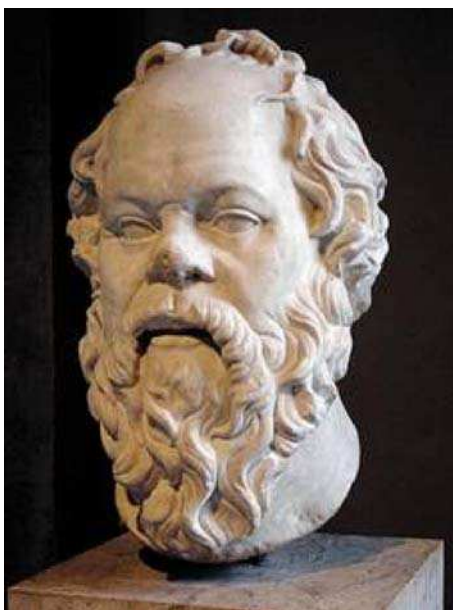
Здесь самое время сказать что-нибудь банальное и плоское. Например: плотский Израиль – духовный Израиль. Плотский Израиль – евреи, духовный – христиане. Евреи рожают детей, чтобы достичь телесного бессмертия в поколениях. Христиане же идеалом считают монашество, а бессмертие чают в Царствии Небесном. И не только это – Ориген, отец церкви и светоч богословия, оскотил себя в молодости, чтобы исполнилось сказанное в Евангелии: «Ибо есть скопцы, которые из материнского чрева родились так; и есть скопцы, которые оскотены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф., 19:12).

Когда патриарх Деметрий изгнал Оригена из Александрии Египетской, тот поселился в Кесарии Приморской, столице римской провинции Палестина. И здесь общался с еврейскими мудрецами, у них учился и их учил. Но с рабби Йеошуа бен Кархой у него не было шансов встретиться – разрыв в два поколения. Так что анекдот из трактата Шабат (152а) не про Оригена, а про какого-то другого кастрата. И вот эта история. Некий кастрат спросил у рабби Йеошуа бен Кархи: «Сколько отсюда до Кархины?» Спросил с намеком, ведь карха – лысина, плешь, да и сам рабби был плешив. Ответил ему рабби Йеошуа: «Столько же, сколько до Гавзины». Это тоже намек, ведь гавзаа – кастрат, евнух. И услышал следующее заявление: «Плешивый козел стоит четыре динария». И ответил: «Холощенный козел стоит восемь». Заметил кастрат, что рабби Йеошуа босой, сказал ему: «На коне – царь, на осле – свободный, в обуви – просто человек, а тот, кто не имеет ничего из этого, – хуже мертвеца». «О евнух, евнух, – воскликнул рабби Йеошуа, – о трех вещах ты сказал, о трех вещах услышишь: краса лица

В этой оппозиции плотского и духовного не все так просто. «Духовный» здесь, конечно, кастрат. А «плотский»? Лысый босяк и грубиян, как сказали бы наши одесские предки. И не он один такой. Вот и рабби Йеошуа бен Хананья был на редкость уродлив. Спросила его дочь кесаря: «Как это так? Прекрасная мудрость в безобразном сосуде!» Ответил ей рабби: «Посмотри на дом своего отца. Где там хранится вино?» «В глиняных сосудах, – сказала она. – Весь мир хранит вино в глиняных сосудах! Неужели и кесарь тоже? Нет, вам надо хранить вино в золотых сосудах и серебряных». Перелила она вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Сказал ей рабби Йеошуа бен Хананья: «Так же и наше учение!» «Но ведь есть среди ученых людей и люди красивые», – сказала дочь кесаря. Ответил ей рабби Йеошуа: «Безобразными они были бы еще учение!» Таков рассказ из трактата Недарим (50б).

Сам себя Сократ сравнивал с оводом, который приставлен к афинянам как к коню, благородному, но обленившемуся от тучности. Вот и носится овод по городу, жалит, задает вопросы, слова не говорит в простоте, строит свои парадоксы и логические ловушки. Донимает почтенных афинян, привыкших думать банально, жить банально и судить банально. И потому дом его заброшен, жена его Ксантиппа зудит от бедности и вредности. А поэт так описал полет и укусы овода:

éíñéóó...



Сократ. Предположительно работа Лисиппа. IV век до н. э.

Что же до наших мудрецов, то вы не найдете у них банальности и пошлости. Каждый мидраш – парадокс. А что такое парадокс? Пара-доксос – против доксы, против пустой видимости и вульгарного общего мнения. И вот пример. Сказал Реш Лакиш: «Пойдем и поклонимся отцам нашим. Если бы не согрешили они с золотым тельцом, мы не родились бы на свет. Ибо написано: “Сказал Я: Боги вы, и все вы – сыны Всевышнего. Но вы умрете как человеки...”» Пока не согрешили евреи с золотым тельцом, они были сыновьями Всевышнего, смерти были не подвержены подобно ангелам, но и не рождали, как не рожают ангелы. А когда согрешили – стали умирать «как человеки» и детей рождать «как человеки». И от них рождены мы – Израиль. И потому будем благодарны нашим отцам за их грех! Так в трактате Авода зара (5а).

В трактате Йома (69б) рассказано, как во времена Эзры евреи просили Г-спода избавить их от Страсти к разврату. Помолились, и Страсть к разврату была отдана им на расправу. Сказал евреям пророк Зхарья: «Смотрите, если убьете ее, мир перестанет существовать!» Они связали ее на три дня, кинулись искать свежие яйца и не нашли во всей Земле Израиля. Воскликнули: «Что делать нам теперь? Убьем ее – мир перестанет существовать!» Выкололи ей глаза и отпустили. И всего прибýtка, что мужчины больше не соблазняются кровными родственницами!

Задолго до Бернарда де Мандевиля с его «Басней о пчелах» догадались наши мудрецы, что из частных пороков следуют общественные выгоды. И так истолковали слова Торы «И увидел Б-г все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»: и добродетели хороши, и пороки (и хорошие, и дурные наклонности)! А разве пороки могут быть хорошими? Конечно, нет! Но без них не строил бы человек себе дом, не брал бы жену, не рождал бы детей, не занимался бы торговлей. И мудро сказал Шломо: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах – от зависти человека к ближнему своему» (Коелет, 4:4). Это в Берешит раба (9:7). Общество не может существовать без зависти и без похоти. Такой парадокс.

И на том спасибо, что от страсти к идолослужению избавил Г-сподь евреев. Ведь и пророчество иссякло, и Храм разрушен, и царства больше нет. Но есть неистовая

любовь к Торе, и есть «окровавленный сердца лоскут», чтобы дразнить заживевшую мысль. Вопреки выгоде и обыкновению. Совсем как дразнили красной тряпкой быка на корриде в романе Хемингуэя «И восходит солнце». Там рассказано о бедном Джейкобе Барнсе, получившем смешную рану в Италии. Эта рана избавила его от похоти и причислила к потерянному поколению. Потерянным поколением были они все, по слову Гертруды Стайн. Поколение Джейкоба. Джейкоб – это Яков, тот самый Яков, который после схватки с ангелом стал называться Израилем. «У вас ужасно ветхозаветное имя, Джейк», – заметила Бретт.

И название у романа ветхозаветное, и эпиграф взят из книги Коелет вместе со словами Гертруды Стайн о потерянном поколении: «Поколение проходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». И нет смысла возвращаться в Париж. Ведь это было бы продолжением фиесты, возвращением на пир.

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА

Aiden Eeet

Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос читателей интернет-издания «Газета.ru», заявил: «У меня еврей отец, но мы с ним никогда об этом не говорили. Думаю, он ощущает себя русским. Я тем более». Это заявление знаменитого арестанта, к которому я и раньше не испытывал симпатий, стало для меня завершающим штрихом к его облику. Неприятному, несмотря на все попытки либеральной общественности натянуть на Ходорковского, образно говоря, «пиджак академика Сахарова» и объявить «узником совести».



Дело в том, что национальность – это не вопрос личных ощущений. Не вопрос языка. Национальность – это происхождение, твои предки, история твоей семьи, твоего народа... И выбрать себе историю невозможно.

Но от предков можно отказаться. Выглядит, конечно, не очень красиво. Но обстоятельства бывают разные. В 30-х годах в СССР люди отрекались от репрессированных родителей, от супругов, и, говорят, сами репрессированные (те, что выжили) за это их не осуждали. Ибо любили и желали им счастья. Как у Пушкина, «плюнь и поцелуй у злодея ручку». Не хотели, чтобы с их близкими расправились из-за пустой бумажки.

Понятно, когда евреи притворялись кавказцами, чтобы спастись во время Холокоста. Кто тут рискнет упрекнуть? Для этого нужно самому быть Героем. И в 70-х, когда «полукровки» выбирали национальность родителя, принадлежащего к титульной

нации, – тоже объяснимо. Не ломать же жизнь из-за государственного антисемитизма... Все это было.

Но мне трудно представить, что в смешанной семье не было разговоров на эту тему. Ведь надо было паспорт оформлять. А в нем графа «национальность» тогда присутствовала. Неужели такой самостоятельный юноша был, что сам решил, без папы с мамой? Ну, ладно. Пусть сам. По паспорту – русский. Но бьют, как известно, не по паспорту. А лицо у Михаила Борисовича вполне характерное, и как он не сталкивался с антисемитами в школе, во дворе? Видимо, действительно уникальный человек. Да другие ведь миллиардерами и не становятся. Джинсы многие шили, кооперативы открывали... А вот владельцами заводов, газет, пароходов стали единицы. Однако уже почти четверть века евреем в России быть не страшно. Зачем же сегодня бежать от своего еврейства?

«А какие, собственно, у вас претензии, он же не скрывает еврейства отца?» – говорят мне. И еще говорят: ведь по алахе он и в самом деле не еврей. Стало быть, русский и есть.

Все так, да не так.

Действительно, еврейства Михаил Ходорковский не скрывает. Он просто отказывается от него. Вот только зачем? Зачем сегодня в России отречься от еврейства?

Есть у меня на этот счет одно подозрение.

Читаем дальше ответы Ходорковского на вопросы читателей:

«Михаил, после освобождения вы согласились бы баллотироваться на пост президента РФ, если бы об этом вас попросили граждане РФ?»

«Я, прежде всего, исхожу из того, что власть для порядочного человека – это гигантский, нечеловеческий труд и огромная, иногда смертельная ответственность. Хорошо было бы спросить меня: а настолько ли я смел, чтобы быть – даже теоретически – президентом России? Впрочем, убежден, что на посты в нашей стране можно предложить немало достойных кандидатур.

Я был хорошим менеджером экономики и социальной сферы в условиях кризиса. Если я когда-то пригожусь в таком качестве моей стране, то...

Не будем загадывать. Сегодня я заключенный. Не более, хотя и не менее того».

На мой взгляд, из этого ответа следует, что Михаил Ходорковский не исключает, что в перспективе может баллотироваться на пост президента.

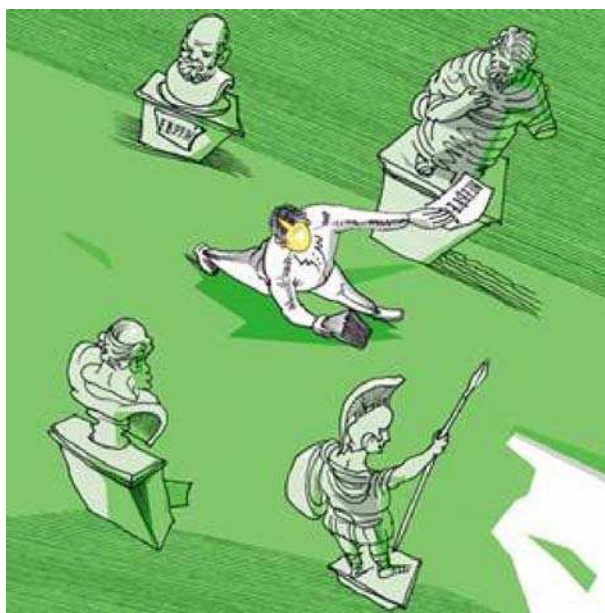
Правителем в любой стране, и в России, разумеется, тоже, должен быть представитель титульной нации. И не я один придерживаюсь такого мнения.

Вот Сергей Довлатов в свое время спорил на эту тему с писателем Верой Пановой. Панова считала такой подход проявлением национализма и утверждала, что

правителем должен быть «умный и порядочный человек». Это, конечно, говорит о широте души Веры Пановой. И о ее идеализме.

В реальной политике все гораздо грубее. Поэтому один знаменитый в нашей стране политик, тоже из еврейско-русской семьи, придумал в свое время формулу «мама – русская, отец – юрист». На мой взгляд, это куда более остроумно и даже в определенной степени менее цинично, чем прямое и грубое отрицание своего происхождения.

Для нацистской Германии алахическое определение еврейства значения не имело вовсе. Дети еврейских отцов уничтожались наравне со стопроцентными, «чистокровными» евреями.



Однако главное – в другом. Сейчас и религиозные деятели, и политики призывают вернуться к традиции. Что верно: от осинки не родятся апельсинки. Человек должен помнить о своих корнях, помнить откуда он пришел. Абрам, не помнящий родства, ничуть не лучше не помнящего родства Ивана. В Советском Союзе традиционный уклад жизни, патриархальный взгляд на мораль лучше всего сохранялся на Кавказе и в Средней Азии. Времена меняются. В Европе даже преследуют за гомофобию, так же как и за антисемитизм. Возможно, там и национальность – дело сугубо личное. Но в США, на которые нам предлагают равняться российские либералы, нравственное разложение ниже, чем в Европе. И президент в США, как известно, тоже выходец из смешанной семьи. Отец – черный кениец Барак Хусейн Обама-старший, мать – белая американка Стэнли Энн Данхэм. Так вот, по сообщениям информагентств, недавно Обама заполнял анкету для переписи населения. В графе «расовая принадлежность» Барак Обама выбрал вариант «черный, афроамериканец, или негр». Информацию СМИ подтвердили и в Белом доме.

Термин «негр» был возвращен в перепись именно с этого года, так как, по мнению разработчиков анкет, некоторые пожилые граждане до сих пор идентифицируют себя с такой расой, хотя многие чернокожие американцы считают это слово анахронизмом и даже оскорбительным для себя. Обама вправе был выбрать и другие варианты, и даже несколько ответов, в том числе «многорасовый», «белый» или нейтральное «другое». Между прочим, делать в Америке политическую карьеру по-

прежнему удобнее белым. Но вот Обама не стал объяснять, что чувствует себя белым, или говорить, что мама у него белая, а папа – экономист...

1907 ГОД

Àèàèîî àð Èèè÷: àîîèèè

Прежде чем нога Шмуэля-Йосефа Агнона в 1907 году ступила на Святую землю, он отметил в своем дневнике, что паруса рыбацких шаланд, летящих к берегу при подходе к Яффо, полны заката. В том же году пианист Давид Шор, оставивший по себе воспоминания о многих блестящих современниках Серебряного века, на пароходе, идущем из Александрии в Яффо, познакомился с Иваном Буниным. Русский писатель вместе с женой Верой собирался предпринять путешествие по Палестине. Шор и его отец к ним присоединились.

Шор видит чету Буниных так: «Она молоденькая миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный человек». Бунину он выставляет диагноз: «Несомненный антисемитизм просвещенного человека».

Полуденный жар Палестины. Герой Агнона, недавно прибывший в Яффо и еще не успевший обзавестись легкой одеждой, жалуется, что солнце над Святой землей жжет нещадней тех, кто носит сюртуки и тяжелые ботинки. Оба они – и Шор, и Бунин – носят пробковые шлемы.

Дорога из Тивериады. Старый араб с посохом в руке медленно ведет за собой ослика, на котором, прикрывшись от солнца бурнусом, сидит женщина с младенцем на руках. Старый еврей молится у озера. Молодая женщина с кувшином на плече подходит к нему.

В странностях Бунина Шору видится немало жесткости и грубости. В шторм на Кинерете Бунин не на шутку испугался и принялся нещадно бранить лодочников. А в другой раз Бунин обругал араба-возницу и чуть не был им зарезан. По дороге из Хеврона, от могилы праотцев, они остановились в трех верстах от Иерусалима у могилы Рахили, светящейся в темноте зажженными синагогальным служкой свечами. Осмотрев могилу Рахили, продолжили свой путь. Служка попросился с ними. Умолял не бросать его на опасной ночной дороге. Возница отказал ему: лошади устали. Бунин резко поддержал возницу. Шор спрыгнул с повозки и из солидарности отправился с несчастным. По дороге им повстречались вооруженные бедуины, чудом оставившие их невредимыми. Вскоре Бунин написал стихотворение «Гробница Рахили»:

«È òí àðèà, è ìîîðîíèè Èàèîà

Àà àíòòèè...» È íà àîîàíèèòòà íàò

Íè èí àíè, íè íààíèèíèè, íè çíàèíà

Íí÷íèè íîðèè àíàè ìàòòèò ìèààíèè ìàò,

È èòííè àîîàà, àíààèàíííèè í àèíí,

Òàèíòòàííí í íð áèààííòòòð íàò,

В і де а е е а р н и а н н и да е а і а н а е і

Е н о да і а о і і о а е о р і а е е і у е у

І а ю і і е а і і а а і і о е і і е а а е і і ...

Н е а а : а е о а і е с н е і а с а і і у о ! Да о е е у

Впечатления от библейского Востока легли в основу сборника рассказов «Тень птицы», автор которых через восемь лет после путешествия по Палестине вступит в пору своего писательского успеха в России. Каково это? Древнее дворянство, аристократическая свобода позы, сигара, зеленый галстук от Шанкса, накрахмаленный тугой воротничок, беспримерный талант, уютная усадьба, листопад, отрада одиночества, ружье, стожок, собака, широкий плес, кристальный воздух и душа, единство их, камин, вино, перо из чуткой стали, по отстраненной женщине тоска.

Все хорошо. Только скоро наступят окаянные дни, и тоска по женщине сменится гневом и отчаянием, вызванными революцией.

А пока – штиль, зной, утро. Пароход бросает якорь на рейде перед Яффо. Дальнейший путь пассажиров обычен, его проделал и Агнон со своим героем. На палубе давка. Взмокшие от пота лодочники босы, выкатывают кровавые белки, фески едва держатся на затылках, когда они швыряют вниз, в шаланды, чемоданы и самих пассажиров. Яффо вдалеке желтеет кубическими своими домиками, с торчащими там и тут метелками пальм; море глубоко синее, пароход уже едва виден. Лодка скользит меж рифов, которых так пугался Ицхак Кумар, герой «Вчера-позавчера», и называл их скалами.

Мостовые и ступени Яффо более гладкие, чем в Стамбуле, но оба города пахнут одинаково: гниющими фруктами и пряными травами. Бунин с удовольствием замечает, что Иудея снова заселяется потомками псалмопевца Давида и древние плодородные долины, полные нарциссов и маков, теперь выпаживаются.

Поезд в Иерусалим отправляется раз в сутки. Воздух благоухает цветущими оливами и горячей землей. Среди ржавых пашен и зеленых посевов встречаются вереницы верблюдов и стада коз и овец. Пастушьи собаки похожи на шакалов.

Близ Иерусалима появляется серый камень в лишаях и колючках, ущелья, полные тени. Показываются черепичные кровли нового Иерусалима. Старый еврей, увидев город, встает помолиться и по-детски кулаками трет намокшие глаза.

Женщины в темных проулках постукивают деревянными подошвами обуви. Во внутреннем дворе, прямо из окна, в изумрудный водоем пророка Йехезкеля опускается кожаное ведро. Бунин соглашается с царем Давидом: как одно здание устроен Иерусалим.

Множество стрижей верезжат над городом. Звонит колокол, кричит муэдзин. Пепел заката опускается на крыши.

Иудея – могила, густо заросшая маками.

Путь в Вифлеем подвешен в жарком блеске утреннего солнца и полон диких голубей. Шакал с лисьим хвостом вылетает из-под куста цветущего шиповника.

Под Хевроном холмы опоясаны рядами террас, на которых растут дубы, сливы, виноград. У могилы праотцев арабские мальчишки натравливают на неверных собак и забрасывают камнями. Так – спокойно – видит это Бунин. Шор описывает это как «град камней».

Бунин стоит над грудой неотесанных валунов, проросшей цветущим кактусом, – над развалинами хижины пророка Ошеа – и думает о его жене – юной блуднице, которую повелел ему взять в жены Г-сподь.

Снова в Иерусалиме. Восторженное ржание осла и блеяние козы. Дым тлеющего кизяка. Плеск бурдюков в источнике. На улицах встречаются русские мужики в лаптях и евреи в бархатных халатах и польских меховых шапках. На улочках турецкие солдаты играют в шахматы. У Стены Плача слышится хор, состоящий из стоны, ропота, говора.

Бунин восхищается мечетью Омара, ее восьмиугольной геометрией, яшмовыми и парчовыми колоннами, тем, что купол ее виден из-за Мертвого моря, из пустыни Моава.

Теперь снова Яффо. Тонкий серп луны в бездонных сумерках над городом. Из черного окна в стене слышно, как там укладываются спать и ссорятся дети.

Наутро штиль зеркальный стоит на выпуклом море, полном отраженного солнца. Задрожала палуба, задымилась, поворачиваясь, корма – и Яффо тронулся, уменьшаясь, пропадая в сизой дымке марева над песками.

С крыш Иерусалима видна пустыня. Нежное небо над ней и солнце затуманены дыханием полдня. Жар поднимается от каменных стен города. Стрижи простегивают воздух. Море пепельных холмов простирается окрест.



После полдня воздух чуть трогается с места и наступает облегчение, краски вокруг становятся яснее, менее белесыми.

На закате золотиста лазурь над Кедромом, верблюжьего цвета ястреба реют в ней; чуть трепещут концы их крыльев.

За Вифанией пустыня каменным морем падает к Иордану. Выбитая в ее ложе известковая дорога. Бедуины складывают вдоль нее пирамидки из щебня – в знак заклания темных сил пустыни.

Долина Иордана проглядывает меж конусообразных холмов, блестит сизой солью. Тень от Иудейской пустыни обрывается над Иерихоном высокими скалистыми стенами.

Еще в сумерки зазвучал таинственный стрекот саранчи и хор цикад, слившийся с сомнамбулическим ропотом жаб в дворовых бассейнах. В темноте чертят зигзаги мириады светляков. Запах эвкалиптов и мимоз окутывает отель. Стены его и каменный двор бледнеют под светом крупных, как слезы, звезд. Человек сам себе кажется призраком в таком свете. Где-то рядом в этой бессонной лунатической ночи бродят тени Сдома и Аморы. Перед рассветом полосы тумана тянутся по извивам Иордана. Под минаретом урчат верблюды ночевавших бедуинов. Тлеет костер, еще мечутся над мечетью летучие мыши.

В устье Мертвого моря сучья и ветви топляков похожи на кораллы – покрыты солью.

Хлебников считал, что конечной целью цивилизации должно стать решение задачи воскрешения всех мертвых. Иосиф Бродский заметил: «Мессия будет более разбираться в микробиологии, чем в теологии».

Бунин пишет, что в древности в Иудее в знак веры в воскрешение из мертвых в могилы клали Розу Иерихона – подобный перекаати-полю клубок сухих колючек, который может годы лежать неживым. Но стоит только положить его в воду, как он очнется листочками и цветом. Еще Бунин пишет о том, как в Иерусалиме, в гостинице неподалеку от башни Давида, его герой покупал любовь юной арабки, носившей ему козий сыр. И больше он ничего не сообщает о той стране, где Агнон в то же время встретил новую жизнь.

Вначале Агнон поселился в Неве-Шаломе, близ моря. Хозяева иных гостиниц договаривались с лодочниками и те за наполеон тайно переправляли к ним всякого, кто желал миновать паспортный контроль в порту.

Дома Яффо утопали в песках. Жара и безмолвие царили над ними. Иногда доносился шум разбившейся волны. Под таким зноем легко забыть, куда идешь.

В синагоге в Неве-Шаломе двери раскрыты, и возле них стоят два мальчика и по очереди подпрыгивают, чтобы поцеловать мезузу.

Внутри немного людей, одетых в разноцветные одежды, ковры на скамьях и на полу – и море в открытых на восток окнах. Синагога постепенно заполняется. На стене у входа висит объявление: «Рав Авраам-Ицхак а-Коен Кук выступит с проповедью в святую Субботу, раздел Эмор».

Два почтенных старика входят с молодым еще человеком высокого роста. Все поднимаются. Молодой человек начинает свою поэтическую речь.

Агнон пишет: «Когда Рав умолк, к нему подошел старик хахам, наклонился, взял его руку и поцеловал. <...> Наш учитель <...> видел в этом поцелуе знак преклонения не перед ним, а перед Торой, которое порой обращают к изучающим и исполняющим ее, когда любовь разверзает затворы уст и выражается в поцелуе».

ДИСКУССИЯ РАББИ АКИВЫ

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ

Продолжение диалога, начатого в книге Михаила Горелика «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем».



– Мы с вами говорили об Интернете как о символе мира, который хочет жить без границ. И о кризисе, возникающем при последовательном снятии всех границ и неизбежно оборачивающемся поиском новых: новых «нельзя», «можно» и «нужно». И вы сказали, что в результате этого кризиса человек поворачивается лицом к традиционным ценностям.

– Вовсе не обязательно. Может повернуться, а может, как мы с вами прекрасно знаем, и не повернуться. Это лишь одна из возможностей. Одна из многих возможностей.

– Ну хорошо, он делает именно такой выбор. Не окажется ли он в своеобразной ловушке, перейдя от мира без границ к законсервированному, архаичному и враждебному современности миру с железобетонными границами, через которые не то что птица – не может перелететь даже ветер времени?

– Не исключено, всякое бывает, но все-таки совершенно не обязательно: почему же непременно законсервированному, архаичному и враждебному? Будто динамичный, современный и дружелюбный мир не нуждается в границах. И потом, ведь нередко бывает, что ветер времени – это чумное поветрие; тогда пусть он действительно лучше задержится на границе: если она способна его удержать, честь ей и хвала! Впрочем, проблема, о которой вы говорите, реально существует. Отличительная черта традиционного общества – консерватизм, любовь к границам и нелюбовь к новшествам. Это, кстати, относится к науке и к бизнесу. Вспомните, сколько веков держалось в науке аристотелианство и модель Птолемея; вспомните, как институт цехов боролся против любых нововведений. У традиционного общества страх перед новыми вещами. Помимо всего прочего, этот страх религиозно обоснован: Всевышний не создал этих вещей? Ведь не создал? А раз не создал, значит, и не надо. Если бы Всевышний хотел, чтобы мы летали, мы бы рождались с крыльями.

– Рожденный ползать летать не может.

– Почему не может? Может. Но определенно не должен: ведь это опасное искажение замысла Творца, создавшего совершенный мир. Парадокс в том, что еврейское понимание жизни, на котором было построено и стоит доныне еврейское традиционное общество, придерживается иной точки зрения. Мы считаем, что Всевышний создал мир несовершенным, что мир, созданный Им, требует усовершенствования.

– Всевышний создал мир несовершенным? Я вас правильно понял?

– Именно так. В Талмуде приводится дискуссия, которая имела место почти две тысячи лет тому назад, но продолжает сохранять свою актуальность. Рабби Акива обсуждал с одним высокопоставленным римским чиновником ту же проблему, что и мы с вами. Рабби Акива утверждал, что люди могут делать кое-что получше Всевышнего. Например, хлеб: разве хлеб не более совершенное создание, нежели пшеница?

Академическая сторона дела волновала римлянина меньше всего. Речь шла о вещах, имеющих четкий политический и юридический смысл: римская власть объявила обрезание уголовным преступлением. Чиновник не хотел эксцессов и адресовал свой теологический аргумент через рабби Акиву всему еврейскому миру. Аргумент представлялся ему безукоризненным. Если Всевышний сотворил человека совершенным (а ведь известно, что Он сотворил его совершенным), обрезание бессмысленно. Более того, вредно, ибо противоречит замыслу Всевышнего. Рабби Акива этот аргумент не принял – он твердо стоял на том, что человек должен улучшать мир, созданный Всевышним.

Еврейская мысль вошла в конфликт с римской политикой. Рабби Акиву отправили для продолжения дискуссии в руки к палачу, который оперировал совершенно иными (не имеющими прямого отношения к теологии) аргументами, в результате чего законоучитель принял мученическую смерть, не только не изменив своей уверенности в том, что мир, в котором мы живем, нуждается в совершенствовании, но даже получив тому очевидное подтверждение.

Эта дискуссия о совершенстве и несовершенстве мира и воле Всевышнего отражает самый широкий спектр жизненных ситуаций. Если все на свете совершается по воле Всевышнего, может быть, не стоит обращаться к врачу? Обратите внимание: процент евреев-врачей в мире превосходит все мыслимые пропорции, медицина – специфическая еврейская профессия. Мир, созданный Всевышним, принципиально незавершен: долг человека его постоянно совершенствовать. Это относится и к техническому прогрессу, и к общественной деятельности. Еврей может не иметь никакого отношения к еврейской религии, может о ней не думать, может вообще ничего о ней не знать, но идеи, которые иудаизм сделал неотъемлемой частью еврейского общественного сознания, воспроизводятся от поколения к поколению. Каких бы политических и даже мировоззренческих взглядов ни придерживался еврей, он уверен, что мир можно и нужно менять. Религиозный еврей знает, что это требование Всевышнего, – для нерелигиозного еврея это самоочевидно.

Обладая таким сознанием, евреи могут быть для мира очень полезны, но могут быть и очень опасны. Полезны – когда осознают свою ответственность. Опасны – когда не сознают или ложно ее понимают, когда есть большой пафос преобразований – куда

бы они ни вели. Сколько евреев среди создателей атомной бомбы? Найдется ли революция, в которой евреи ни приняли самого активного участия?

МЕСТО ИНТЕЛЛИГЕНТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Àààä I ääëëø

Название этой моей заметки может озадачить читателя и развернуть его к глубокомысленному бездонному спору. Современный просвещенный мир не принимает понятие «интеллигент» и не пользуется им, успешно заменяя его понятием «интеллектуал». Исторической родиной интеллигенции и, за вычетом единичных эмигрантов, местом их постоянного жительства была и остается Россия.



Владимир Маковский. Вечеринка (фрагмент). 1875–1897 годы.

Третьяковская галерея. Москва

Разница между понятиями «интеллектуал» и «интеллигент» столь же значительна, как между Западом и Востоком, которым, по словам Кипплинга, «вместе не идти». Пожалуй, Кипплинг был прав: в духовной сфере даже успешная глобализация этих противоположенных и противопоставленных краев света мало что сумеет изменить. Что русскому здорово, то немцу карачун, – хотя часто случается и наоборот.

Как-то во времена кисельного брежневского застоя, в 1967 году, пришли «товарищи в штатском» к одному умному и именитому в культурной среде еврею и говорят: «Подпишите вот это письмо против израильской агрессии». Поносное, разумеется, было письмо. Еврей спрашивает: «А почему же это вы именно ко мне?» «Да потому что вы – еврей!» – отвечают не задумываясь. Тогда еврей парирует: «Вы ошибаетесь». Посланцы поражены такой неприкрытой наглостью: «Как так?!» А еврей припечатывает их: «Я по национальности русский интеллигент!»

Этот еврей, в национальной принадлежности которого никто никогда не сомневался, горько шутил. Но в его шутке была изрядная доля серьезности.

Мне кажется, образ русского интеллигента сложился под влиянием главного события русской истории позапрошлого века – отмены рабства в 1861 году. Бациллы рабства, как и бациллы чумы, сохраняются долгое время после победы над болезнью. Кто ж этого не помнит: «Русская душа – тысячелетняя раба» (А. Герцен)! Образованные и совестливые русские люди (да и обрусевшие с ними вместе, охотно), дворяне и разночинцы были, прежде всего другого, озабочены судьбою и будущим своего народа, освобожденного от клейма, но не от ярма. «Хождение в народ» интеллигента – явление сугубо русское, немыслимое для французского или немецкого интеллектуала. Народ – это народ, интеллигент – это интеллигент. Один сеет-пашет да «кует чего-то железного», а другой накапливает знания и оперирует ими в должном порядке. Каждому, в сущности, свое... Известно, что вылазки в народ для интеллигентов, как правило, добром не кончались, а кончались намятыми боками – контактам народоустрадателей не способствовали ни косоворотки, ни даже «смазные» сапоги.

С течением времени и раскрепощенный народ входил в новое русло, и интеллигенция оставила попытки дружески слиться с темным несчастным народом в его кошмарных деревнях. Но благотворно воздействовать на народную душу другими способами, на ином оперативном просторе – это сохранилось. И в этой упорной сохранности – и благородство мысли и сердца, и неподражаемый милый инфантилизм.

Другим главным способом благотворного воздействия в руках интеллигенции стала изящная словесность. Книга сделалась мостом между малограмотным или вовсе неграмотным, не знающим разницы меж «аз» и «буки» народом и просвещенной умной верхушкой общества. Мостом с односторонним движением. И сверхцель просветителей была чиста и ясна: образовать отсталый народ, научить его читать и – раз не удалось бескровно опуститься в его глубины – поднять его до своего уровня. А там уж и до всеобщего счастья недалеко... Вопрос «Если всех поднять – то кто же останется внизу?» просто не обсуждался: выглядел кощунственным.

Во множестве книжек, романов, повестей и рассказов, вышедших из-под пера русских писателей-интеллигентов, как правило, с любовью и досконально описан так называемый «простой народ» (как будто существует другой – не простой. Повсеместное заблуждение). Наверняка фигурирует в этих сочинениях и интеллигент, списанный автором с самого себя, – фигурирует или, по крайней мере, внимательно глядит со стороны.

Я бы назвал четырех писателей, наиболее, как мне кажется, крупных, и их эпопеи о мире, войне и народе: Лев Толстой, «Война и мир»; Михаил Шолохов, «Тихий Дон»; Василий Гроссман, «Жизнь и судьба»; Александр Солженицын, «Красное колесо».

Все они, за исключением одного, построены и в большей или меньшей степени держатся на классической русской литературной комбинации «интеллигенция – народ» или, точнее, «интеллигент – народный человек». У Толстого это эталонная конструкция Безухов–Каратаев, у Шолохова – Подтелков–станичники, у Солженицына – Воротынцев–Благодарев. Гроссман не пошел у традиции в поводу: его Мостовской противопоставлен хитрому Лиссу, а не воюющему русскому народу, который под большевиками успел уже выучиться грамоте, но не стал от этого счастливей. Этот народ разобрался в чем надо и отнюдь не нуждается в интеллигентских наставлениях. Однако в этом пестром фронтовом конгломерате, впоследствии лживо названном кем-то из кремлевских дятлов «общность, советский народ», всем находится место – и интеллигенту, и простаку, и эллину с иудеем, – лишь бы человек был, а не свинья.

Эти четверо авторов были русскими интеллигентами. И тот неприглядный факт, что двое из них грешили антисемитизмом, не должен нас печалить и расстраивать: не это очерчивает картину. К тому же – к счастью – игровое лукавство человеческое велико, и интеллигентов с антисемитским душком, интеллигентов «второй свежести» всегда можно передвинуть на табельной доске: Достоевский, скажем, интеллигент рафинированный, но не истинный. А Солженицын – тот истинный, но зато не рафинированный. Можно сыскать и другие определения.

Но не будем замыкаться в кругу антисемитизма русских интеллигентов-литераторов, не то заблудимся среди трех сосен. Да и тема скучная навязла в зубах: «любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет...» Ну, любит, ну, не любит... Симпатии или антипатии того или иного писателя к тем или иным людям или народам не должны коренным образом влиять на оценку его творчества. Прекрасный прозаик Астафьев евреев не жаловал (в особенности, предполагал Натан Эйдельман, по пьяному делу), грузин презрительно оскорблял, да и своих русских, в сущности, терпеть не мог. Никого он не любил, и все тут, – за несовершенство души, хотя русского человека жалел за эту сердечную инвалидность более, чем других. А вот если бы оказалось, что в «Царь-рыбе» пожиратель медведя – еврей, что бы тут поднялось, какая страшная буря! Астафьева клеймили бы за антисемитизм куда сильнее, чем после переписки с Эйдельманом. Но едок был русак русаком, и эта дикая история публику позабавила, но никак не возмутила: таежный медведь задрал и съел бродягу, а друган покойника отомстил: по свежим следам выследил медведя, убил его и сожрал людоеда.

Вернемся, однако, из медвежьей тайги к нашим интеллигентам. Хронологически ряд из четырех названных романов-эпопей открывается «Войной и миром», а завершается «Красным колесом». И если Шолохов отошел немного от классического канона, а Гроссман пренебрег им, то Солженицын в своей трактовке темы «интеллигент и народ» шагает за Толстым, как говорится, след в след. Не думаю, что такое движение обусловлено прежде всего тем, что прославленный автор «Матренина двора», отдельных глав «Ракового корпуса» и «Архипелага ГУЛАГ» – ретроград, хотя и это здесь есть. Солженицын устами Воротынцева желает поучать, менторски направлять народ, к которому принадлежит. Во всякой прозе, пройди ее с бреднем, выловишь автора – или того, кем автор хотел бы являться. В «Красном колесе» Солженицын – это Воротынцев. Заимствуя толстовский прием, Солженицын упустил из виду, что между войной с Наполеоном и первой мировой войной лежит век, русский век, посреди которого горит свечой в тумане освобождение «простого» народа от подневольного рабства. И если за пятьдесят лет формальной свободы – к августу 1914-го – этот народ не стал повально грамотным, то все же кое чему успел обучиться.

Так что Арсений Благодарев, на которого умный и совестливый интеллигент Воротынцев смотрит, как взрослый на милое, но неразумное дитя, все же не родной брат Платона Каратаева, а далекий потомок. И Платон, надо сказать, получился куда вдумчивей и глубже Арсения с его обязательным картофельным носом и банным веником.

Что же до Шолохова, то его Подтелков укладывается в формулу «город–деревня»: этот городской большевик олицетворяет здесь интеллигенцию, поучая и наставляя толстопятую деревенщину. Эта позиция объяснима – Шолохов все же станичник (этот факт сомнений ни у кого не вызывает), а не родовитый дворянин и не университетский профессор.

Семьдесят лет большевистского террора внесли свои поправки в интереснейший процесс формирования русской интеллигенции. Появилось и утвердилось безумное понятие «прослойка интеллигенции» – между двумя несуществующими классами. Появились тучи убогих дипломированных «образованцев». Поступил безногий приказ о стирании границы между городом и деревней, и люмпенизация населения приняла угрожающий характер. Русская интеллигенция, с одной стороны, растворялась, с другой – выкристаллизовывалась. В этой алмазной среде «признаком хорошего тона» – в ряду немногих сохранившихся исстари признаков – являлось знание античного прошлого человечества.

Я знаю и люблю одного русского интеллигента, последовательно посвятившего себя исследованию культуры Древнего мира, затем – Средневековья на примере первого европейского интеллигента Эразма из Роттердама и, наконец, современной нам литературы, включая русскую и русско-еврейскую.

Его имя – Шимон Маркиш.

«НА ПИРЕ УМА, БЛАГОРОДСТВА, ЛЮБВИ»

Î àdè Òàdè Òííá

В октябре 1971 года, когда мы познакомились, Давиду Самойлову шел пятьдесят второй год. Он тогда уже был знаменитым поэтом. Меня привел к нему наш общий товарищ Володя Лукин (Владимир Петрович, нынешний уполномоченный по правам человека), он вызвался показать маститому профессионалу рукопись моей повести «Прохор Меньшутин» (тогда она называлась «Сказка о Золушке»). Самойлов жил в ту пору на подмосковной станции Опалиха.



Давид Самойлов с женой Галиной и сыновьями. 1973 год

После дождей развезло, мы кое-как дошли по грязи. Поэт встретил нас на крыльце: в черной рубашке с закатанными рукавами, в замызганных грязью сапогах – только что ходил в лес. Удивила меня его седина (и щетина седая): на известных фотографиях он таким седым еще не был. Мы посидели за бутылкой водки в прекрасной большой комнате с бревенчатыми стенами. В ней было тепло, сухо и удивительно легко дышалось. Большой рояль как будто не занимал места. Письменный стол, громадный – на многих гостей – обеденный стол, всевозможные свечи в подсвечниках, на стене портрет Пушкина – рисунок пером Нади Рушевой.

Говорили о том о сем. О Солженицыне, Молдавии, где Давид незадолго перед тем побывал, Польше, куда его не пускали в качестве какого-то наказания, о сравнительных достоинствах русской водки, польской «Выборовки» и венгерских настоек, о том, что в «Новом мире» собираются печатать поэму Цветаевой, а живых поэтов не печатают. Мне было в новинку услышать, что его, такого известного, тоже не печатают. Я думал, это лишь у меня так.

А в следующий раз я пришел к нему уже в марте, когда Давид и его жена Галя прочли мою рукопись. И как же я был обласкан, какие похвальные слова мне довелось услышать! Говорилось все это, между прочим, при других гостях, неизвестных мне людях, смотревших на меня с интересом и уже просивших рукопись почитать. Давид и сам стал называть имена разных знаменитостей, которым готов был меня рекомендовать (с кем он только не был знаком!), хотя вещь сразу же объявил совершенно непечатной.

– И не потому, что антисоветская, – объяснил он. – Просто несоветская. Воздух здесь какой-то другой. И мысли, и люди. Существует официальный термин, который употребил на совещании драматургов какой-то деятель ЦК: «неконтролируемые ассоциации». Нельзя, чтобы вещь вызывала неконтролируемые ассоциации...

Стоит ли говорить, что никаким знаменитостям я представлен не был (тем более что и сам отнюдь не рвался), ни до какого протектирования вообще за все годы нашего знакомства дело не дошло – не тот был случай. «Меньшутин» благополучно прождал публикации еще шестнадцать лет. Но разве это было для меня важно?

Ко времени нашего знакомства мне было 35 лет – возраст куда как не юный; я годами что-то писал, но ни строчки не мог опубликовать. Испытавшие это знают, как много комплексов порождает такое состояние, как непросто бывает справляться с сомнениями и неуверенностью в себе. Самойлов дал мне главное: он принял меня всерьез, на равных – и уже этим помог утвердиться в себе. Ни в чем другом я тогда так не нуждался.

Прекрасно было и другое: я соприкоснулся с личностью, типом мироощущения, способом отношения к жизни, прежде мне в таком качестве неизвестными. Увидел человека солнечного, открытого, расположенного, не просто талантливого, блистательного умницу, но способного бескорыстно и увлеченно радоваться другому таланту – и при этом без всякой табели о рангах. Несмотря на разницу в возрасте, мы довольно быстро – где-то уже в первые месяцы знакомства – перешли на «ты», хотя какое-то время оба еще сбивались. Мои воспоминания о Давиде, написанные уже после его смерти, недаром были озаглавлены «История одной влюбленности». Я был им восхищен, очарован, при любой возможности, по поводу и без повода стремился поехать к нему в Опалиху, даже не предупредив по телефону – телефона у нас обоих тогда не было.

Это был удивительный дом. Кажется, он всегда был полон людей.

Сколько моих знакомств и дружеских, на всю жизнь, отношений началось в этом доме! Упомяну лишь несколько известных теперь имен: Лев Копелев и Рая Орлова, Исаак Крамов и Лена Ржевская, Алик Городницкий и Аня Наль, Эдик и Лида Графовы, Лиля и Семен Лунгины. Все они брали у Давида читать мои рукописи, я становился, как теперь говорят, известным в узких кругах. Лиля Лунгина потом говорила мне, что ее дети, Павел и Женя, не просто меня читали, но даже перепечатывали, распространяли дальше. Кстати, именно она, по своей инициативе, позднее отнесла мою повесть «День в феврале» в «Новый мир», и там ее приняли к печати, попросив Давида Самойлова написать рекомендательное предисловие, что он и сделал. Так впервые в 1976 году была опубликована моя проза. Эту повесть я недаром потом посвятил ему.

Помню, как-то Давид, окинув взглядом собравшуюся у него компанию, сказал не без удивления: «Странно, почему тут почти все евреи. Исключение, кажется, только ты, Миша», – обратился он к знаменитому актеру Михаилу Козакову. Тот с усмешкой пожал плечами: нет, и он не мог себя назвать исключением.

Позднее я рассказал про этот эпизод Тамаре Владимировне Ивановой, матери нашего выдающегося филолога Вячеслава Всеволодовича Иванова. «Ничего удивительного, – сказала она. – Еще до революции, с начала века во всех интеллигентских компаниях преобладали евреи». Здесь стоит заметить, что сама Тамара Владимировна, ровесница века, удивительно красивая даже в старости, происходила из семьи коренных русских купцов Кашириных-Окуневых, родители ее отца и матери были крепостными

крестьянами. И что ее мужем одно время был Исаак Бабель, от которого она родила сына.

Самойлов обсуждать еврейскую тему не очень любил, в его доме она возникала чаще всего в связи с разраставшейся как раз в те годы эмиграцией. К ней Давид относился резко отрицательно. Он постоянно подчеркивал, что считает себя русским поэтом, человеком русской культуры, подчеркивал, может быть, особенно потому, что не мог не ощущать, с какой затаенной, завистливой неприязнью – при внешней почтительности – к нему относились литераторы из числа тех, кого он называл «руситами». Иные даже набивались ему в приятели. Уж после его смерти эти люди не стали сдерживаться – при жизни они, должно быть, не могли себе позволить такого публичного, непристойного антисемитизма, время было еще не то. Не буду называть имен и публикаций – противно, и не место здесь этим именам.

Настоящая фамилия Самойлова, как известно, была Кауфман (см. материал Александра Давыдова «Два моих деда»: Лехаим. 2004. № 2). Давид как-то говорил мне, почему решил заменить ее псевдонимом: Кауфман – по-немецки «купец», как-то не поэтически звучит. Году в 1976-м я услышал от него, что он хочет и в паспорте менять ее на «Самойлов». «А то возникает много неудобств, – объяснил он. – Деньги переводят на Самойлова, в гостинице номера заказывают на Самойлова. Правда, у меня есть билет Союза писателей, где я Самойлов, но каждый раз приходится объясняться. Очень неудобно». До сих пор не знаю, сделал ли он это, – не интересовался.

Я не раз встречал дома у Давида его маму, Цию Израилевну. Помнится, с какой забавной ревностью она относилась к болезням сына. Услышав, что у него гипертония, она не без уязвленности замечала: «У меня тоже гипертония, еще посильней». Но вот однажды он чуть было не вырвался вперед: у него нашли катаракту, прогрессирующую, ему назначили операцию. Маму это на некоторое время озадачило, но однажды в разговоре она как бы походя вставила: «Да, а что касается катаракты, так у меня их две».

По-настоящему сосредоточенно тему своего еврейства Самойлов стал осмысливать, видимо, где-то в конце 70-х – начале 80-х годов, когда формировалась книга его мемуаров «Памятные записки». В мае 1980 года, когда я навестил Давида Самойлова в Пярну, он прочитал мне только что написанные им главы об истории своей семьи. Я тогда впервые узнал, в какой подлинно еврейской атмосфере проходило его детство. Теперь эти записки опубликованы.



Давид Самойлов с Михаилом Козаковым. Пярну. Конец 1970-х – начало 1980-х годов

Обстоятельно, с добрым юмором, он рассказывает о своих родственниках по материнской и отцовской линии, о прадеде-ювелире и о другом прадеде, который в восемьдесят лет один уехал умирать в Палестину, о хлопотливой тетке, о дяде-нэпмане, о многих других. Особенно колоритно описан на страницах «Памятных записок» дед с материнской стороны: «Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу. Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы. Молитва – его развлечение и удовольствие. Время от времени он прерывается, чтобы переругнуться с теткой. И продолжает с полуслова свой речитатив».

Самые существенные воспоминания детства были, однако, связаны у Давида с отцом, ему в «Памятных записках» посвящена особая, весьма содержательная глава «Сны об отце». Самуил Кауфман был врач, специалист по кожно-венерологическим заболеваниям, во время первой мировой войны служил на фронте, после войны имел частную практику. Этот человек сыграл особую роль в духовном воспитании Давида.

«Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию... – вспоминает Самойлов. – У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб... Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья».

Обсуждал ли отец с сыном проблемы еврейской религии, в воспоминаниях не говорится. По-видимому, нет, Самойлов излагает больше свое понимание. «Б-г был скорее традицией, а не верой в той полувольнодумной среде европеизированного еврейства, к которой принадлежал отец отца, мой дед Абрам, служащий спичечной фабрики, – пишет Давид. – У нас в доме справлялись праздники – и Пасха, и Судный день». Но отца «меньше всего интересует обряд, – продолжает он, – вся внешняя сторона религии. Его даже не интересует вероисповедание». И дальше о его уважительном отношении к христианству: «Отец уважает веру. Всякую веру... Но выкрестов он не терпит».

Так воспринимал, так понимал сын религиозное самоощущение отца. «У отцовского поколения не было чувства обреченности стать частью русской культуры и русской сверхнации <...> Мой отец был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности <...> Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации <...> У него не было обиды на русскую нацию за неприятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался. Он всегда удивлялся, когда еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей-министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным <...> А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские».

(Помнится, еще когда он читал мне эти страницы в Пярну, у меня шевельнулась мысль, что эта несомненно достойная позиция обозначает все же самоощущение человека, живущего как бы не совсем в своей стране.)

В воспоминаниях Самойлова немало спорного, они заслуживают вдумчивого осмысления. Например, суждение о том, что «русские евреи – <...> это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных ее вариантов». Или о том, «что евреи после войны перестали быть нацией». Время само по себе многое меняет в наших представлениях, кое-что уточняет.

Но что теоретизирования! Больше всех рассуждений о еврейском самоощущении поэта говорит обнаруженное в его архивах не так давно стихотворение 1944 года «Девочка». Воспроизведу его здесь целиком: думаю, оно мало кому знакомо.

Āīñāī ū āī āē āī ēē ā ēōāāā

Ī āī ÷ōā ā ī āñ: āī ū ā ēāōūāōū.

Āīñāī ū āī āē, ēāē ā ī ī ÷ Ū āāōō ī ēī ī āŷ,

ŷāī ēp ōū ēē ē āī ī ā āōāēē.

«Ñēōō āē, Ā-ā» – ēōē ÷ āēē ēō ōāāē ī ū,

«Ñēōō āē, Ā-ā» – ōū āāēē ēō āī āēōū.

È Ā-ñ ī āūōñ ūō āē ī āī āē ī ī ūō –

Ñī āñ ī āī ī āēōŷ īō ōēō āēēōū.

Ääü÷èà, ðañòðäüáííúé äñ÷ííé,
Áóðäé èñéíäðéáííäýíòàòä
È äëàà - íáèèé óäññ ää÷ííé -
Ííëññí àñòääèéáíò ñòðäòä
В íáíýë íäñ÷äññííä ðäááíèà,
Ñäë íáííëññéäññíýéðñññäñíáé,
Ðäñ÷äññé äé äñññññ ääááíéé,
Äñññññ èç «Íäññ è Íäññ äé».
Ääü÷èà! Èýííðóè ääáð
Ííä è÷éíé ääññé è íäññäé
Ñäðäòä Á-äññé ì èñññ è ääññä
Í èñññ è íáçäññäéäññé Ò Á-äññé.



Давид Самойлов с мамой Цилей Израилевной. 1950-е годы

Последние годы мы виделись с Давидом редко, он постоянно жил в Пярну, в Москву наезжал лишь по делам. Не меньше ухудшавшегося здоровья тревожили его назревавшие в стране перемены. Вот что он писал мне 10 марта 1989 года, меньше чем за год до смерти: «Несмотря на тихую жизнь, не покидает чувство тревоги. События

развиваются быстро и непредсказуемо. Но это ты и сам знаешь. Сейчас, как никогда, работает фактор времени. Если произойдет неожиданный (или возможный) слом, все пойдет прахом. И может настать эпоха жуткая. И все же что-то уже необратимо. К сожалению, в России все понимается после, потом».

Последнее письмо от него было датировано 30 ноября 1989 года, но получил я его уже в декабре. Без малого через два месяца его не стало. «Веселого мало... Народное мнение, мне кажется, в главном сползает вправо. Процесс естественный при топтании на месте, непоследовательности властей и законодателей. Прогнозы печальные. Оттого хочется жить сегодняшним днем, делать свое дело».

Это невеселое чувство все чаще звучало в поздних стихах Самойлова, многие из которых я тогда не знал. Хорошего он не ждал, предчувствия у него были дурные. Одно из самых последних его стихотворений (1989) начинается строками:

Óðáñò èàòèò íà ðèó,

Í î î òàèì íááæáú..

Надежду несмотря ни на что – с чем же ее мог связывать поэт? Я перечитываю последний сборник стихов Давида Самойлова, среди них неожиданно много новых для меня.

Áà, î íáííáæí áýòîî î èðá

Í ðèéòè è íáíýòüüü ñèðáüü è

È áúòüòàì àáîð íà íèðá

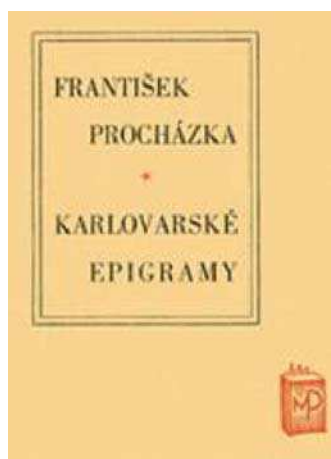
Óî à, áèááðíáñòáì, èðááè.

Со дня смерти Давида Самойлова прошло двадцать лет, а до нас еще продолжают доходить его неизвестные, не публиковавшиеся, не читанные прежде стихи и проза, как доходит не сразу, спустя срок, свет погасшей звезды.

ДВА ПОЭТА

ÊêðëëÊ Êřáðëí

Более восемьдесят лет назад в Праге вышло издание, которое я случайно выудил на одном из книжных развалов этого же города. Зачем я его купил (точнее, просто взял, учитывая смехотворную цену) – сказать сложно; еще сложнее сказать, почему я вдруг вспомнил об этой книжке и раскопал уже на другом книжном развале, домашнем. Некий Франтишек Прохазка сочинил поэтический сборник «Карловарские эпиграммы», другой Прохазка – Милош выпустил его в своем издательстве «Прометей», которое располагалось на Капровой улице, д. 1 (Прага 1). Книга, посвященная карловарскому отделению национально-физкультурного общества «Сокол», содержит пятьдесят эпиграмм и одно длинное стихотворение, которое сам автор называет «романом в стихах». Итак, перед нами времена чехословацкой Первой республики, эпоха становления новоиспеченного национального государства под мудрым присмотром президента Масарика. С властью Австро-Венгерской короны покончено, покончено и с главенством немецкого языка, культуры, капитала. Немцам осталось жить в Судетах (и, соответственно, в Карловых Варах, бывшем Карлсбаде) чуть меньше двадцати лет; евреям в Праге и других чехословацких городах – примерно десять. Такова историческая перспектива развеселых эпиграмм Прохазки, некоторые из которых я представляю на суд просвещенного читателя (предупреждаю: несовершенство перевода является результатом полного отсутствия поэтического дарования у переводчика. Хотя у автора эпиграмм поэтического дарования ничуть не больше, поверьте на слово): «Здесь немцы живут, народец серьезный, / За что ни возьмутся, все сделают справно. / Внимание, чех! Ты живешь под угрозой – / Чуть дашь слабину, и не быть тебе равным».



Это, так сказать, цветочки карловарского патриотизма Франтишека Прохазки, а вот и ягодки: «Храм православный кивал нам златою главой, / Пока позолоту с нее не соскрябал коварный австриец. / Смотри-ка, с какой укоризной святой / На синагогу глядит куполами своими Россия».

И вот так до последней страницы – в том же бодром духе краснощекое курортного антисемитизма, одобренного карловарской солью здоровой ксенофобии. К чему многотомные исследования межвоенного национализма, натужный анализ этнических конфликтов в новых центральноевропейских государствах, скрупулезные изыскания об отношении к еврейской общине после распада Австро-Венгрии? Все на ладони, вся историческая премудрость – в одной брошюрке, тиснутой восемьдесят два года назад за деньги автора пражским издательством с издевательским названием «Прометей». Вот какой огонь нес этот титан мысли исстрадавшимся во мраке незнания читателям: «На свете жить все тяжелей, / Живет средь нас поляк-еврей. / Деньжат немало у еврея, / Чтоб жить, о хлебе не радея, / Ведь даже в доме том, который столь /неплох, / Найдешь подчас ты тараканов или блох».

Переводчик сих цветов остроумия подумывает о том, чтобы лично отправиться в Карловы Вары и в местных архивах проследить судьбу и литературную карьеру замечательного эпиграммиста.

Это – то, что было сочинено в независимой Чехословакии через десять лет после распада Австро-Венгрии. Ретроспекция из сегодняшней Праги, которая – теперь уже усилиями десятков тысяч трудовых мигрантов из Украины, Вьетнама, Казахстана, тысяч экспатриантов из Америки, Британии, Голландии – вновь становится интернациональной. Как тут не предаться ретроспекции из 1928 года, как не вспомнить другую Прагу, времен империи, Прагу Майринка, Верфеля, Гашека, Яна Неруды и, конечно же, Кафки. Но не будем в этот раз доверять случайной прихоти библиофила и вооружимся статистикой.

В 1910 году в Праге, третьем по численности городе Австро-Венгерской империи, жило около 230 тыс. человек; с пригородами (включая районы, которые сейчас фактически находятся в центре города, например Жижков) – около 600 тыс. Чуть меньше 91% населения города составляли чехи, около 9% – немцы. Евреи при переписи записывались либо в состав первых, либо в состав вторых. Историк Петер Демец приводит такие данные: к 1900 году 14 576 пражских евреев декларировали, что они являются чешскоязычными, а 11 599 настаивали на том, что их язык – немецкий. При этом, конечно, ключевые экономические, социальные и культурные позиции занимали отнюдь не чехи; как писал современник Кафки Эгон Эрвин Киш: «Трудно себе представить такое явление, как немецкий пролетариат». В городе говорили в основном на двух языках, но языком элиты был, по большей части, немецкий. Это не значит, что на чешском говорили только низы общества; многие немцы и, конечно, евреи знали его, но знание это было вынужденным и чаще всего определялось необходимостью вести дела. Пражские евреи говорили, конечно, на идише, религиозные евреи и активисты недавно созданного сионистского движения учили древнееврейский, но в повседневной жизни чуть меньше половины их были немецкоязычными. Евреи из богемской провинции, наоборот, были ближе чехам – так, отец Франца Кафки, Герман Кафка, знал чешский язык и, как считает друг и биограф писателя Макс Брод, некоторое время даже симпатизировал чешским националистам. Не следует забывать и еще одно важное историческое обстоятельство: в конце XIX века Пражское гетто подверглось радикальной перестройке и фактически перестало быть «еврейским сердцем» Праги – одним из ее трех «этнических сердец». Эмансипацию пражских евреев можно проследить на примере все той же семьи Кафки – они никогда не жили в районе гетто, а Герман Кафка никогда не держал там свой магазин. Наоборот, среди адресов его лавки был даже дворец Кинских на Староместской площади, тот самый, в котором размещалась немецкая гимназия, где учился Франц.



Культурная жизнь города текла тремя параллельными потоками – немецким, еврейским и чешским. Самым полноводным из них был немецкий: два лучших театра, университет, концертный зал, пять средних школ и несколько ежедневных газет. Однако чешский национальный элемент оказывал все более сильное давление на немецкий – начиная еще со времени так называемого чешского Возрождения. В Праге были чешские театры, чешский Технический университет, конечно же, чешские школы, газеты, клубы. С ростом экономического могущества чешских буржуа чешский язык где только возможно вытеснял немецкий. В результате немецкий лингвокультурный элемент пражской жизни – очень сильный и плодотворный, подаривший мировой литературе не только Франца Кафку, но и Густава Майринка или Франца Верфеля, – оказался изолирован. Две пражские литературы – немецкоязычная и чешская – развивались совершенно параллельно, практически не пересекаясь, точно так же, как представители обеих литератур сидели в одном и том же кафе «Монмартр» в Старом городе, однако друг с другом не общались. Действительно, Франц Кафка и Ярослав Гашек, не замечающие друг друга в тесном зале, битком набитом веселящейся богемой, – вот что может быть символом пражской культурной ситуации начала прошлого века. Но не следует забывать и другое. Пражских литератур было две, но они делили одни и те же темы – оттого некоторые исследователи сейчас говорят о едином «пражском литературном тексте». Евреям приходилось выбирать между двумя этими потоками. Богатые – городские – евреи чаще всего вливались в пражский немецкий культурный поток, более бедные – пригородные и провинциальные – тяготели к чешскому. Вспомним Германа Кафку. Родившись в деревне Осек в Южной Богемии, он в молодости старался выдавать себя за чешского обывателя. Но, разбогатев, Герман Кафка воспитал детей в немецком духе – не порывая при этом с чешской пражской жизнью (в отличие от своей жены, он вообще предпочитал говорить по-чешски) и продолжая в то же время посещать синагогу. В знаменитом «Письме отцу» Франц Кафка даже упрекает Германа Кафку в том, что тот поставил себя выше всех народов, участником жизни которых он, так или иначе, был: «Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев,

причем не только за что-то одно, а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя». У Германа Кафки, как и у его сына, был богатый выбор.

Это нелегкое сосуществование трех народов в одном городе, длившееся многие века, закончилось катастрофой. Катастрофой, по историческим меркам, почти мгновенной: за тридцать лет от бывшего культурного разнообразия не осталось ничего. Остался только город – его улицы, носящие разные имена, от Яна Гуса до Вудро Вильсона, его барочные соборы, построенные иезуитами, его дворцы австро-богемской знати, его синагоги (полные, увы, туристов, но не верующих), его чешские буржуазные дома с чашей на фронте. Никакое уродство социалистических времен, никакая постсоветская пошлость и никакие толпы ошалевших туристов не лишат его высокого гордого образа Города трех сердец. И в этом видится великий европейский урок. Тяжкая нелюбовь слабака ко всему чужому рождает убожество; сосуществование (сколь бы тяжелым оно ни казалось) – отличное условие для расцвета гения. Через полстолетия после того, как в многокультурной Праге родился Рильке, в той же самой Праге, но уже оскудевавшей «этническими сердцами», была издана жалкая рифмованная ксенофобская дичь пана Прохазки. «Убожество ксенофобии отличается от гения общежитства» (как сказал бы князь Петр Андреевич Вяземский) точно так же, как «Карловарские эпиграммы» Франтишека Прохазки отличаются от «Сонетов к Орфею» Райнера Марии Рильке.



МИХАИЛ ЯСНОВ:

«ОЩУЩАЮ СЕБЯ КЕНТАВРОМ»

Àáíííó àíííó Àëíí à Èàëàóí èéíáí

Михаил Давидович Яснов (р. 1946) – поэт, переводчик с французского, детский писатель. Среди составленных и переведенных им «взрослых» книг: «Проклятые поэты», «Умственный аквариум. Из поэзии и прозы бельгийского символизма», «Сена встречает Париж» Жака Превера, «Эстетическая хирургия» Гийома Аполлинера, «Стихотворения» Артюра Рембо и др. Яснов – лауреат многих премий за переводы и стихи для детей.



– Кем вы себя ощущаете: переводчиком, поэтом, литературоведом?.. Или, скорее, кентавром?

– Кентавром. В детстве я был уверен, что стану большим серьезным поэтом. Потом к стихам прибавился перевод, детская поэзия, эссеистика, рецензии, статьи, история... В результате получился действительно кентавр. Если я не пишу, то перевожу, если не перевожу, пишу стихи для детей... Для меня важна такая взаимозаменяемость.

– Какие из этих занятий вам особенно интересны?

– Дело не в интересе, а в любви. Работа должна состоять из трех частей – любви, желания и необходимости. Важно то, чем ты сейчас занимаешься. Получаются детские стихи – «О, здорово, – говорю я себе, – вот это главное!», а потом пошел взрослый стих – «О, здорово, вот это главное!», а потом – эссеюшечка – «Ну это же здорово!» Эта взаимозаменяемость означает не качество, а содержание работы.

– **Если бы вы писали о себе заметку в литературную энциклопедию, как бы себя охарактеризовали?**

– В моих куррикулах идет одна-единственная строчка, причем я настаиваю на этой последовательности: поэт, переводчик, детский писатель. Не люблю слова «поэт», но у нас нет ему достойной замены («стихотворец» звучит выпендренно, «виршеплет» иронически), поэтому приходится им пользоваться, «переводчик» более ремесленное определение, «детский писатель» – демократическое. Эта градация показывает существенную для меня вещь: все это стихи, и даже эссеистика. У любимого мною Кокто выходили книги «Поэзия стихов», «Поэзия прозы», «Поэзия эссе»... Все для него было поэзией, и это правильно.

– **Возвращаетесь ли вы к своим старым опубликованным текстам?**

– К эссе возвращаюсь и правлю нещадно, со временем вижу в них много неточного. Детские стихи правлю, если ошибся в звуке или еще в чем-то. К взрослым почти не возвращаюсь, вот так написано – плохо ли, хорошо. Иногда хочется поправить ранние стихи, но не правлю, просто их не печатаю. Прошел период, когда было важно, чтобы все было напечатано. Поправлю, если увижу страшный ляп. Взрослые стихи – дневник души, детские – понимание задач, а эссе и переводы – в основном ремесло. В этих жанрах задействованы разные механизмы.

– **А Ефим Григорьевич Эткинд, с которым вы много общались, правил свои переводы?**

– Судя по тем рукописям, что я видел, да. Но он не так много переводил. Для него перевод был сопутствующим занятием, в основном он был исследователем литературы, поэзии.

– **Вы с ним познакомились, когда ходили в литературный клуб при Ленинградском дворце пионеров?**

– Да, мальчиком я подружился с его дочерьми – Машей и Катей, которые туда заходили. Был Дворец пионеров, и была наша удивительная школа, где преподавала Наталья Григорьевна Долинина – великий педагог, литературовед, критик, большая подруга Ефима Григорьевича. Поскольку его дочери были из этой школы, я познакомился и подружился с их многочисленными друзьями, постепенно наши общения перенеслись в дом к Эткиндам. У меня сохранилось такое замечательное воспоминание. 1961-й или 1962-й год: мы огромной детской компанией встречаем Новый год на Невском проспекте. Маша и Катя в какой-то момент говорят: «Поехали к нам!», а они жили в конце Старо-Невского проспекта у Александро-Невской лавры. До их дома довольно длинный кусок пути, на дворе ночь, транспорт не ходит. И тогда Маша со словами: «Я знаю, как нам добраться» останавливает черный воронок. Тот самый, про который мы к тому времени уже столько знали.

– **Этот жест был преодолением страха?**

– Фронда. Остановила и спросила милицейских ребят: «Не подвезете?» «Конечно, садитесь». Мы набились в воронок и поехали вдоль всего Невского к Лавре, поездка в нем была символом «оттепели», давала ощущение потрясающей свободы.

– **Какие главные уроки ремесла вы получили от Эткинда?**

– Каждый раз, когда Ефим Григорьевич говорил о моих стихах или переводах, он давал понять, что сейчас посадит меня в лужу. «Ты сделал потрясающий перевод. А что это такое?» или: «Какие ты важные стихи написал! Что это такое?» Честное, благородное тыканье мордой в свои огрехи – главный урок, который я от него получил. Я понял, как важно не быть заносчивым, понимать, что ты делаешь, обладать колоссальной культурой и знаниями, выстраивать иерархию ценностей. Ефим Григорьевич учил тому, чему учат в западных школах, но не учат в наших: «Я тебя учу жить, а не учу знаниям». У нас как? Запомни стихотворение, параграф, задолби правило... А там: как ты выйдешь из этой ситуации, как ты себя представляешь в мире, как соотносишься с другими?.. Эткинд учил этому не только меня. С 1996 года при Французском институте в Петербурге существует студия перевода, которой я сейчас руковожу. Те заветы, что я получил когда-то от своих учителей в переводе, я стараюсь передать студийцам.

– **За тринадцать лет существования студии какое ощущение у вас сложилось от своих учеников?**

– То же, что и в советское время в литобъединениях, – первые наборы талантливее последующих. Не знаю, с чем это связано. Если первые наборы нашего семинара, которые сейчас уже далеко не ребята, были, по-моему, талантливее, то последующие, особенно последние, феноменально образованны. Они знают по пять-шесть языков. Приносят свои переводы не только с французского, но и с других языков, которых я не знаю. Ограничений по возрасту нет, я беру всех – от школьников до пенсионеров. Нас не так много – десять-пятнадцать человек каждый год. Некоторые люди из первых наборов продолжают к нам ходить. Но если ты плохо переводишь и не хочешь учиться – уходи. Недавно на семинар пришла удивительная девочка Ася Петрова, которая знает французский, немецкий, испанский, итальянский... Появился чудесный мальчик Гриша Воробьев. Он учится на итальянском отделении нашего университета, знает много языков. Ребята потрясающие, я завидую их кругозору, знаниям, свободе общения с европейской культурой. Но, конечно, в переводе все упирается в талант и в то, смогут ли они прорваться сквозь время, быт. Окажется ли для них перевод делом жизни, я не знаю и не хочу знать.

– **Ваши ученики остались в литературе или переводят исключительно для себя?**

– Мои главные ученики выпустили уже по пять, десять, пятнадцать книг, и пять-шесть из них стали профессиональными переводчиками, причем очень высокого класса. Это Алина Иосифовна Попова, которая, среди прочего, сделала потрясающую книгу Анри Мишо в «Симпозиуме»; Оля Акимова перевела множество книг с разных языков, последний ее перевод из Брэдбери; Володя Петров в основном переводит с испанского, с французского перевел много превосходных стихов; Елена Березина работает с французскими текстами.

– **Вы ходили на переводческий семинар Эльги Львовны Линецкой. Вы что-то позаимствовали оттуда для своего кружка?**

– Во-первых, принцип абсолютной доброжелательности. Даже если человек мне не нравится, я считаю его бездарным, я буду с ним предельно доброжелателен. Спасибо, что ты пришел заниматься переводом, филологией, литературой, искусством. Во-вторых, абсолютная резкость суждений. Если мне не нравится твоя работа, я честно скажу об этом, но я должен быть доказателен. Если после долгого обсуждения мы видели, что перевод не годится, Эльга Львовна говорила: «В корзину», и человек к этому тексту не возвращался или возвращался на другом уровне. В-третьих, важен принцип самого перевода. Линецкая советовала: «Ребятки, вот вы прочитали в оригинале стихотворение. На бумажке или в голове нарисуйте картинку: что происходит? И по этой картинке, по этому контуру выписывайте свое». Так я перевожу почти каждое стихотворение, другое дело, что многие стихи вписываешь в цикл, цикл – в творчество, творчество – в эпоху... Эта иерархия тоже очень важна. Но, в принципе, мы все время рисуем картинки. Возвращаемся к формуле «Перевод – искусство потерь». От чего можно в этом тексте отказаться? От этого можно? Отказываемся. От этого? Отказываемся. А вот это надо сохранить любыми средствами. Эльга Львовна, Ефим Григорьевич и Глеб Сергеевич Семенов, замечательный поэт и очень хороший переводчик, твердили нам: «Перевод должен стать явлением современной литературы и культуры. Надо к этому стремиться. Если перевод стал явлением культуры, дело сделано. Потом от него могут отказаться, но дело сделано».

– **Как понять, что перевод стал явлением культуры? Ведь должно пройти много времени.**

– Конечно. Но когда появляется что-то замечательное, мы на это реагируем. «Да, может, по каким-то параметрам это не то и не так, но это ТО». Эльга Львовна спрашивала: «Когда ты стихотворение читаешь, у тебя мурашки бегут по спине?» Мурашки – это показатель приближения к чему-то настоящему. Ты можешь сопротивляться этому, негодовать, восхищаться, но текст должен тебя взять за живое. Недавно я был в Красноярске на книжном фестивале. Ко мне подходили люди: «Мы теперь читаем Аполлинера только в ваших переводах». Я очень люблю Аполлинера в переводах Михаила Павловича Кудинова, но мне приятно, что читают и мои переложения. Не знаю, будет ли так с Превером. Хорошо, если текст входит в школьную программу, если его читают учителя и дети.

– **Там вам вручили премию имени Чуковского. С какой формулировкой?**

– За творческий вклад в отечественную детскую поэзию. Это главная премия из четырех номинаций. Хорошо то, что я до самого конца даже не знал, что меня на нее номинировали. Мне это очень нравится. Этим она отличается от Букера или «Большой книги», где номинанты заранее известны. Надо сказать, в детской литературе гораздо больше цеховой дружбы, детская поэзия – коллективная работа.

– **Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.**

– Когда мне было четыре года, моего папу, Давида Иосифовича, арестовали. Если бы не смерть Сталина, он, скорее всего, не вышел бы из лагеря. Он был инженером, работал в мебельной промышленности. Вернулся с финского фронта контуженый, занялся, как все, восстановлением народного хозяйства. И его очень быстро сделали главным инженером крупнейшей ленинградской мебельной фабрики. Все мое детство прошло в ее стенах. На территории фабрики у нас была казенная, очень большая по тем временам, квартира.

– **То есть у вас было благополучное детство?**

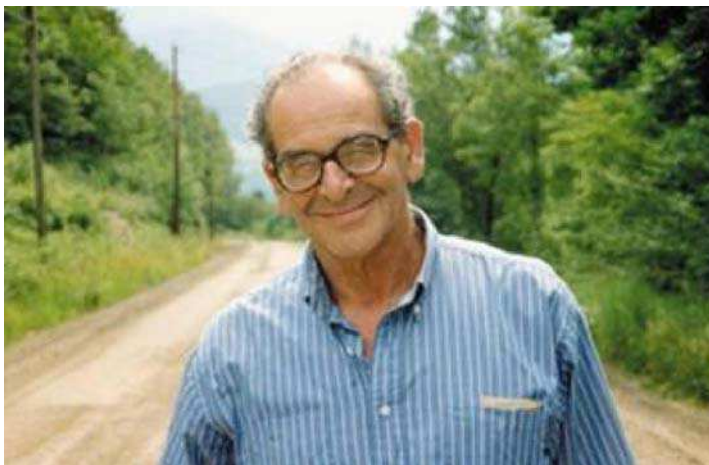
– Детство было благополучным, пока папа был главным инженером, а когда его арестовали, нас изгнали из этой квартиры, пошла совсем другая жизнь, и мы ютились по коммунальным комнатам.

– **Ваша мама именно тогда стала работать медсестрой?**

– Нет. У нее было среднее медицинское образование. Когда мама – ее звали Елена Ильинична – вернулась из эвакуации с моей старшей сестрой, она не работала, потому что у нее были нелады со здоровьем. После ареста отца она превратилась в надомницу, как тогда говорили, – брала работу домой и так зарабатывала копейки на наш прокорм. Я, кстати, стал подарком ко дню рождения моей сестры. Мы с ней родились в один день с разницей в четырнадцать лет. Она – восьмого января 1932 года, а я – восьмого января 1946-го. Сестра окончила медицинский институт, выучилась на детского врача, и хотя ее, как ни странно, должны были оставить при институте в аспирантуре, она, как истинные советские патриоты, сказала: «Нет, мы всем курсом едем на целину». И на этом, как мне представляется, кончилась ее жизнь подающего надежды специалиста и началась жизнь Ионыча. Я однажды ездил туда, где она поселилась, – в маленький шахтерский городок Талды-Курган в Казахстане. Жили там в основном русские, казахов было мало. В Талды-Кургане сестра вышла замуж, родила двоих детей, ее муж довольно быстро спился и умер, и она вернулась. Вернее, она не могла вернуться в Ленинград, поселилась в пригороде. Долгие годы работала районным врачом сначала в одном пригороде, потом в другом. Так как папе после возвращения из лагеря тоже нельзя было жить в Ленинграде, он устроился в пригороде на маленькую мебельную фабрику простым мастером в обычный цех, там же родители построили хибарку.

– **Были ли сестра и родители духовно близкими вам людьми?**

– Семейные отношения у нас были очень теплые, но мы не были людьми, близкими по духу. Я часто приезжал к сестре в ленинградский пригород. Когда родители совсем состарились, она забрала их к себе, и они снимали комнатку рядом с ней. Она работала в больнице, и у нее было гораздо больше возможностей за ними ухаживать. А я был оболтусом, носился по литературным тусовкам. Это довольно серенькая часть жизни. Мне всегда было смертельно жаль родителей. Они не смирились с тем, что я не стал врачом или инженером.



Ефим Григорьевич Эткинд. Вермонт. США. 1980-е годы

– **Но вы говорили, что когда в семь лет вы стали писать стихи, родители поощряли это занятие.**

– Они поддерживали мои детские пристрастия, не противоречили и всячески поддерживали меня в тот тяжелый период, когда я ушел на свободу и практически ничего не зарабатывал, подкидывали свои пенсионные копейки, которые я старался не брать, но иногда приходилось.

– **Почему вы сменили фамилию Гурвич на Яснов?**

– А кто бы меня с фамилией Гурвич печатал?.. Яснов – одна из родственных фамилий. Почти все мои родственники погибли – на фронте, в эвакуации, в блокаду, в Бабьем Яру... До войны у родителей было очень много родственников, они из многодетных семей. Мама – из Казани, папа – из Минска. А встретились и поженились, по-моему, уже в Ленинграде.

– **Что для вас значит еврейство? В вашем кругу – семейном, дружеском, профессиональном – оно подчеркивалось или, наоборот, скрывалось? Изменилось ли что-то с годами?**

– Дошкольные годы моей жизни совпали с известными антисемитскими кампаниями и сталинским уничтожением евреев, к тому же эти кампании в свою очередь совпали с арестом моего отца. Поэтому «еврейство» в семье ощущалось, еще как! Не изгойство, но в чем-то постыдная непохожесть на окружающих. Насколько помню, я воспринимал все это крайне болезненно. Поэтому в детстве главным моим стремлением в этом смысле – если формулировать «по-взрослому» – было стремление к ассимиляции. Постепенно оно сменялось другим чувством – отличия, но уже не постыдного, а волея-неволей обозначенного, чувством причастности, «своих» – плеча и локтя. Это был долгий процесс самоидентификации. В 1960–1970-х годах еврейство безусловно подчеркивалось, и в семейном, и в дружеском кругу, – с горечью и иронией. Подчеркивалось, поскольку на каждом шагу мы встречались с мелкими или значительными фактами бытового, профессионального или государственного антисемитизма. Разговоры на эту тему велись везде, и в том числе в кругах «юношеской творческой интеллигенции», к которым я принадлежал с отроческих пор. Собственно, они не утихают по сей день, хотя давно превратились скорее в маркировку, нежели в слепок реальности. Но эта реальность – не только наша «внутренняя», но и общемировая – такова, что спокойствия, судя по всему, не предвидится. Хотя бы потому, что вот и сейчас приходится об этом говорить.

– **Что сейчас на вашем рабочем столе?**

– Что касается переводов, то я недавно сдал в издательство «Текст» книгу стихов Жана Кокто. Предложил им Кокто, они откликнулись. Наше сотрудничество началось с книги Рембо, потом Аполлинер, Превьер, Кокто. Давно готовая антология бельгийских детских поэтов лежит еще в одном издательстве, никак оно ее не выпустит. Есть французские проекты с детскими издательствами, с журналом «Иностранная литература». В сентябре 2009 года умер Андрей Дмитриевич Михайлов, который долгие годы возглавлял «Литературные памятники». Мы с ним устно договорились о нескольких книгах, которые я хотел бы подготовить для «Литпамятников». Не знаю теперь, как все сложится. Со стихами все происходит спонтанно. Появляется издатель: «Хотим выпустить вашу книжку». «Ну, давайте соберем», – отвечаю я.

– **А вы где-то работаете постоянно, или живете как свободный художник?**

– После школы я пошел на филфак. На дневное отделение не поступил, только на вечернее.

– **И пошли работать грузчиком.**

– Совершенно верно. В техническое издательство, поскольку надо было работать по профилю филфака. За пять лет учебы прошел классический американский путь от младшего грузчика до старшего редактора, минуя много ступеней. Я, кстати, первым в Ленинградском университете защищал диплом по творчеству Хлебникова: «Революционное творчество Велимира Хлебникова» – революционным творчеством там не пахло. Писал работу у замечательного Дмитрия Евгеньевича Максимова, ходил на его семинар. Получив диплом, понял, что передо мной два пути: дальше идти по издательской лестнице либо в никуда. Мне была неинтересна редакторско-менеджерская, как сейчас бы сказали, работа. Я ушел на свободу, это был сентябрь 1971 года. С той поры ни одного дня не служил и очень этим горжусь. В годы полного нищенства меня спасали переводы с подстрочников. А потом все постепенно раскрутилось, и сейчас мои «лапы» – перевод, взрослые и детские стихи, выступления, поездки, гранты, которые иногда выдаются на проекты, – дают возможность вполне нормально существовать. Булка есть, может, не всегда бывает масло, но бутербродик всегда. Сейчас дело уже не в деньгах, а в достоинстве писателя, литератора, чего у нас так мало. Хорошо, если я своим примером скажу: «Писатель может заниматься делом и достойно пройти сквозь разные обстоятельства». Насчет достоинства переводчика. Несколько лет назад мы с Ольгой Дробот, ныне заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература», и Александром Ливергантом, председателем гильдии «Мастера литературного перевода» и главным редактором того же журнала, поехали в Норвегию. Мы хотели перенести на нашу почву опыт работы их союзов переводчиков, то, что эти союзы делают по охране авторских прав и по социальной защите переводчиков. У нас ничего подобного не получается. В результате наша гильдия – это вполне работающая «тусовка», мы устраиваем литературные вечера, присуждаем премии, но тем, ради чего все затевалось, – по крайней мере, защитой авторских прав – пока и не пахнет. Увы, это наша действительность. Правда, норвежцы, у которых несколько союзов переводчиков, говорили, что шли к этому лет двадцать пять.

– **Вы живете одним днем, не загадываете на завтра?**

– Живу сегодняшней ситуацией, но делаю проекты на два-три года вперед. Для меня самое главное началось в 1990-х, когда я мог себе и издателям сказать: «Я делаю авторские проекты. Если хочу выпустить книжку Аполлинера или своих стихов, то веду ее с начала до конца. Не смейте вмешиваться». Сам или с помощью издателя нахожу художника. В детских книжках художника мне диктуют издатели. Для меня важно ощущение самодостаточности в том, чем я занимаюсь. А главное – надо любить то, что делаешь.



Эльга Львовна Линецкая на вечере новых переводов. Дом писателя им. В.В. Маяковского.
Ленинград. 1976 год

– **Из тех стран, где вы были, вы где-то смогли бы жить? Или только в родном Петербурге?**

– Только в Петербурге или Москве. Два-три месяца в году мог бы в Европе, там замечательно работается. Только что вернулся из Германии, мне там необыкновенно понравилось – предельная доброжелательность к человеку культуры, что очень важно. Но сразу окунаешься в проблему других ценностей и ситуаций.

– **Вы себя чувствуете петербуржцем?**

– Да, я очень люблю свой город, понимаю, как он устроен. Сколько я ни приезжаю в Москву, не понимаю ни ее географического, ни социального устройства, как люди могут жить с этими ценами... Но это социальные дела, а не культурные. Моя жена, театровед, говорит: «Возьми меня в Москву. Хочу наконец-то посмотреть живые спектакли, о которых столько слышала». На прошлой книжной ярмарке Нон-фикшн побежала общаться к Дмитрию Крымову... По большому счету разницы между нашими городами нет.

– **Вы – петербуржец, признанный Москвой, получивший здесь много премий. Вы антипример противостояния двух столиц?**

– Действительно, в советские времена были московская и ленинградская школы поэзии, перевода. В Москве было легче издаться, там больше платили, а Ленинграду отпадали остатки или то – что очень важно, – с чем в переводе москвичи не хотели связываться, – виртуозная поэзия, трудная проза. Поэтому в Ленинграде выработалась высокая школа перевода, но она никак не противоречит московской. Это разделение было связано с социальным, а не культурным бытованием. Конечно, у этих городов разный дух, тусовки, но школа одна, одни задачи во всех областях поэзии.

ТЕРМИН «К»

*Íà ÷àòúðà àĩĩ ðĩĩ ò àà: àò: ÎëãÀðĩĩĩ, Êãĩëã Êàöëñ Áëã à
Íàòðĩããã, Îããëã Òëĩòáĩãã*

Áãñäó ääääò Àôàí àññé Ì àí ääîä

Òàdì èí «éííòdèéùòòdà» ííyàééíy á çàíàáííé èèòàdàòòdà á 1960-ò ãããã. Áíàdàíà áã èmííèùçíàé àí àdèéáííèéé mòèíéíá Òàíáíð òíí ðíçáé, íííúòààéééíy íáúàéíéòú ðàçèé-íúá àòóíáíúá àáííèy, íáíðààéáííúá íðíòèá ãmííàíòàòpùáé éóéùòòdú, èàé íàééé íòíííèòàéùí í òáéííòíúé òáííí áí. Éííòdèéùòòdà àéá àááí í íá áíííðéíèí ààòíy éóéùòòðíéíáí è é éóéùòòðééíííòáí è èàé íàdèòàdèéíáy ÷àíòú éóéùòòdú, áíéáá òíá, íííáá èç íéò ííéíííú íí-èòàòú ÷òí ííà ííçáíéyàò ðàíííçíààòú í ààáíéçí ú íáííáéáíèy íàí íé éóéùòòdú. Ííyòí òàí, óíéã. Á èàéíáá ðíèù éííòdèéùòòdú á ðíííéé? Çàéðáíééàíí èé ííà á íáçáé ñòðáíá íííéá àòóíúò àòóíáíúò èíéáíéé 1990-ò ãáíá èéé éíòáííéáíúé íàòèíé ííáíò òáííííòíúò íðéáíòàòéé, é íí-àíòúòp áéy ÷éííáíééíá Í éíéóéùòà, óàéíííí íðéíííòáííáèòú? É òáíáíú á ðíííéé ðíáááíéáí ííáíé éóéùòòdú çáíéí àòòíy èíéèp-÷èòàéùí í íáàòò? Á í íáçáò, í ú áíí-òàéé íàòíáéí íy á íðíòáííí éóéùòòðííá ðàçí àéááíéy? Í íáéí èé òíáíá íí-èòàòú ííáòp ðíííéí-ààáéíéòp éóéùòòðéííòdèéùòòdú í òáííí áííí?

«СДЕЛАЙ САМ»

ÎëãÄöíîí, èàíäèääò ôèëîîîîîèèõ íàóé



– Как возникло понятие «контркультура»? Насколько оно применимо к современной отечественной культуре, не дезориентирует ли нашего обывателя?

– Обычно принято связывать истоки контркультуры с появлением после второй мировой войны, в 1950-х годах, так называемой «бунтующей молодежи». Думаю, что локализовать во времени это можно даже не войной, а концом эпохи маккартизма в Америке. Когда в голливудском кино появляются такие звезды, как Марлон Брандо («Дикарь», 1953) или Джеймс Дин («Бунтарь без причины», 1955), это значит, что контркультура уже заявляет о себе не локально, но выходит к массовой аудитории. Пусть даже и в слегка приглаженном виде. Эта связь контркультуры и массовой культуры не вполне очевидна, но очень важна. Я полагаю, что контркультура может заявить о себе

тогда и только тогда, когда массовая культура уже существует. Если мы осознаем это, то можем увидеть истоки контркультуры не столько в определенном историческом моменте, о котором я сказал, но в ситуации более общей, которую можно назвать, вслед за Вальтером Бенямином, «возникновением публики» или превращением публики в субъект восприятия. Это происходит в середине XIX века. Тогда появляются «проклятые поэты» и Бодлер во Франции, движение снобов в Англии, наконец, дендизм – часть этого процесса. Все это то, что позже будет лежать в основе контркультурных течений, критичных не культуре вообще, а именно культуре капитализма, связанной непосредственно с экономикой присвоения, с частной собственностью. Вот почему советский андеграунд по сути контркультурой не являлся. Это было протестное, но не контркультурное явление.

– **Как сочетаются в общекультурном потоке такие понятия, как «контркультура» и «субкультура», объединяются ли они?**

– Мне как раз кажется, что контркультура существует в том очень локальном временном зазоре, когда ощущение неудовлетворенности ценностями господствующей культуры уже висит в воздухе, а никакого общественного действия пока еще нет. В тот момент, когда возникают группировки рокеров, битников, хиппи или скинхедов, – это уже конец контркультуры. Это уже не контркультура, а субкультуры. Пусть и протестные. Их представители могут высказывать радикальные суждения, они могут жить, демонстрируя презрение к общественным нормам, однако сама организация людей в определенные социальные группы свидетельствует об определенной зависимости таких коллективов от господствующей культуры, с которой они вступают в конфронтацию. Конфронтация незаметно становится культурной позой и достаточно быстро принимается официозом в виде «оригинальности» или «эпатажа».

– **Во времена советской власти евреи в равной степени «отметились» как в доминирующей культуре, так и в контркультуре. Зато сегодня выкристаллизовался третий тип – еврей, возрождающий русское еврейство. «Контркультурно» ли такое явление?**

– Еще раз подчеркну, что говорить о контркультуре в советское время надо крайне осторожно. Контркультура не возникает из-за запрещения или исключения. Эффект контркультуры именно в том, что господствующая культура на словах готова принять все. Она толерантна. Контркультура испытывает границы толерантности. И если сейчас действительно идет «возрождение русского еврейства», то это типично культурное явление, а может быть, даже и идеологическое или политическое. Я в такие «возрождения» не особенно верю.

– **То, что у нас сегодня подлинная контркультура находится в коматозном состоянии, не связано ли с тем обстоятельством, что официальная культура до некоторой степени и есть контркультура?**

– Как можно официальную культуру называть контркультурой? Сама ее официальность это запрещает. Если же вы хотите сказать, что официальная культура некультурна, разрушительна в отношении традиции, то это другой вопрос. Он к проблеме контркультуры отношения не имеет. Ну и словосочетание «подлинная контркультура» невозможно. «Подлинность» – та культурная ценность, которая подвергается контркультурой критике. Для контркультуры важнее действие и коммуникация, нежели истина. «Do It Yourself» – показательное название одного из контркультурных движений. Контркультура – часть политического горизонта нашего

существования. Когда в политике апатия, трудно ждать, что будет «расцвет» контркультур.

МЫ УГОДИЛИ В НОЛЬ

Êáííëä Êàöëñ òëëíëĩã ïðíóáññð Ñ:ãáíí-íãó:ííã öáí òðà áëáëäëñðëëë è èóüäëëë ÐÃÃÓ



— Сегодня наблюдается культурное размежевание, скажем, между еврейской культурой и европейской? Осознан ли предшествующий кризис?

— Еврейская культура была когда-то противопоставлена окружающей ее языческой, а сегодня мы знаем, что одной из причин отсутствия конституции в Евросоюзе является отказ этой структуры признать свою принадлежность к иудео-христианской цивилизации. Кто здесь сейчас контркультурен? Даже когда теряется и не может найти себя в новом качестве какая-то культура, в частности, как сейчас единоевропейская, и превращается в постмодернистскую бесформенность типа «евро»-валюты, то, прежде всего, она избавляется как раз от этого иудеохристианства. Поэтому наиболее модным в Европе стал антисемитизм в форме антиизраилизма, с одной стороны, а с другой — в этой контркультуре понятию «еврей» придается значение некоего симулякра. То есть для них еврей — это сконструированное понятие. Тем самым травма уничтожения европейцами евреев контркультурна по отношению к христианской культуре и замещается пустыми экспериментами над терминами. Христианская культура борется сама с собой. И потому никакого разделения на культуру и контркультуру в этой ситуации быть не может. Здесь мы угодили в какой-то ноль. Но в математике и нуля-то не бывает, а все, что находится вокруг него, называется неким «идеалом». Один из них — мир без евреев, другой — евреи как часть человечества, третий — мир на Ближнем Востоке. Выход из этого сумасшествия будет найден только тогда, когда еврей окажется евреем, Европа — иудео-христианской, Восток — мусульманским или христиано-мусульманским. Вот тогда-то новая культура выйдет из той бессмыслицы, в которую загнал ее постмодернизм. А пока мы имеем дело с антисемитизмом без евреев.

— Можно ли отнести возрождающуюся русско-еврейскую культуру к контркультуре? Выламывается ли она за отведенные ей рамки субкультуры?

— Вряд ли кто-нибудь осмелится сегодня отрицать возрождение интереса к изучению русско-еврейской культуры. Образ еврея как пьющего христианскую кровь уголовника или мистика, или, например, захватчика мира заменился новым образом, не

противоречащим новой конструкции, которую тот же Жаботинский назвал бы асемитизмом. Но сегодня предпочитают этой теме не касаться, работать с какими-то маловразумительными конструкциями. Это самообман. Связан он с тем, что данные конструкции могут работать, когда зарождается новая нация, придумывающая себе свою культуру, жаждущая получить свое государство, а затем и голос в ООН. Подобная шарлатанская конструкция неприменима к евреям по одной простой причине: евреи сразу возникли как культура после дарования Торы. И образован Израиль сразу же по санкции ООН. И если еврей считает, что он свидетель или наследник свидетелей, получивших Тору на горе Синай, то в этом случае он автоматически оказывается контркультурен по отношению к тем, кто называет себя Новым Израилем. Это – традиционный еврей. А простой еврей – в расистских вариантах тайный носитель того зла, которое изначально есть в еврее. Крестись не крестись, открещивайся от питья крови, не открещивайся, пиши не пиши «Протоколы сионских мудрецов», говори, что ты их не знаешь, – все одно. Еврей оказывается в той ситуации, когда и натурального еврея нет, и еврейскую традицию никто не воспринимает. Тогда следует признать, что не существует и русско-еврейской культуры, о которой ты говоришь и которая якобы «выламывается за отведенные ей рамки».

– **Нет ли у тебя ощущения, что контркультура – уже исторический факт, архаика?**

– Авангард – любой – является контркультурой по отношению к уже признанному искусству. Произведения любого направления искусства являются контркультурой по отношению к масскульту, но при этом сами они быстро становятся культурой. Сегодня речь идет о включении, наконец, еврейского компонента культуры на не еврейских языках в среду той самой европейской культуры. Это сегодня важно. И видимо, это единственный вариант, дающий возможность хоть как-то выйти за пределы взгляда «все еврейское контркультурно». Не секрет, что сейчас готовы сделать все, чтобы еврейская культура ни в коем случае не была контркультурой: «Неудобно все-таки после Холокоста». Результат: на Франкфуртской ярмарке присуждают премию мира писателю Давиду Гроссману. Замечательно! Только вот почему писателю на писательской ярмарке вручают Премию мира, другие были забыты? Большинство израильских премий кинофестиваля в Каннах так или иначе связаны с любовью еврея к палестинке, увиденной через прицел танка (!). Замечательная история, а другие имеются? А ты еще спрашиваешь, не стала ли архаикой контркультура. Для евреев – несомненно, а вот для «евро» нет: именно потому и случился весь этот бред с турецкой «флотиией мира».

– **Наша сегодняшняя официальная культура устояла благодаря тому, что сумела вобрать в себя элементы контркультурных тенденций эпохи социализма?**

– Именно так всегда и бывает. Это процесс ассимиляции. Если религия или какое-либо учение просуществовали пятьсот или тысячу лет, значит, они задели очень важные струны в человеческой природе. Если культура, например, авангарда просуществовала с середины XIX века по сегодняшний день, значит, она жизнеспособна. Именно эта жизнеспособность обеспечивает бесперебойно процесс ассимиляции и советской (анти)культуры.

А ВЫ ГОВОРите «КОНТКУЛЬТУРА»...

*Ἀεία Ἰαὸδῖαῖαῖ, εἰς αἰῶν ὁ ἐὶν ὁπῶν ἰαῖ, ἀαῖ ἡ δαῖα ὁ ἰδ
αῖ ὁ ἰαῖ «Νεῖ εἰ αἰῖ»*



— Почвенники-антисемиты, демонизирующие своего основного противника — еврея, чтобы укрепиться в собственной идентичности, контркультурны ли по отношению к базовой культуре, если и та подозревается в антисемитизме?

— Я бы не стала так легко пользоваться термином «контркультура» применительно к нашей ситуации и особенно в свете задаваемого вами вопроса. Контркультура ассоциируется с левым движением в Америке 1960-х годов, с хиппи, с борьбой против войны во Вьетнаме, с Гербертом Маркузе. Полагаю, что вы скорее имеете в виду некое субкультурное явление. Но даже и в этом случае я не смогла бы причислить «почвенников» к таковому. Думаю, они выражают определенную идеологию, а «демонизация» противника — сознательно осуществляемый прием, причем весьма распространенный. Как эти почвенники связаны с основной культурой, если и та подспудно разделяет те же ценности? По-видимому, они являются ее концентрированным выражением и могут использоваться как case study для изучения позиции молчаливого большинства.

— Какова сегодня роль Интернета в контркультуре? Ведь практически девяносто процентов сетевых проектов если не с претензией на радикализм, то явно с выходом за установленные нормы.

— Очевидно, что роль Интернета сегодня велика, в первую очередь как выразителя протестных настроений. Я сошлюсь не столько на критические и/или разоблачительные тексты, сколько на видеоматериалы, появляющиеся на You Tube'e. В нашем контексте их значение переоценить очень трудно. Это, пожалуй, тот единственный ресурс Интернета, который вызывает мгновенную реакцию властей. И это неудивительно: количество просмотров возрастает с каждым днем в геометрической прогрессии. Если люди хотят привлечь внимание к несправедливости в обществе, они записывают обращение, например к президенту, и размещают его в Интернете. И это работает!

— Авангардизм принципиально отвергает постановку проблемы качества применительно к произведению и в плане традиционного оперирования таковым понятием, а как обстоит дело с контркультурой, она тоже представляется явлением «внекачественным»?

— Авангард озабочен не столько проблемой качества, сколько конструированием новой реальности, а это связано с выходом за пределы предметного изображения. Если мы говорим, конечно, про исторический авангард. Для авангарда у произведения всегда есть дополнительное измерение — это то, что не подлежит немедленному воплощению, но выражает желание или мечту, например представление о новой системе отношений человека со своим окружением. Это также то, что заставляет заново переживать произведение как приостановку времени в самом настоящем, то, что имеет отношение к феноменологии авангардной практики, если хотите. А вот как взаимодействует контркультура с изображением и временем — это отдельный вопрос. Мне кажется, контркультура породила свой собственный образный язык, и сегодня мы сталкиваемся в основном с его обломками. С другой стороны, в контркультурных текстах по-прежнему сохраняется близкий авангардному утопический потенциал.

— Можно сказать, что у нас существует контркультурное творчество, а контркультурного искусства пока еще нет?

— На мой взгляд, проблема в том, что у нас не существует политического, социального искусства. Местное искусство вступило в интимные отношения с рынком, а это, как известно, чревато полной его трансформацией. Возьмите таких гениев рынка, как Кунс или Хёрст. Глубокое разочарование вызывает российский артхаус. Это кино, полностью оторванное от социальной почвы и проблем, переживаемых людьми сегодня. Если в нем и фигурирует простой человек, то в образе жалкого фрика. Но и это связано с рынком, с одержимостью международными наградами, которые давно не отражают художественных достоинств кинолент. Главное, впрочем, — это занятие гражданской позиции, попытка художника вмешаться в ткань социальных отношений, чтобы катализировать их, оживить. Таких волонтеров у нас практически нет. А вы говорите «контркультура»...

ЧЕЛОВЕК «BOBO»

Ἰ ἀὰεῖα ὀεῖνῶαῖῖα, ὀεεῖῖεῖῖῖ ἰδῖῖῖῖῖῖ ἑὰῖῖῖῖῖ ἑῖῖῖῖῖ ὀεεῖῖῖῖῖ
BOB



— И контркультура, и постмодернизм — бунт против ортодоксии, культуры, искусства. Но бунты не бывают вечными и имеют странное свойство превращаться в бум, тот — в бизнес, бизнес — в скуку. Что за горизонтом? Возвращение к «норме», «культуре отцов»?

– Для меня контркультура в узком понимании (1960–1970-е годы) и постмодернизм – один феномен, проявленный на разных уровнях. В основе лежит фундаментальная критика модерности, попытка взорвать ее изнутри по всем основаниям. Но отсюда и ограниченность этих явлений, и их легкая встраиваемость в модерность в качестве прирученного иного. Сегодня и постмодерн, и контркультура ушли в стиль, стали общим местом, превратились в товар. Появился даже новый тип человека, которого социолог Дэвид Брукс назвал «bobo» – гибридом богемы и буржуазии. Но я не думаю, что единственным путем является возвращение к норме или традиции. Во-первых, постмодернизм эту норму окончательно уничтожил. Во-вторых, всегда был и останется контримпульс в культуре, в интеллектуальном пространстве и особенно в искусстве. Во многих современных художниках, интеллектуалах, писателях достаточно сильно осознание опасности инволюции от бунта к скуке и коммерции и сопротивление такому положению вещей.

– Было только две ортодоксии, выдержавшие испытания в истории цивилизации Запада, и обе они начинались как контркультуры: христианство и светский, рационалистический гуманизм. Не кажется ли вам, что крах секулярного гуманизма приведет к третьей, исламской, ортодоксии?

– Надеюсь, что это не так. И не потому, что я хочу защитить исламскую ортодоксию (она не менее неприглядна, чем западная), а потому, что объективно ислам, как вытолкнутый из модерности изгой, находится и сегодня в неравных, асимметричных отношениях с Западом. Кроме того, и христианство, и гуманизм, и капитализм, который также крайне важен для оформления этой ортодоксальности мышления, и глобализация с ее телеологией рынка и потребления – разные лица модерности. Она постоянно генерирует консервативные или быстро становящиеся такими утопии. Это и христианство, и либерализм, и социализм. В основе этих ортодоксий лежит безальтернативность и стремление осчастливить всех, часто против воли, иначе говоря, риторика спасения. Вот эту самую логику модерности, я надеюсь, и отменит XXI век. Ростки представления о мире, в котором возможно паритетное сосуществование множества миров, видны сегодня в самых разных альтерглобальных социальных движениях.

– В своей книге «Постсоветская литература и эстетика транскультурации» вы пишете, что в расширительном толковании транскультурация – явление, стоящее в одном ряду с постмодерном и отвечающее модели ризомы Делеза и Гаттари. Значит, в ряде случаев проявляет себя и как явление контркультурное. Далее вы пишете: «Транскультурация практически не попадает в зону интересов отечественных исследователей». Почему?

– Транскультурация может быть осмыслена как контркультурное явление, потому что ставит под сомнение общепринятую направленность культурных влияний и векторов (от доминирующей к подавленной). Из отечественных исследователей лишь латиноамериканисты знают об этой модели (транскультурацию в противовес аккультурации впервые описал кубинский антрополог Ортис, а затем «присвоил» Бронислав Малиновский) да уже давно не совсем отечественный культуролог Михаил Эпштейн, воспринимающий транскультуру как преодоление культуры, освобождение от нее. Намечая связь транскультурации с постмодерном, я имела в виду несколько иное: децентрацию, деиерархизацию, многонаправленность векторов приложения, некую через-культурность, одновременное паритетное мерцание и диалог множества миров, трикстерность бытия и сознания. Все это очень характерно для постсоветского

пространства, в том числе и художественного (литературного, театрального, кинематографического), но пока ждет своего осмысления.

– **Не связано ли нынешнее возрождение русско-еврейской культуры на всем постсоветском пространстве с тем, что даже во времена погромов евреи не укладывались в схему «колонизатор и колонизируемый»?**

– Не укладывались и не могли, потому что были и остаются парадигматическим диаспорным народом, а это уже совсем другая, не имперско-колониальная история. Ее можно считать предысторией глобализации, со своей особой чувствительностью и субъектностью. Кроме того, сыграла свою роль растущая на протяжении модерности «белизна» евреев. Здесь хорошо видна особая двуликость России, ее неуверенный, подчиненный по отношению к Западу имперский статус. В отличие от европейского антисемитизма, в определенные периоды основанного на абсолютном обынаковлении евреев и расизме, в России это обынаковление все же не было абсолютным (несмотря на погромы, черту оседлости и так далее). Евреи не относились к Западу целиком, но в цивилизаторской таксономии царских идеологов стояли выше других «меньшинств». Согласно закону об инородцах, восточные инородцы (мусульмане) и евреи обладали разными правами, поскольку принадлежность к евреям оценивалась религиозно, а не этнически. Категория выкрестов как бы делала еврея русским, полностью ассимилировала. Восточный же инородец определялся по этно-расовым признакам и степени цивилизованности, а религия в этом случае игнорировалась, то есть ему было бесполезно принимать православие, он все равно остался бы не ассимилируемым небелым иным в глазах закона. В советской империи (опять-таки несмотря на явный антисемитизм) евреи, как мне кажется, дрейфуют в сторону роли интеллектуальной и художественной элиты. И упомянутая вами русско-еврейская культура, наверное, во многом и была неким космополитическим «клеем» позднесоветского общества, его наиболее глобализированной и заточенной на мировую культуру стратой. Что и позволило ей выплеснуться в постсоветские эпоху и пространство, действительно стирая границы и проблематизируя идентичности. Была давняя привычка к такому существованию и творчеству, которая теперь просто счастливо совпала с логикой времени.

Подводя итоги этой беседе, отмечу главное: наши Луначарские могут снять пенсне и так вздремнуть: контркультурное похищение Джоконды-Европы в России отложено. Мы поставили на Джека, деньги, любовь и страсть... Русско-еврейскую культуру ставка эта вряд ли устраивает, но и контркультурным феноменом ее пока не назовешь: она никому не противостоит и причалит к «культуре отцов». Возвращение это, похоже, действительно совпало с «логикой времени».

ИЗ НАШЕЙ АВГУСТОВСКОЙ ПОЧТЫ

*Âû ÷èòàëè? Íàðàðàëè íà íðíòèáðà-èà Bèíàà Àëðì èèíà. Áàííàò àííàò
Àðàíàíèé Í àì àííà // 2010, ¹ 7*

Реакция. Г-н Мамедов, Вы и четыре Ваших собеседника никогда не «перешьете» историю революции, в которой ровным счетом не было ничего противоречивого. Влюбленные в образ полуразведчика-полуавантюриста-полупоэта-полуискателя Шамбалы, вы втягиваете людей в дискуссию по вопросам, на которые уже давно ответили или ответить нельзя. Вы тянете нас назад. Зачем? По незнакомству с историей? Троцкий, Радек, Блюмкин... И с этими именами вы собираетесь переписывать историю революции?

Lara, Èí òàðíàò

*Âû ÷èòàëè? Í àòàíé Áàíàííèýíèèé. Áòì àíèòàðíàý ííì íùù ñ ííæíì á
ðéèò // 2010, ¹ 7*

Реакция. Я много лет прожила в многонациональном Дагестане, где было немало евреев, большая часть которых уже уехала, и долгие годы я считала, что евреи – это единственная нация на земле, у которой есть и домострой, и дружба, и только у них одних можно научиться жить в соответствии с религиозными предписаниями. И вот теперь я уже неделю не могу прийти в себя: что с этим народом стало?! Как могло случиться такое, на такой земле, у такого народа?!

Çàì òèðà, Èí òàðíàò

Âû ÷èòàëè? Àðííí Ðàíàçíà Áàíàëèííòòì // 2010, ¹ 6

Реакция. Положим, да, об этом поэте будут говорить и через пятьдесят, и через сто лет, и неожиданный прием автора «актуальной» статьи в данном случае закономерен и уместен. Но с Пушкиным и Бродским поэта Михаила Генделева, при всей его чрезвычайной одаренности, сравнивать не будут никогда. Как бы сильно того ни хотелось генделевскому «высокому и щедрому» окружению. Можно иметь деньги, власть, включать на полные мощности механизмы пиара, однако обыграть Время и Литературу ноздревскими способами вряд ли удастся. И не стоит по этому поводу сильно горевать. Во всяком случае, сам поэт Михаил Генделев по такому случаю изобрел бы что-нибудь этакое, веселое.

Í àéý Áíèýíèéíà, Í àòàíéý

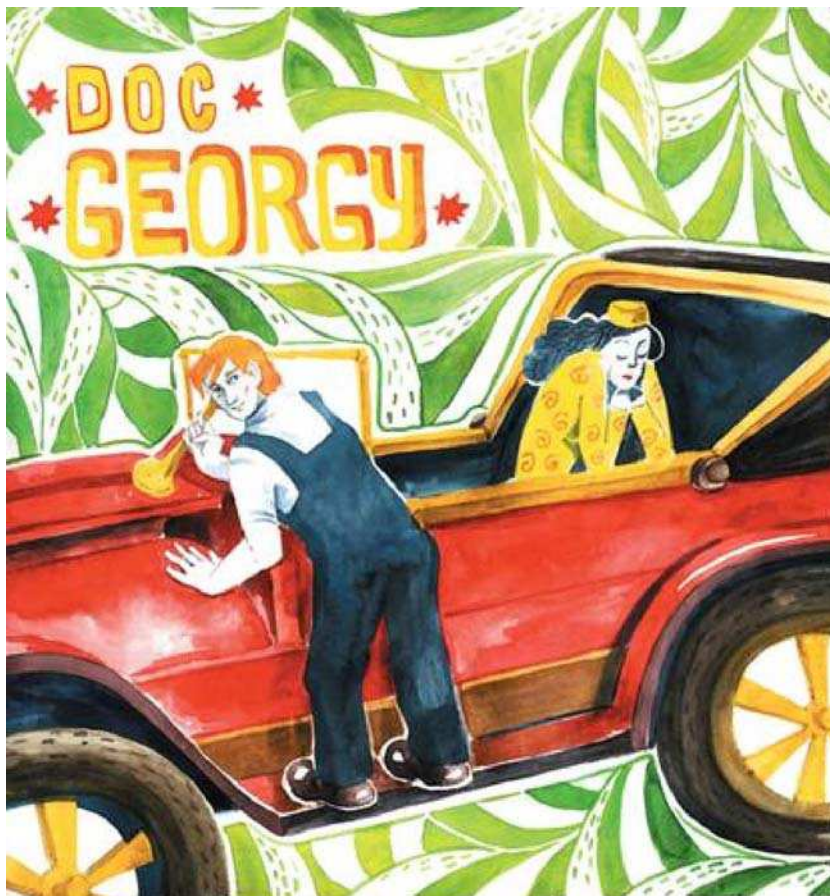
Âû ÷èòàëè? Í àòàíé Áàíàííèýíèèé. Èç íàòàé íàùàé íàì ýòè // 2010, ¹ 4

Реакция. Нет нужды говорить, насколько злободневной и актуальной темы Вы коснулись, такой, надо полагать, она и останется на годы. Недавно в программе «Время», кажется в связи с восстанием в Варшавском гетто, выступал один из представителей музея «Яд ва-Шем». Говорил в целом дежурные, мало запоминающиеся слова: подобное не должно повториться нигде и никогда или что-то в этом роде. И сказанное не отложилось бы в памяти, если бы служащий музея вдруг в конце не добавил: «Так прислушайтесь же к выжившим». О, как тронуло тогда то, что было в его словах свыше программного. Я почувствовала себя одновременно той самой выжившей и той, что должна прислушаться к самой себе. То, что Ваша мама выжила несмотря ни на что, выжила и воспитала журналиста такого ранга, – случай уникальный, можно сказать, знак судьбы. Употребите же весь свой огромный талант на то, чтобы Ваши слова никогда не звучали дежурно. «Не должно подобное повториться»! Кто бы спорил. Разве не о том пишут авторы того же номера: Адин Штейнзальц, «Об исправлении мира»; составители материала «Сознание, определяющее бытие» Йосеф Гинзбург и Герман Брановер; косвенно Берл Лазар, «Машиах нужен сейчас», считая, что у нас в России ситуация вполне стабильная и евреям живется хорошо, и даже очень. И конечно, Вы сами – вскрывая весь тот негатив, который, к сожалению, пока что имеет место быть у нас в связи с фашизмом. Вы сравниваете наше положение с положением в других странах мира, в которых трудно представить себе нечто подобное. Но правомерно ли такое сравнение? Мне кажется, и Вы недооцениваете ту огромную, постоянную работу по профилактике омрачающих жизнь явлений, которая проводится во главе с нашим правительством.

А. Асир еê, Êðàññ ããàñê-1

ДОКТОР ДЖОРДЖИ

Ḥîḏîyê-Ḥîḏîyê Ḥîḏîyê



1.

Откуда взялись у Джорджи Веврика эти рыжие, цвета меди, волосы и эта долговязость, никто из домашних не понимал. И его мать, сутулая женщина, не вылезавшая из готовки и уборки, и его отец, возившийся со своим металлоломом с утра до поздней ночи, никогда не были рыжими, да и роста были не выше среднего.

Точно так же не понимали этого и женщины, которые постоянно заглядывали в сторку[\[1\]](#) мистера Веврика, – подвал, выходивший прямо на улицу, в самом сердце Ист-Сайда[\[2\]](#). Сколько бы раз они ни наведывались к торговавшему металлоломом мистеру Веврику, чтобы починить детскую коляску, купить старый бейсикл[\[3\]](#) для мальчика или отыскать пару роликов в куче хлама, они всегда таращились на рыжеволосого долговязого Джорджи.

– Мистер Веврик, – с ухмылкой спрашивали любопытные женщины, – откуда это к вам затесался рыжий? А, мистер Веврик?..

Мистер Веврик на мгновение переставал стучать молотком по железу. Он вытирал грязной от ржавчины рукой пыль с лица и указывал рукояткой молотка в угол сторки, где его жена копошилась над примусом и кастрюлями.

– Может, это рыжие дед или бабка моей жены оставили парню наследство? В моей родне никогда не было рыжих...

– А я тебе говорю, что Джорджи мог пойти только в твою родню, – из угла перебивала своего мужа сутулая женщина. – Недаром у тебя такая фамилия. Твоих предков прозвали Вевриками, потому что они наверняка были рыжими, как белки...[4]

Самого Джорджи, из-за рыжих волос которого у родителей шла война, совершенно не волновало, откуда у него эти волосы цвета меди – со стороны отца или со стороны матери. Он сидел, улыбаясь, на груди металлолома, среди колес, гаек, никелированных деталей, пружин, всевозможных моторов и настенных часов, которыми была завалена отцовская сторка, с большим аппетитом ел яблоко, вгрызаясь в него всеми своими белыми здоровыми зубами, сверкавшими между красивыми, по-девичьи красными губами, и всякий раз резко взмахивал головой, когда длинные патлы медных волос падали ему на глаза цвета морской волны.

Джорджи вообще не заботила его рыжая масть. Хоть он и был еще мальчиком, едва достигшим бар мицвы, соседские девочки-ровесницы, и еврейки, и итальянки, уже провожали его горящими глазами и даже посылали ему измятые любовные записочки, приглашая пойти в муви[5], где их никто не увидит. Джорджи записочки выбрасывал, а девочек прогонял. Он в свои тринадцать был крупным, высоким, с длинными костлявыми руками, которые торчали из коротких рукавов его зеленого свитера. И он не водился с глупыми девчонками, которые все время хихикали, сами не зная отчего. Сколько бы они ни окликали его из укромных уголков: «Джорджи, Джорджи!» – он их отшивал.

– Shut up, foolish girls![6] – затыкал он их, передразнивая тонкие, писклявые голоса.

– Red Georgy, red Georgy![7] – кричали они ему вслед и показывали язык.

Джорджи не отвечал им. Еще не хватало бегать за глупыми гусынями. Он гордо уходил от них. Но все-таки ему льстило, что девочки не сводят с него глаз. А то, что они кричат ему вслед «рыжий», так это, ясное дело, не потому, что его волосы им не нравятся. Наоборот, волосы его очень нравились девочкам. В восторге они дергали его за пряди и говорили, что будут краситься в такой же рыжий цвет, когда подрастут.

Мальчишки на улице тоже попробовали кричать ему вслед «red Georgy», но Джорджи наподдал им за это так, что они с тех пор не отваживались и слова сказать в его адрес. Не зря же он был самым высоким и самым сильным на всей улице. Он легко перетаскивал тяжеленные железяки, когда отец приносил в сторку очередную порцию металлолома.

Высокий, стройный как хворостинка, с не по-еврейски нахально вздернутым носом, с ослепительным рядом зубов и красными девичьими губами, всегда в маловатом зеленом свитере с вышитым белыми нитками на спине и на груди именем «Джорджи», он совсем не походил на сына литваков[8] из Ист-Сайда. Его принимали за ирландца. Было что-то ирландское и в его рыжеватой коже, и в открытом взгляде зеленых глаз,

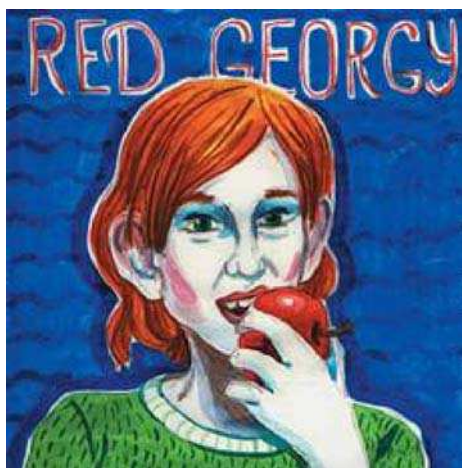
полном презрения и бесстрашия, но больше всего – в зубах, крупных, сильных и хищных, которые всегда что-нибудь жевали. Зачастую во время уличных драк между мальчишками ирландцы, которых было много в округе, принимали Джорджи за своего и звали на подмогу против еврейских или итальянских бойз[9], которые вели с ними войну.

– Georgy! – звали они его по имени, вышитому на его свитере. – Come on, Georgy, smash 'em! Die hymies and the wops![10]

Отец Джорджи, измученный работой, вечно возящийся с металлоломом, возлагал большие надежды на своего Джорджи. Как большинство родителей на его улице, он хотел видеть сына врачом.

Напротив его подвальной сторки стоял выкрашенный в красный цвет двухэтажный дом с плотными гардинами на окнах. На нескольких ступеньках, которые вели к зеленой двери, постоянно рядом сидели женщины, в основном молодые и оживленные. Они часами ждали, пока их пригласят войти в зеленую дверь, к доктору Мирону Яффе. Разное толковали на тесной улице об этом докторе Яффе, этом старом холостяке. Поговаривали, что он крутит любовь с дамочками, которые у него лечатся, что за плотными гардинами на его окнах творятся бесстыдные дела. Иногда какой-нибудь потерявший терпение работяга, прямо в оверолс[11], стучал обоими кулаками в зеленую закрытую дверь и отчаянно вопил, чтоб его пустили увидеть жену, которая что-то слишком долго задерживается.

Знали на улице и то, что у этого доктора Мирона Яффе, старого холостяка, денег куры не клюют. Что он, мол, и сам не знает, сколько у него денег, и что живет он по-свински. На этой тесно застроенной, пыльной и грязной улице замученных трудом бедняков дом доктора Яффе стоял особняком, запертый, с белыми занавесками на окнах и цветами на балконе, единственными цветами на всей улице. Доктор жил в этом красном двухэтажном доме один-одинешенек, только с черной служанкой. Так же как его дом, старый, но свежеевыкрашенный и чистый, доктор Яффе резко выделялся своей внешностью. Сильно в годах, с набухшими мешками под красноватыми глазами, с редкими усами, он был всегда нарядно одет, будто собрался на свадьбу. Его лакированные туфли блестели как зеркало; манишка по будням сияла крахмальной чистотой; черные, без единой складочки, костюмы будто только что отутюжены; белый атласный галстук был повязан как на бал. Кроме того, этот доктор Яффе носил множество украшений: кольца с бриллиантами на пальцах, жемчужную булавку в галстук, всевозможные золотые цепочки и брелоки в карманах жилетки, и в довершение всего – золотая монограмма на черной трости. Среди окружающей их бедности и обыденности доктор Яффе и его дом сияли еще ярче, точно праздник посреди будней. Улица смотрела на этот дом во все глаза, а пристальнее всех мистер Веврик из сторки, которая находилась в подвале как раз напротив докторского дома.



Сидя среди металлолома, шурупов, колес и стуча молотком, мистер Веврик одновременно примечал женщин, которые приходили к доктору Яффе. Он тщательно подсчитывал, сколько сегодня заработает доктор.

— Слышь, я уже тридцатую бабенку насчитал, — громко сообщал он своей жене, сутулой женщине, которая копошилась над кастрюлями с едой в дальнем углу сторки. — Если считать по два толера[12] за каждую, он уже получил шестьдесят толеров. Что ты на это скажешь, а, мисес?[13]

— А что я должна сказать? — отвечала жена, перекрикивая кипящие кастрюли. — Чтоб ты каждую неделю столько же зарабатывал на своем джонке[14], Г-споди Б-же ты мой...

— Я бы не прочь и каждые две недели, — мистер Веврик отвлекался от подсчетов и с такой силой ударял молотком по железу, что искры сыпались.

Ему не приходило в голову сравнивать своих старших детей с доктором Яффе. Мистер Веврик знал, что он нищий, что он едва зарабатывает на свой бедняцкий хлеб, и надеялся только на то, что его дети станут хорошими сейлслайт[15] где-нибудь на Гренд-стрит или Диленси-стрит. А вот насчет младшего, насчет Джорджи, ему вдруг пришла в голову смелая мысль: почему бы Джорджи в самом деле не стать таким, как доктор Яффе из дома напротив? Если отец бедняк, то сын — что, не может выучиться на доктора?

То ли потому, что Джорджи был младшим и мистер Веврик любил его больше других своих детей, то ли потому, что Джорджи вырос в подвале таким большим и красивым, что все смотрели ему вслед, то ли потому, что у парня были золотые руки и он мог справиться с чем угодно: мог починить электричество, разобрать и снова собрать часы, ловко обращался со всякими механизмами, — как бы там ни было, мистер Веврик горячо верил в своего младшего сына Джорджи, верил в него с самого детства и надеялся, что тот его еще порадует.

— Джорджи! — подзывал он сына и усаживал его у пыльного окошка. — Видишь этот дом напротив?

— Sure, па[16], — отвечал Джорджи.

— Знаешь, кто там живет?

— Sure, pa, doc...[\[17\]](#)

— Учись хорошо в скул[\[18\]](#), читай книги, не болтайся без дела, и ты тоже будешь таким, как доктор Яффе, — наставлял мистер Веврик. — У тебя будет свой дом, много денег... Будут приходить женщины, платить по два толера за визит... Тебе не придется, как твоему папе, ходить перепачканным, собирать джонк и жить в подвале... Станешь носить красивую одежду, не будешь работать. И все тебя будут знать. Все будут пальцем показывать: вот доктор Джорджи Веврик!.. Ну как, Джорджи?..

Джорджи резко взмахивал головой, чтобы откинуть рыжие патлы, которые лезли ему в глаза. Он обдергивал зеленый свитер, слишком короткий в рукавах, и спешил отойти от окошка, чтобы больше не видеть докторского дома с гардинами на окнах.

Ему не нравился этот красный дом напротив их сторки: слишком важным выглядел он среди других домов, слишком цирлих-манирлих. Ни мячом в него не кинь, ни поиграй в пристенок на его ступенях. Стоит мячу ударить в окно, черная поднимает крик, и доктор Яффе тут же звонит в полицию. Сам доктор Яффе тоже не слишком нравился Джорджи. Доктор шел по улице, точно боялся обжечься, сердито расталкивая детей своей тростью, чтобы те, неровен час, не испачкали его праздничную, будто только что отутюженную одежду.

— Дьяволы, сволочи[\[19\]](#), — ворчал он на них по-русски.

Хоть Джорджи и не понимал этих чужих слов, но догадывался по тону, что ничего хорошего он, этот доктор, о детях с улицы не думает. И когда Джорджи был маленьким, он всегда вместе с другими ребятами во весь голос кричал вслед Миرونу Яффе дразнилку, которую они, да еще и в рифму, про него сочинили.

Нет, у него не было желания стать таким, как доктор Яффе. Ему не хотелось ни жить вот так, в одиночестве, без друзей-приятелей, ни лечить больных, ни выглядеть так же смешно, как этот разодетый доктор с тростью в руке. Ничего лучшего, чем отцовская сторка со всем этим металлоломом, он и представить себе не мог. Повсюду колеса, винтики, пружины, всякие там медные проволоочки и куски жести. Часто отец приносит домой старый бейсикл, который Джорджи тут же прибирает к рукам, подтягивает гайки, колотит молотком, корпит над ним, пока не починит, а потом катается по улице. Иногда его отец покупает старую машину, на переплавку. Тут-то Джорджи есть чем заняться. Он снимает колеса, вертит, развинчивает и разбирается в устройстве мотора. Однажды Джорджи посадил целую ватагу мальчишек в такой вот разбитый «фордик», купленный отцом, и поехал по улице. Со всех сторон поднялся шум, женщины закричали, прибежал полисмен и с трудом остановил машину. Вот было здорово, просто фан![\[20\]](#)

За все это Джорджи очень любил папину сторку и не понимал, почему его отец так завидует смешному доктору и собирается сделать из него такого же. Ему не хотелось вести себя прилично, как просил отец, не хотелось читать никаких книжек и заставлять себя быть лучшим в скул. Интереснее возиться с железом, если есть время. Тут уж все в его руках. Но отец не собирался это терпеть.

— Джорджи, а ну вылезай из мусора, — прогонял он сына.

Когда Джорджи не слушался, отец пробовал взывать к его разуму.

– Доктор Джорджи Веврик, – титуловал он тогда сына, – посмотри, на кого ты похож! Чумазий, как негр.

Одно здорово беспокоило старика: его фамилия. Еще на родине, в литовском местечке, фамилия Веврик доставляла ему большие неприятности. Из-за этой смешной фамилии любой мог над ним подшутить. В детстве он частенько проклинал своего деда, который почему-то выбрал себе фамилию Веврик – людям на потеху. Когда мистер Веврик приехал в Америку, он подумывал о том, чтобы сменить фамилию, но у него никогда не было на это времени. Он уже не мог выползти из-под своего металлолома. С тех пор как он решил сделать из Джорджи доктора, прежняя головная боль вернулась к нему. Как-то не выговаривалось у него «доктор Веврик». Доктор Яффе – это понятно. Это звучит красиво. Но доктор Веврик! Отвратительно! Женщинам будет стыдно сказать, что они идут к доктору Веврику.

Однажды, обычным рабочим днем, мистер Веврик отмыл руки от ржавчины и надел приличные брюки вместо оверолс. Он собрался к юристу, чтобы тот поменял ему фамилию.

– Послушай, Джорджи, я делаю это ради тебя... – сказал он сыну. – Только ради тебя... Потому что я не хочу, чтобы у тебя были тробл[21], когда тебе придется открывать офис. Смотри, учись хорошо...

Но Джорджи не понимал, какую услугу хотел оказать ему отец.

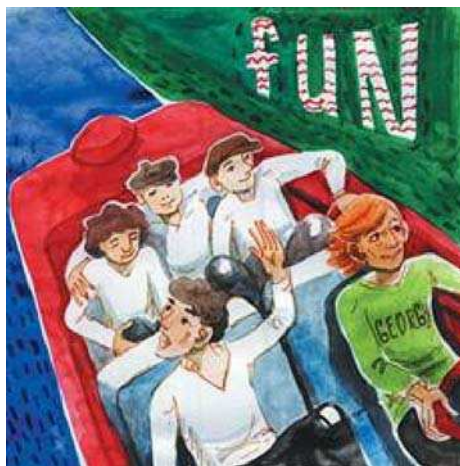
– What's the matter with the name, paps?[22] – спросил он, удивленно глядя на отца зелеными глазами.

Отец на очень ломаном английском объяснил ему, что значит «веврик» на идише. Джорджи резко сгреб со лба свои медные патлы и не разрешил отцу идти к юристу.

– Это ерунда, па. Что в Юроп[23] некрасиво, – твердо сказал он, – то здесь звучит красиво... Очень красиво... И по-американски к тому же...

Мистер Веврик молча оглядел своего сына и, вздохнув, вернулся к своему молотку и железу. Сердце у него сжималось от страха: вдруг его Джорджи не станет таким, как доктор Яффе из дома напротив.

– Здесь отец – собака, а не отец, – ворчал он из груды железа в тот угол, где над кастрюлями горбилась его жена.



2

Мистер Веврик недаром беспокоился за своего Джорджи.

Чем старше становился этот парень, тем меньше радости приносил он своему отцу. Отец на последние толеры купил ему приличную одежду, но Джорджи не хотел ее носить и никогда не вылезал из своего протертого на локтях короткого свитера. Точно так же он не хотел убрать со свитера свое вышитое имя. Книг он не раскрывал, кроме разноцветных книжонок о прайз-файтерс[24] и бандитах. Товарищей из приличных семей у него не было: переросток, на голову выше всех, он водился с уличными парнями.

— Джорджи, что из тебя выйдет? — озабоченно спрашивал его отец. — А, Джорджи?

Джорджи выбирал себе будущие занятия одно хуже другого. Сперва он хотел быть разносчиком и носить белую шапочку. Потом загорелся идеей стать мотормэнном[25]. Затем он часами простаивал, наблюдая за пожарными и мечтая только о том, как бы стать одним из них. Он вертелся и вокруг полицейских, называя их по именам и упрашивая дать потрогать, очень осторожно, револьвер. После всего этого ему не оставалось ничего другого, как заявить, что он запишется в армию или наймется матросом на корабль, идущий в Китай.

Мистер Веврик частенько ронял слезу на металлолом, следя сквозь пыльное окошко своего подвала за тем, как его сын носится по улице вместе с парнями-итальянцами и орет вместе с ними во всю глотку.

К шестнадцати годам Джорджи вымахал выше шести футов, и его отец был ему по плечо. Несмотря на это, Джорджи играл и хулиганил на улице с мальчиками намного моложе себя. Он вышибал стекла упругим мячом, и соседи приходили к мистеру Веврику жаловаться. Стоило кому-нибудь на минуту оставить у дверей автомобиль, как Джорджи уже сидел за рулем и заводил мотор. Он любил портить водителям кровь. Снимал блестящие диски с колес, продавал по дайму[26] за штуку и покупал себе с приятелями мороженое или сигареты. С помощью шланга откачивал бензин из припаркованных автомобилей и по дешевке продавал его соседу-лондримэну[27] для его старого драндулета. Иногда он откалывал шутки, не приносящие ему никакой выгоды, просто ради фан, на потеху себе и своим приятелям. Он открывал бензобак автомобиля и насыпал туда всякий мусор, чтобы вывести машину из строя. В другой раз он протыкал шину гвоздем или даже прорезал ее ножом, а потом

покатывался со смеху, когда водитель мучился с этим «рваньем». Много он вытворял на радость своим приятелям и на горе своим родителям.

– Вот он бегает, твой так называемый доктор, – говорил мистер Веврик жене, тыча пальцем в пыльное окошко, как будто это она была во всем виновата. – Вот, погляди, как он носится с мячом. Дай Б-г, чтоб этот парень нас не опозорил...

Жена молчала, только вздыхала с надрывом. Занятая целый день своими кастрюлями, так же как ее муж своим железом, она не меньше его беспокоилась о парне, который с каждым днем становился все больше, рос как на дрожжах. Хотя никто из них этого не произносил, они, не сговариваясь, не переставали думать о том, что парень плохо кончит. Каждый день другие парни на их улице сбивались с пути, вступали в генгс[28], увешивали себя револьверами, а их сгоравшие со стыда родители получали повестки в суд. Порой даже являлись агенты и уводили некоторых из них в наручниках – разное бывало. У мистера Веврика сердце замирало при виде парней-итальянцев, с которыми Джорджи таскался по всяким закоулкам и покуривал сигаретки. Соседи дурно говорили об этих парнях, рассказывали, что по вечерам они грабят прохожих. Каждый раз, когда Джорджи вовремя не приходил домой, отец, нервничая, стоял у окошка и ладонью протирал стекло от пыли, чтобы удостовериться, что снаружи не случилось ничего плохого. Сам не зная почему, он стал пугаться полицейских, которые патрулировали улицу. Ему казалось, что они направляются к нему, чтобы сообщить дурные вести о его Джорджи.

Но в один прекрасный день, совершенно неожиданно, Джорджи вернулся домой разгоряченный, веселый и попросил поздравить его: он принят в колледж.

– На доктора? – выкрикнул ошеломленный мистер Веврик из-за груды железа.

– Нет, па, на инженера, – ответил Джорджи и одним махом откусил половину яблока.

Мистер Веврик так и застыл с молотком в руке.

Хоть он и знал, что есть такие люди – инженеры, встречать их ему еще не доводилось. Ни у кого из знакомых не было сына-инженера. Он слышал о докторах, дантистах, адвокатах и учителях. В выборе Джорджи было что-то новое, чужое, дикое, резавшее слух старика.

– Что ты будешь делать, когда выучишься на инженера? – печально спросил он.

– Буду строить мосты, па, – радостно ответил Джорджи.

– Мосты? – повторил мистер Веврик тихо и печально.

Он не мог этого понять. Конечно, он видел мосты в городе, но никогда не видел, чтобы их строили. Они будто всегда стояли там. С докторами было по-другому. Каждый день на всех ступеньках перед домом доктора Яффе сидели больные женщины. Да к тому же в маленькой синагоге, куда он заглядывал в годовщину смерти родителей, ему приходилось слышать, что эти дела – не еврейский заработок. Никогда еще не было, чтобы кто-нибудь из его знакомых хвастался сыном-инженером. Обычно они с

гордостью говорили о своих сыновьях – докторах или адвокатах. Сам не зная почему, мистер Веврик в душе побаивался новой и чуждой профессии, которую выбрал его сын. Сперва он попробовал поговорить с Джорджи, чтобы тот его не позорил, чтобы ради своего же блага пошел учиться на доктора. Но Джорджи слышать об этом не хотел.

– Хватит, па! – крикнул он. – Не хочу пачкаться с больными и женщинами... Брр...

Когда отец увидел, что по-хорошему ему с Джорджи не совладать, он решил: пусть будет по-плохому.

– И не думай, бойеле[29], что я буду тебя содержать несколько лет! – закричал он. – Ради будущего доктора я бы все сделал, работал бы, как проклятый, но ради глупостей не стану!.. Не стану!..

Мистер Веврик думал, что так он возьмет верх, но парень не испугался. Джорджи пошел в гараж на углу и устроился мыть автомобили за несколько долларов в неделю. По вечерам он с рваным портфелем, полным книг, линеек и циркулей, широкими шагами шел в инженерную школу. Ходил он все в том же слишком коротком свитере, из рукавов которого вылезали его длинные руки, как будто бы он был не студент, а прежний Джорджи из паблик-скул[30]. В таком же виде он часом раньше гонял мяч с мальчишками и, сломя голову, бросался вперед на каждый пас.

Мистер Веврик понял, что все напрасно, и начал вдруг сильно интересоваться инженерным делом. Если раньше он глаз не спускал с красного дома напротив и подсчитывал женщин, чтобы узнать, сколько доктор Яффе зарабатывает в день, то теперь он совсем перестал смотреть на дом с зеленой дверью. Какой интерес был ему теперь в докторе Яффе, если он так и так видел, что из его Джорджи не выйдет никакого доктора. Наверное, не суждено ему было порадоваться сыну на старости лет. Он ведь хотел сделать из своего Джорджи доктора, чтобы тот стал и гордостью семьи, о которой можно было бы поговорить с людьми, и опорой для родителей на склоне лет, когда у него не будет уже сил работать с металлоломом. Б-г свидетель, сколько он молился об этом. Но вышло не по молитве, а по воле Б-жьей. Человек предполагает, а Б-г располагает. Нет, Б-г не пожелал, чтобы мистер Веврик на старости лет дожил до родительских радостей за все годы тяжелого труда и нужды. Однако мистер Веврик знал: грешно роптать на Б-га. Могло быть и хуже. В отличие от других отцов, он со своим сыном еще легко отделался.

Поэтому мистер Веврик и хотел быть в курсе инженерного дела, которым занялся его сын. Он часто видел, как Джорджи, сидя среди металлолома, что-то пишет, рисует и чертит на бумаге. Что он такое делает, мистер Веврик не знал. Всё рисует, замеряет, стирает и снова рисует, а посмотреть не на что. Но мистер Веврик понимал, что эта работа наверняка не совсем бессмысленна. И он стал выспрашивать у людей, которые приходили к нему, что они знают об инженерном деле, что это такое, зачем это нужно, где это нужно, и главное, можно ли на этом прилично зарабатывать.

– А мой Джорджи все рисует и рисует, – говорил он своим знакомым, – но что у него нарисуется, я пока не знаю.

Некоторые не одобряли этого рисования.

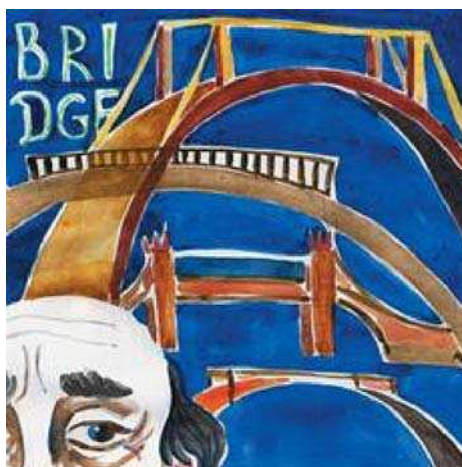
– Пока твой Джорджи нарисует птичку, он бычка съест, – предрекали они.

Другие не спешили отмахнуться от инженерного дела. Даст Б-г, говорили они, Джорджи найдет приличный джаб[31] и будет зарабатывать больше, чем доктора. Намного больше... Только бы ему повезло попасть в хорошие руки...

Вот это и хотелось выяснить мистеру Веврику. В какие руки попадет его Джорджи? Он вдруг стал заводить с людьми беседы о строительстве мостов, о том, сколько такие мосты стоят и как их делают. Большие миллионы, которых, как сказывали, стоят эти мосты, немного развеяли его тревогу. По субботам, когда мистер Веврик не работал, он даже отправлялся к одному из мостов через Ист-Ривер и осматривал его со всех сторон. Они будто кипели, эти мосты, от движения и шума, прямо дрожали. Мистер Веврик не совсем понимал, какое отношение имеет все это тяжелое железо к тому, что его Джорджи рисует на листах бумаги, – ко всем этим черточкам, полосочкам и циферкам. Но он верил: если Джорджи говорит, что так строят мосты, значит, это правда. Вот уж кем-кем, а лгуном Джорджи не был никогда.

Присматриваясь к большим мостам, которые висели над рекой и втягивали в себя потоки автомобилей, грузовиков и поездов, мистер Веврик даже воодушевился от мысли, что его Джорджи когда-нибудь будет строить такие же. Чтобы строить такие мосты, думал мистер Веврик, нужно голову иметь на плечах и, может быть, даже поумнее, чем для осмотра больных; нечего и говорить, здесь требуется больше сноровки, чем для того, чтобы вырвать кому-нибудь зуб.

Мистер Веврик стал высоко заноситься мыслями, даже слишком высоко. Быть может, Б-жий промысел как раз в том, что его сын отказался стать доктором и взялся за это дело. На все воля Б-жья. Ведь у него, у Джорджи, золотые руки, еще в детстве он мог запросто разобрать и собрать любую машину, любой механизм. Смотри-ка, не зря его к этому тянуло. Кто знает, до чего он может прийти с такими золотыми руками, когда хорошенько во все вникнет. Даст Б-г, он еще будет большим человеком, этот Джорджи, столько мостов понастроит, что целое состояние наживет. Тогда-то мистер Веврик оставит свою сторку с металлоломом, поселится в богатом доме своего сына и станет радоваться жизни. Он будет плевать на всех, кто говорил ему, что строить мосты – занятие не для еврея. Он даже разговаривать не станет с отцами докторов и адвокатов. Что такое доктора и адвокаты по сравнению с инженером, который строит мосты за миллионы!..



Сын еще не закончил курса, а мистер Веврик в своей сторке уже говорил со своими кастомер[32] о тех мостах, которые построит его Джорджи и о миллионах, которые ои будут стоять. Джорджи не должен водиться с кем попало на улице, потому что инженеру это не пристало. Мистер Веврик пробовал даже отвадить Джорджи от

мытья карс[33] в гараже, ведь нельзя же такому человеку расхаживать повсюду в промасленном оверолс и мыть чужие карс за несколько пыльных долларов в неделю. Ему хотелось, чтобы Джорджи все время сидел за расчетами и книгами и вникал в инженерное дело. А все, что потребуется, он, его отец, ему даст. На последние доллары купит одежду и книги. Ничего страшного, пусть только Джорджи закончит курс и получит заказ на строительство моста – он все вернет, он воздаст своему отцу сторицей.

Но в последний год, как раз перед окончанием курса, Джорджи как-то раз вернулся в сторку, зашвырнул книги и циркули в угол, в кучу металлолома, окалины и мусора.

– Что случилось, Джорджи? – испуганно спросил отец.

– To hell with engineering[34], – выругался Джорджи, – все равно мне это ничего не даст. Тысячи инженеров ищут работу трэк-драйверс[35]. Зачем себя попусту гробить?..

У мистера Веврика так свело правую руку, что он не мог ни молоток выпустить из руки, ни перестать заколачивать гвоздь.

– Джорджи, – пробормотал он, – а как же мосты?

– Больше никаких мостов, па, – сердито сказал Джорджи. – На один мост здесь тысяча инженеров... А еврею вообще ничего не получить... Они спрашивают, в какую чёрч[36] ты ходишь молиться.

Мистер Веврик выронил молоток. Все мечты о себе и о Джорджи, которые он лелеял несколько спокойных лет, сидя среди металлолома, испарились в один миг.

– Б-же, – спросил он у закопченных балок своей сторки, – за что мне такое наказание?

Но Джорджи не был ни капельки огорчен. Он быстро отрезал себе ломоть хлеба, жирно намазал его маслом и, откусив огромный кусок, начал с полным ртом говорить в темный угол, где его мать горбилась над кастрюлями.

– Знаешь, ма, – сказал он, – у меня есть свитхарт[37]. Ее зовут Роуз. Я хочу привести ее сюда, ма...

Мать подняла глаза на своего долговязого сына.

– Только не сюда, Джорджи, – взмолилась она, – здесь как в богадельне. Мне стыдно перед чужими людьми...

– Но Роуз не чужая, – сказал Джорджи, откусывая кусок хлеба, – Роуз моя жена, ма...

Мистер Веврик и его жена встретились взглядами, да так и замерли, вытаращив друг на друга глаза. Они не поверили собственным ушам и хотели найти в глазах друг у друга подтверждение тому, что это не шутка, которую Джорджи устроил, чтобы немного посмеяться над стариками. Но прежде чем им удалось прийти в себя, Джорджи вышел на улицу, свистнул и тут же привел в подвал девушку, раздетую в пух

и прах, которая рядом с Джорджи в коротком свитере и широких измятых вельветовых штанах выглядела еще наряднее, чем была на самом деле.

— Careful, honey[38], – предупредил он ее, помогая спуститься по ступенькам в подвал, и сразу же представил родителям.

— Это Роуз, моя маленькая женошечка... А это мои па и ма... Nice people, Rose...[39]

Оба, и отец, и мать, не могли вымолвить ни слова. Для них это было чудесно. Они в оцепенении смотрели на маленькую чернявую девушку, которая, как драгоценная искра, сияла посреди темного, бедного подвала. Она доставала Джорджи до груди. Маленькой рукой, на которой поблескивали бриллиантовые колечки, она вцепилась в большую, поросшую рыжими волосами лапу Джорджи.

— How do you do?[40] – испуганно сказала она, переводя блестящие черные глаза со старика на его жену и обратно.

Ее белые частые зубки сверкали как жемчуг между подвижными, густо накрашенными губами. Зеленое перышко, торчащее на красной шляпке, нервно дрожало.

Первой пришла в себя мисс Веврик, она оставила свои кастрюли, принесла стул, предварительно обтерев его фартуком, и предложила незнакомке сесть. Маленькая, проворная как ртуть дамочка припала к сутулой женщине и красными, намаженными губками перемазала ей все лицо.

— I'm so glad, ma[41], – с жаром промурлыкала она и прижала к своей груди старую, изможденную женщину.

Джорджи стоял и белозубо смеялся от радости.

— Па, – позвал он отца, – поцелуйся с Роуз.

Отец не отвечал... Джорджи не понимал почему.

— What's the matter?[42] – спросил он удивленно. – Мы уже давно любим друг друга, и мы зарегистрировались. Это было просто фан...

Для мистера Веврика это было уже слишком. Долговязый юнец, который вместо диплома инженера неожиданно притащил к нему в дом невестку, привел его в бешенство. Этот новоиспеченный супруг вел себя совсем как ребенок. Во всем чувствовалась его безответственность: и в его коротком свитере с вышитым именем, и в его смехе, но более всего в его беззаботных словах о том, что жениться – это просто фан. Еще ни разу в жизни мистер Веврик не слышал, чтобы так говорили о женитьбе. Его стариковская кровь закипела.

— Мазл тов! – сердито крикнул он своей невестке, которую увидел первый раз в жизни. – Вы бы лучше еще подождали и пригласили бы нас прямо на обрезание... Мы бы вдвойне порадовались...

Миссис Веврик не могла этого слышать.

– Что ты говоришь? – пристыдила она мужа, заламывая руки. – Побойся Б-га.

Но мистер Веврик не боялся Б-га.

– Золотой ты мой добытчик, – кричал он сыну, – я на тебя больше не стану горбатиться... Сам будешь содержать свою Роуз... Сам...

Джорджи, словно ребенка, обнял большой рукой свою маленькую перепуганную жену и перебил разгневанного отца.

– Never mind, paps[43], – беззаботно сказал он, – я скоро найду какую-нибудь работу. Вот увидишь! Для Роуз я все сделаю...

– You are a honey, a sweetheart[44], – жарко промурлыкала маленькая женушка и вцепилась наманикюренными ноготками в коротковатый рукав его зеленого свитера, – никто меня у тебя не отнимет... Никто.

С женушкой в одной руке и недоеденным яблоком в другой Джорджи покинул родительский подвал.

3

Не лучше, чем у себя дома, даже еще хуже, Джорджи Веврик был принят в доме своих тестя и тещи, когда Роуз привела его, рыжего и долговязого, чтобы получить поздравления. Так же как продавец металлолома мистер Веврик из подвала в Ист-Сайде, его сват, мистер Бакалейник, владелец нескольких домов в Аптауне[45], надеялся, что в его семье появится доктор. От своих сыновей он этого не добился. Сколько мистер Бакалейник ни тратил денег на учителей, учиться они не хотели. Но от своей единственной дочери он ждал, что она порадует его мужем-доктором.

В большом, богатом, собственном доме, в котором он жил со своей семьей, мистер Бакалейник даже перестал сдавать первый этаж, держа его наготове для зятя-доктора, как только того пошлет Б-г.

Но большая квартира в доме мистера Бакалейника пустовала не для какого-то зятя вообще. У мистера Бакалейника были свои виды.

В синагоге «Шаарей Ерушалаим»[46], где мистер Бакалейник уже долгое время был президентом[47], молился преподобный Финкельштейн, чернявый, пронырливый человек, который у себя на родине, в Литве, был маклером и шадханом, а в Нью-Йорке стал распорядителем свадеб и мозлем и поэтому титуловал себя «преподобный». Вот у этого-то преподобного Финкельштейна, чей язык был так же остер, как и его нож для обрезания, был сын-доктор, только что окончивший курс и работавший врачом в приличной больнице. Благодаря знакомству с врачами и медицинскими сестрами тех больниц, где преподобный Финкельштейн делал обрезания, он добился того, чтобы его сын быстро получил место в больнице, и не абы в какой, а в большой, известной, такой, где он мог бы сделать хорошую карьеру.

Но сын оплатил отцу за его благодеяние не так, как должно. Наоборот, он изничтожил уважаемую отцовскую фамилию. «Финкеля» он вообще выбросил, а оставшегося «Штейна» переделал на английский манер в «Стоуна». Вот этого-то доктора

Стоуна и имел в виду мистер Бакалейник, освободив первый этаж своего богатого дома, чтобы в любой момент устроить там приличный, удобный для пациентов врачебный офис. Точно так же он готов был купить доктору Стоуну все новейшие инструменты и оборудование, которые только могут понадобиться современному доктору, готов был купить дорогой автомобиль и к тому же дать за дочерью приличное приданое – все для того, чтобы зять смог сразу же завоевать всю округу.

Доктор Стоун делал все, чтобы понравиться дочери президента конгрегации.

Прямо из больницы он частенько заглядывал в богатый дом мистера Бакалейника и находил Роуз в роскошно обставленной гостиной, полной мягких кресел, ковров, подушечек и кушеточек.

– Hello, dear[48], – приветствовал он ее без церемоний. – Я принес тебе новый анекдот из госпиталя, не совсем приличный, но смешной, товар – первый сорт...

При этом он не выпускал теплую руку девушки из своей руки и пытался усадить Роуз рядом с собой на одну из мягких, обитых шелком кушеточек.

Мистер Бакалейник и его жена делали все, чтобы оставить свою Роузи наедине с доктором Стоуном. Сам бывший мясник, наживший состояние на торговле некошерным мясом, мистер Бакалейник очень хотел сблизиться с родовитым семейством. Привыкнув на родине к тому, что мясник – это низко, а лицо духовное – высоко, он вбил себе в голову, что должен породниться с преподобным Финкельштейном, человеком именитым и вообще важной шишкой. Но сильнее всего он хотел заполучить в свою семью доктора, и не какого-нибудь зубного врача, а настоящего доктора. Мистер Бакалейник верил в доктора Стоуна. Доктор Стоун, так же как его отец-моэль, был пронырливым, острым на язык человеком, он чувствовал себя всюду как рыба в воде, мог пролезть куда угодно и знал, как надо жить. Нет, он за словом в карман не лез, этот доктор Стоун, умел за себя постоять. И мистер Бакалейник верил в свою удачу...

– Розеле, дитя мое, – поучал он свою дочь, – будь с ним поласковее, с доктором, и получишь мужа всем на зависть...

Но Роуз не слушала поучений отца и не хотела быть поласковее с доктором Стоуном. Она ловко выкручивалась из его рук всякий раз, когда доктор хотел увлечь ее на кушеточку. Ей больше нравилось сидеть за пианино и наигрывать модные романсы, подпевая себе нежным лирическим сопрано.

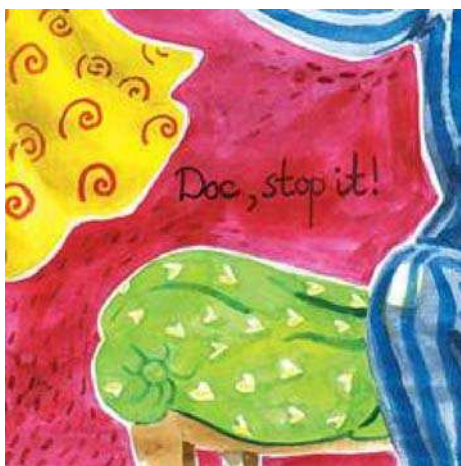
Но доктора Стоуна не удручало то, что Роуз выказывает к нему меньше уважения и любви, чем он, по его мнению, заслуживал. Он пытался разными способами завоевать проворную как ртуть девушку, которая выскальзывала из его рук. Сперва он нагонял на нее страху своей значительностью и ученостью. Доктор Стоун рассказывал обо всех тяжелых случаях и операциях в госпитале, где он занимал одно из самых выгодных мест. Он напускал на себя перед девушкой очень важный профессорский вид и сыпал медицинскими терминами и латинскими словами. Но Роуз это не трогало, и она с большей охотой наигрывала романсы.

– Doc, stop it[49], – прерывала она его, – терпеть не могу слушать о болезнях... Я люблю веселиться...

Доктор Стоун отбросил свою ученость и пустил в ход свой острый, хорошо подвешенный язык, который мог заговорить зубы кому угодно. В своем госпитале он слышал от врачей множество анекдотов, не особенно приличных, но очень смешных, от которых пациентки хватались за бока. Эти анекдоты он с большим артистизмом пересказывал Роуз, и многие из них – от своего имени, чтобы вызвать у нее восхищение. Девушка веселилась и смеялась во весь голос. Но когда доктор Стоун пробовал между делом приобнять ее не только за талию, она посреди веселья спохватывалась и опять ловко выскальзывала из его рук.

– Stop it, doc, – сердилась она, – я не разрешаю...

Для Роуз доктор Стоун наряжался в пух и прах. Он пока еще немного зарабатывал в госпитале, но одевался в лучших магазинах. Его галстуки были из самого дорогого шелка. Из верхнего кармана каждого его костюма элегантно выглядывал платочек. Садясь нога на ногу в мягкое кресло, он очень ловко поддерживал свои отутюженные брюки, показывая тонкие ноги в лучших шелковых носках. Он также выучился всем новым танцам, для того чтобы всегда иметь возможность подхватить девушку за талию и под музыку из радио пройтись с ней в танце по гостиной. Но Роуз была равнодушна ко всем достоинствам доктора Стоуна и не хотела им увлечься, как бы сильно он этого ни желал.



Было ли это оттого, что Роуз слишком хорошо видела, что на уме у доктора Стоуна не столько она, сколько ее отец-богач; или оттого, что ей, маленькой, чернявой и подвижной, не нравился маленький, чернявый и подвижный мужчина. А может быть, все дело было в том, что при всей своей элегантности доктор Стоун выглядел комично. Его голова, слишком тяжелая и важная, не подходила к его фигуре. Его мохнатые, очень черные брови, узкие черные усики, крючковатый нос, но более всего глубоко прочерченные складки и морщинки вокруг рта – все это смотрелось излишне внушительно по сравнению с его маленьким тельцем. Еще сильнее не шел ему его голос, густой и низкий, поражающий тем, что принадлежит такому низкорослому мужчине. Но, похоже, больше всего были виноваты его руки, тонкие, худые и очень длинные, как лапки зверька. Пучки черных волос росли на пальцах, но обильнее всего покрывали костлявые запястья, торчавшие из туго накрахмаленных манжет рубашки. Какая-то ненасытность чувствовалась в волосатых, бледных, тонких руках доктора Стоуна. Всякий раз, когда он протягивал руку к ее талии, Роуз испытывала отвращение. Ей почему-то казалось, что к ней тянется волосатая лапка маленькой уродливой обезьянки.

Но в чем бы ни крылась причина, миниатюрная шустрая Роуз не была расположена к доктору Стоуну, хотя ее родители лезли перед ним вон из кожи. Кипучая,

проворная как ртуть, да к тому же еще и фантазерка, она ждала возлюбленного пылкого, необычного, авантюрного, такого, каких показывают в муви. Именно потому, что Роуз была такой маленькой, чернявой и, как говорится, с перчинкой, она обычно засматривалась на высоких, сильных и развязных парней. Как все девушки в ее возрасте, она была влюблена в одного киноактера, высокого юношу, который всегда ходил в свитере, плевать хотел на всех вокруг и любил подшутить над утонченными людьми и надутыми аристократами. Еще он был груб с девушками, которые за это его любили. На какого бы парня ни смотрела Роуз, она искала в нем сходство со своим экранным кумиром. Но полного сходства не было. Меньше всего этого сходства было в докторе Стоуне.

В Джорджи она нашла это сходство с первого взгляда.

Встретились они случайно, жарким летним вечером в прибрежном ресторане. Роуз с подругой сидели за столиком на террасе с видом на океан и смотрели, как танцуют парочки. В этом месте, одном из лучших, мужчины были в светлых костюмах, а женщины – в нарядных платьях. Роуз не терпелось потанцевать, но у нее не было кавалера, и она пригласила на танец свою подругу. Как все девушки, которым приходится танцевать друг с другом, они стали деланно смеяться на весь ресторан, чтобы показать мужчинам, что они прекрасно могут проводить время друг с другом и жалеть их вовсе не стоит. Вдруг между нарядными танцующими парочками протиснулся высокий, долговязый парень в широких штанах и свитере и забрал Роуз у ее подруги.

– Come on, tootsie![\[50\]](#) – грубо сказал парень и сильно сжал ее руки в танце.
– Меня зовут Джорджи.

Роуз растерялась от удивления и негодования. Она задрала голову, чтобы посмотреть на того, кого собиралась было отчихвостить. И в то же мгновение увидела в нем свою мечту. Точно так же выглядел ее экранный кумир. Даже штаны и свитер те же. Тем временем парень быстро обхватил ее за талию и пустился по террасе, выделявая всякие дикие па и фигуры и так громко насвистывая под музыку, что все оглядывались.

И Роуз позабыла о том, что собиралась отчихвостить этого парня, забыла о своей подруге, которую бросила одну в середине танца.

Если не считать объятий доктора Стоуна, она впервые почувствовала себя в мужских руках. Больших, сильных и властных. Она прильнула головой к груди юноши, до которой едва доставала, и покорно позволяла ему вести себя, повторяя все его безумные фигуры и неуклюжие па.

Когда они вернулись за столик, подруга Роуз уже ушла. Роуз стало досадно за то, что она обидела подругу. Но парень в свитере только рассмеялся, показывая все свои крупные зубы.

– Junk[\[51\]](#), – успокоил он девушку и одним залпом выпил стакан апельсинового сока, оставшийся нетронутым после ухода обиженной подруги.

В тот вечер парень в свитере повел Роуз кататься на качелях, горках, лодках, винтовых лестницах и разных аттракционах, от которых дух захватывает. Роуз вопила, визжала, умоляла парня ее отпустить, а то она потеряет сознание, но парень смеялся и не выпускал ее из рук. Он крепко прижимал ее к себе, как это делают матросы и шпана, обнимал ее на глазах у всех и целовал прямо в губы.

Она отталкивала его, кричала, что ненавидит его и что больше знать его не желает. Но парень смеялся, фыркал в ответ «junk» и говорил ей, чтобы она ждала его у сабвея напротив инженерной школы, когда у него закончатся занятия. И она была там минута в минуту, как он ей велел.

С тех пор они часто встречались. Она – наряженная по последней моде, а он – в широких вельветовых штанах и свитере с именем Джорджи на груди и на спине.

Когда однажды Роуз пришла к сабвею бледная и напуганная и стала лить слезы на свитер Джорджи, прямо на его вышитое имя, говоря, что она несчастна, что она бросится в океан и что родители выгонят ее из дома, Джорджи только громко, грубо и дико рассмеялся.

– Ты смеешься? – испуганно спросила Роуз, и что-то оборвалось в ее сердце.

– Sure, tootsie[\[52\]](#), – ответил Джорджи и от этого рассмеялся еще громче.

Роуз почувствовала слабость в коленях, как будто их суставы размякли. На мгновение ей показалось, что ее родители были правы, так настойчиво предостерегая ее от шпаны. Она с неожиданной ненавистью посмотрела на долговязого Джорджи.

– Хватит смеяться, дурак! – закричала она. – У меня будет бейби, понимаешь – бейби!

Парень продолжал смеяться.

– О'кей! – сказал он. – Бейби так бейби.

Роуз раскрыла глаза в два раза шире обычного.

– Но мы же не женаты! – в истерике закричала она, не думая о том, что люди могут ее слышать.

– Junk, – ответил Джорджи, – мы можем пожениться.

Заплаканные глаза Роуз засветились счастьем, хотя она и не поверила своему парню. Джорджи обнял ее своей огромной рыжеволосой рукой и потащил за собой.

– У тебя есть деньги? – спросил он. – Дай мне. У меня только никель[\[53\]](#) на сабвей, а нужно еще платить за лайнс[\[54\]](#)...

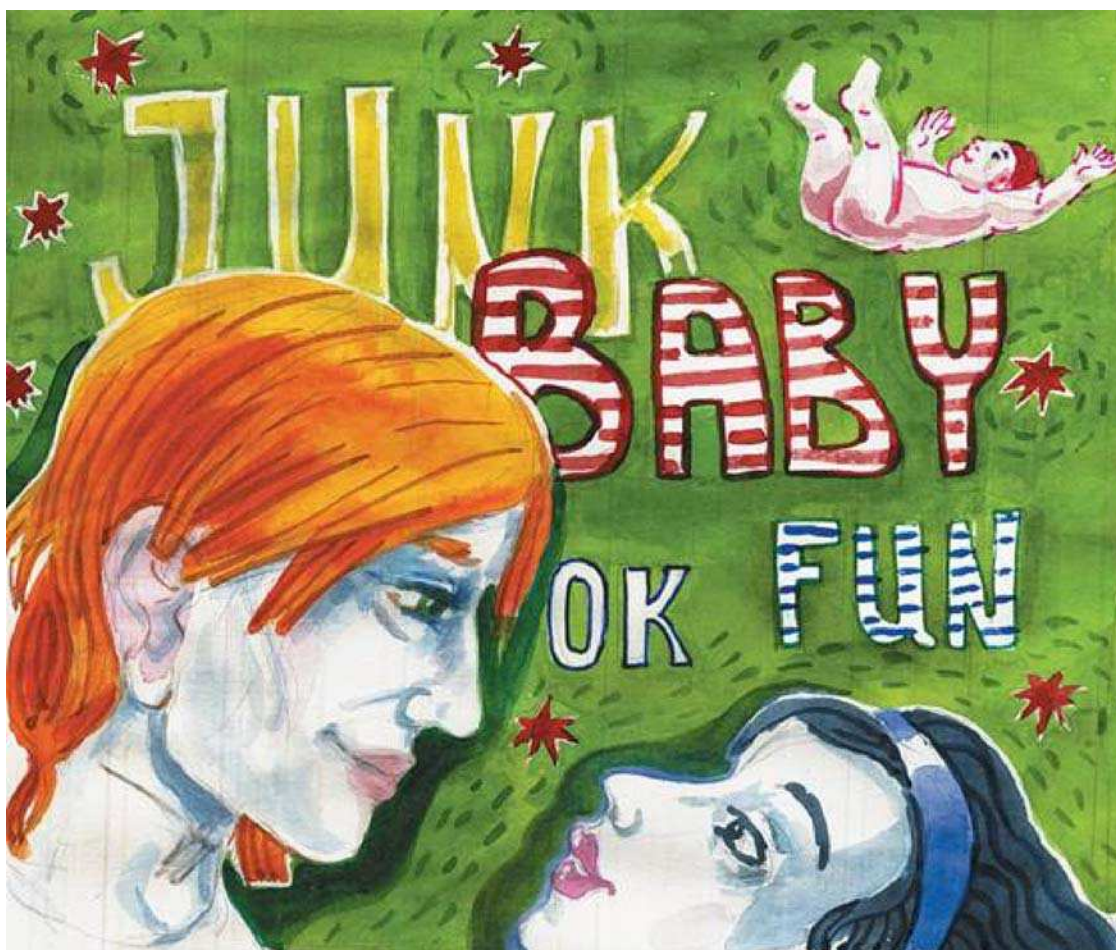
Испуганная, удивленная и счастливая одновременно, Роуз семенила вприпрыжку рядом с Джорджи, прижавшись к его свитеру и едва поспевая за его широкими шагами.

В широких мятых вельветовых штанах, в коротком свитере, протертом на локтях, Джорджи Веврик поклялся перед зевающим чиновником, который регистрировал браки, быть верным мужем своей жене Роуз Бакалейник и в радости, и в горе.

На следующий же день, хотя ему оставалось учиться на инженера всего год, он забросил книги, чертежи и циркули, которые несколько лет каждый день таскал в рваном портфеле, и стал повсюду прогуливаться со своей маленькой женушкой.

— Хелло, — останавливал он всех знакомых на улице и представлял свою жену: — Это моя Роуз... Можете нас поздравить...

Роуз была напугана происходящим. Сколько Джорджи ни уговаривал ее пойти с ним в подвал к его родителям, пришлось ему тащить ее силой. После порции брани, полученной от перепачканного металлоломом свекра, она до дрожи боялась привести своего мужа в богатый родительский дом. Хотя Роуз и была единственной дочерью, она знала, что ее отец не простит ей позора, которым она покрыла его. Она хорошо знала своего отца. Чего стоило ему стать президентом конгрегации, уважаемым домовладельцем, а теперь он сгорит со стыда от того, что вместо зятя-доктора и свата-преподобного она приведет к нему в дом юнца-бездельника, сына джанк-дилера^[55] из Ист-Сайда.



Со всеми женскими ухищрениями, на которые только она была способна, Роуз готовила Джорджи к нелегкой встрече с тестем. Она его чистила, наводила на него лоск, чего только ни делала, чтобы привести его в порядок. Но ничто на свете не могло изменить Джорджи. Короткий костюм, который чуть не лопался на нем, рубашка и галстук, даже светлая шляпа и желтые ботинки ни на грош не прибавляли респектабельности рыжеволосому переростку, привыкшему лишь к широким вельветовым штанам и свитеру. В любой одежде он выглядел шпаной.

С замирающим сердцем, с опущенными глазами подходила Роуз к своему дому.

— Джорджи, — умоляла она, — будь повеселее с моим па... Я боюсь...

Джорджи, как обычно, был спокоен и широко улыбался.

– Хелло! – радостно приветствовал он своего тестя, грузного, краснощекого мужчину с черными глазами, до того выпученными и круглыми, будто они готовы были вот-вот выскочить из орбит.

Краснощекий мужчина возвел глаза на высоту шести футов, туда, где была голова Джорджи. Он оглядел его от огненно-красного чуба, нахально падающего ему на глаза, и крупных смеющихся зубов до тесного костюма и больших желтых ботинок...

– Это Джорджи... Джорджи, – дрожа, пролепетала Роуз, – мой муж, папа... Пожми ему руку...

Мистер Бакалейник, вместо того чтобы, как об этом просила его дочь, протянуть руку зятю, протянул ее по направлению к двери.

– Get out! Bum! [\[56\]](#) – хрипло проорал он. – Вон из моего дома, трэмп [\[57\]](#), вон!

Джорджи взял за руку свою жену и как ни в чем не бывало вышел вон.

– Junk, – фыркнул он как обычно.



4

У Джорджи Веврика уже два сына, оба в него, высокие, рыжеволосые; целыми днями играют они как очумелые и смеются на всю улицу, но Джорджи по-прежнему носит короткий свитер, из рукавов которого слишком далеко наружу высовываются его длинные руки. По-прежнему на груди и на спинке свитера вышито имя Джорджи. Но не полное его имя, как подобает отцу семейства, а мальчишечье. «Call me Georgy» [\[58\]](#) – вышито белыми нитками на его свитере. То же самое написано на его маленькой шапочке, где вдобавок нарисована волчья голова. Все так и зовут его, как написано. Но к имени еще прибавляют звание. Его называют «доктор Джорджи».

Это потому, что у Джорджи свой госпиталь, но не для больных женщин, как надеялся его отец, а для больных автомобилей. «Georgy's automobile hospital» [\[59\]](#) написано над его гаражом, который находится в переулке недалеко от богатого дома его тестя, который живет на главной улице. И отовсюду приезжают к нему люди, чтобы он

вылечил их захворавшие машины. Привозят к нему ужасных калек, и он, Джорджи, их лечит. Он лучший механик в округе, спец, каких поискать. К тому же не рвач. Он не берет лишнего за операцию, поэтому к нему обращаются в основном бедные люди на обшарпанных и помятых старых драндулетах, в которых едва душа держится. Вот они-то и прозвали его доктором.

— Хало, доктор Джорджи! – хлопают они его по плечу и угощают дешевыми сигарами. – Будь гуд бой[60], осмотри мою машинку, она прихворнула. Погляди, что с ней не так, док...

Джорджи засовывает рыжую голову в маленькой шапочке под капот, на его лбу появляются несколько серьезных морщинок, он наостряет уши, будто прислушивается к сердцу тяжелобольного.

Хоть у Джорджи в его госпитале есть черный подмастерье, он не доверяет ему подходить к больным машинам. Джорджи знает, сколько лентяев и халтурщиков работает в гаражах. Им только дай что-нибудь сломать, напортачить, а он этого терпеть не может. Для Джорджи машина как живое существо. Seriously, как врач к больному человеку, прислушивается он ко всякой больной машине, которую к нему пригоняют. Он не довольствуется лишь поверхностным осмотром, как другие в его деле; он осматривает каждое колесико, каждый винтик, каждый шланг, он вслушивается в каждый вздох мотора: как тот работает, насколько плавно; он разбирает каждый механизм, чистит его и выискивает любой дефект. И после долгого молчаливого раздумья он высказывает свое мнение ждущему человеку, хозяину больной машины. Точно так же он хорошенько все взвешивает, аккуратно подсчитывая, сколько ему причитается за операцию. Ни цента не берет он сверх того, что заработал.

— Не меньше бакса с четвертью, бади[61], – говорит он наконец после долгого раздумья, вытирая об оверолс рыжеволосые руки, перепачканные машинным маслом.

С ним не торгуются. Известно: какую бы цену ни назвал Джорджи, это хорошая цена, в другом месте придется платить за ту же работу втридорога; известно и то, что работа тоже будет сделана хорошо, лучше быть не может, Джорджи славится по всей округе. Все знают, что Джорджи не станет рассказывать сказки и приписывать к счету лишнее, как это делают многие в погоне за легким долларом. Джорджи не станет дурачить даже начинающего водителя, если тот обратится к нему за помощью. Он не наживается на начинающих водителях, хотя они ничего не понимают в машинах и им можно вешать лапшу на уши.

— Junk, – говорит Джорджи такому начинающему водителю, – твоя машина здорова, нужно только знать, как с ней обращаться...

И когда начинающий, стыдясь своего невежества, спрашивает, сколько он должен за совет, Джорджи только отмахивается своей огромной рыжеволосой рукой и принимается за машину, которая больна по-настоящему.

— Купи мне сигару за никель, – бормочет он, – и о'кей...

Роуз, его жена, недовольна тем, как Джорджи ведет свой бизнес. Хоть он работает сутками, не вылезает из гаража, они едва сводят концы с концами. И если бы не

ее отец, который помогает ей деньгами, она не смогла бы вести хозяйство по-человечески.

— Дурак ты, большой, упрямый осел, – говорит она ему всякий раз, когда он приходит домой и отдает ей смятые и промасленные банкноты, которые он, все до последней, вытаскивает из карманов оверолс, – работаешь как лошадь, а зарабатываешь болячки.

Джорджи стягивает с себя оверолс, снимает шапочку с нарисованной волчьей головой и моет в ванной руки, в которые ввелись масло, бензин и грязь. Он ни слова не отвечает на упреки Роуз. Ему нечего ответить. Его молчание всегда раздражает Роуз. Сама она говорливая, подвижная как ртуть; ее беспокойный маленький ротик, густо намазанный красной помадой, никогда не закрывается. Больше всего ее раздражает, если кто-то молчит в ответ на ее слова.

— Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не приходил домой в оверолс! – злится она. – Я не выношу запах масла и бензина. Мне от него плохо.

Джорджи потягивается после долгих часов работы и открывает айс-бокс^[62], чтобы посмотреть, что там есть поесть. Роуз никогда не готовит ему еду. Хоть они уже несколько лет живут самостоятельно, к труду она так и не привыкла. Она быстро устает от работы. К тому же Роуз не хочет портить руки. Руки у нее всегда были самой красивой частью тела. Все мужчины говорили ей об этом и до сих пор говорят. И она не хочет портить свои красивые руки, готовя и моя тарелки. Ничего, у Джорджи здоровенные лапы, привычные к тяжелой работе, он может сам приготовить себе еду и помыть тарелку. Не рассыплется.

Джорджи чувствует, что после тяжелых часов работы в гараже ему было бы приятнее приходить к накрытому столу, а не искать в айс-боксе еду и не возиться на кухне. Но он не хочет из-за этого препираться. Он боится своей маленькой женушки, и пуще всего – ее ротика, ее густо напмаженных красных губок, боится, что если они раскроются, начнут попрекать и жаловаться, то закрыться уже не смогут. Джорджи не знает, откуда столько сил у такого маленького ротика. Он мелет как меленка, быстро-быстро, ни за что не догонишь. Так что Джорджи лучше промолчит и сготовит себе сам. Он откусывает большие куски хлеба, с аппетитом, ложка за ложкой, проглатывает приготовленную им самим еду. Но Роуз все еще не может успокоиться.

— Я не хочу, чтобы ты подъезжал к дому на этой своей развалюхе! – сердится она. – Мне стыдно перед соседями.

Джорджи смотрит на нее большими зелеными глазами. Он не понимает, что Роуз имеет против его машинки. Машинку эту, хоть и купленную всего за четвертной, он так оснастил, что она бежит как черт. Джорджи обгоняет на ней лучшие машины, и теперь он не отдал бы ее даже за сотню, столько труда в нее вложено. Правда, она некрасивая, обшарпанная, помятая и ржавая, но это все только снаружи. Мотор у нее как новенький, а в машине главное – мотор, как в человеке – сердце. Но Роуз смотрит на это по-другому. Для нее, говорит она, внешность прежде всего. Она краснеет от стыда, когда он ставит перед дверями свою обшарпанную, бедняцкую машинку, которая годится только для мусорщика.

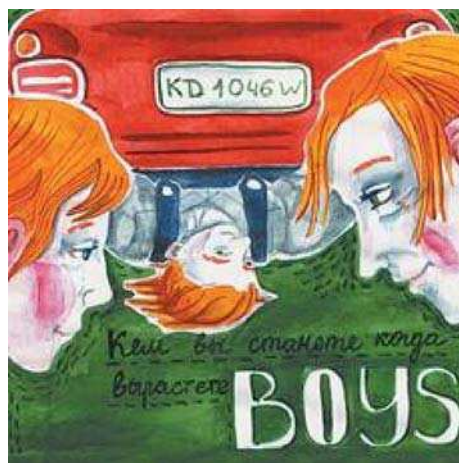
— Не можешь ты ее покрасить, по крайней мере? – с горечью говорит она. – Покрасишь?

Разумеется, он может ее покрасить. Да разве он чего-то не может, этот Джорджи? Нет ничего такого, с чем бы он не справился. Но у кого есть время на такие вещи? Ему целого дня на все не хватает. С утра до позднего вечера пролеживает он под машинами в своем госпитале, а работы не убывает.

— О'кей! — говорит он наконец, чтобы остановить меленку своей жены. — Я останусь в гараже на ночь и покрашу машинку. Ну что, ты довольна?

Но Роуз не довольна. Она только теперь видит, как правы были ее родители, которые просили ее не делать глупостей. Они желали ей добра, хотели для нее комфортной, счастливой жизни. Но она была глупа, как дикая коза, не слушала их и втюрилась в большого, буйного, глупого парня. Они, ее родители, умоляли ее, хотели, чтобы она вышла замуж за успешного доктора, хотели дать за ней богатое приданое, купить дорогую машину, красивые вещи, они даже квартиру для нее в их доме приготовили. Но она не послушалась родителей и закрутила со шпаной. Теперь она за это расплачивается. Вместо того чтобы стать женой приличного человека, доктора, с которым было бы честью показаться на людях, она стала женой автомобильного «доктора», перемазанного маслом гаражного работяги, от которого за версту несет бензином и маслом. На замусоленные доллары, которые он приносит домой, можно едва сводить концы с концами.

С тех пор как Джорджи открыл гараж, он изменился. Это уже не тот Джорджи, что был прежде. Он не смеется, ему никуда не хочется пойти, дома его не бывает. День и ночь он в своем госпитале, его обычно видят растянувшимся на земле под машиной, он чинит моторы. Домой он возвращается поздно, когда Роуз уже спит. Ни выходных у него нет, ни праздников. Роуз повсюду ходит одна, как вдова. Все ей сочувствуют, и вправду есть чему посочувствовать. Джорджи всегда возвращается домой усталый. И даже когда в нем ненадолго просыпается прежний Джорджи и он обнимает Роуз своими большими сильными руками, она не может находиться с ним рядом. Запах бензина и масла въелся в его кожу, ничем его не вытравишь. Роуз тошнит от этого запаха, ей от него плохо. Ко всему прочему, Джорджи так занят машинами, что его больше ничего на свете не интересует. Машины для него всё, они ему дороже дома и жены. Ради машины он продал бы отца и мать. И работая, вкалывая день-деньской, он даже не зарабатывает на то, чтобы жить как люди. Другие бы при такой работе как сыр в масле катались; они бы, сделав дело, шли себе гулять, свободные, нарядные. Глупый Джорджи горбатится наравне с черным, которого он держит. Но того, что он зарабатывает, не хватает: не на что было бы вести хозяйство по-человечески, если бы не помощь родителей.



Роуз частенько думает обо всем об этом, сидя одна в квартире, которую она украсила всякими подушечками, безделушками, вазочками и разноцветным стеклом. Она считает свою жизнь проигранной, даже ее дети, двое мальчиков, не утешают ее в этом проигрыше. Правда, дети у нее рослые, здоровые и веселые, но они точно такие же дикие, необузданные, каким был их отец, когда она впервые увидела его. Они шумят, дерутся, переворачивают весь дом, со всеми безделушками и красивыми вещами, вверх дном, проказничают, и еще они хотят есть, весь день ели бы. У Роуз нет на них сил. Она слишком маленькая и слабая для этих чертенят. Она не может уследить за ними, не может наготовить им столько, сколько они могут слопать. И она затыкает им рты «франкфуртерами»[\[63\]](#), которые продаются готовыми, их не нужно готовить. Чтобы избавиться от детей, она посылает их к отцу, в его гараж, который им так нравится. Там они присматриваются к машинам, к людям, к отцовской работе. Отец их любит, этих двух рыжих мальцов. Посреди работы на него вдруг находит такая любовь к рыжеволосым паренькам, что он вытирает руки об оверолс и поднимает их вверх, над головой, одного за другим.

— Кем вы станете, бойз, когда вырастаете? — спрашивает он их, точно так же, как его отец когда-то спрашивал его, Джорджи, когда тот был мальчиком.

— Механиками, — отвечают они сразу, — как ты, па.

Джорджи смеется от удовольствия, показывая все свои крупные зубы. Они его любят так же, как он любит их. Он не гонит их домой. Ему нравится видеть две рыжие головки, когда он лежит под машиной и работает.

Между тем Роуз проводит свободное время у своих подруг, которые были умнее ее и вышли замуж за докторов и адвокатов, как хотели их родители. Она играет в карты, болтает о платьях и бегаёт по департамент-сторс[\[64\]](#): ищет скидки или выбирает платья, которые не покупает, а просто примеряет ради удовольствия.

В гараж она приходит редко, только раз в неделю, по воскресеньям. Она приходит не просто так. По выходным доктор Стоун пригоняет свою машину в госпиталь к Джорджи для осмотра. По правде говоря, у него дорогая машина, за две тысячи долларов, которую он получил на свою свадьбу после того, как Роуз оставила его с носом. Но даже лучшую машину не плохо время от времени осматривать. Так что каждое воскресенье, прежде чем отправиться на загородную прогулку, доктор Стоун заезжает в госпиталь к Джорджи и говорит ему, улыбаясь:

— Док, я пришел на осмотр...

Всякий раз он снова радуется своей шутке.

Джорджи осматривает мотор и произносит почти всегда одно и то же:

— О'кей, док... Хорошая машина, очень хорошая...

Доктор Стоун просит залить бензин, воду, подкачать колеса. Пока перепачканный маслом, перемазанный Джорджи заливает бак его сверкающей машины, в которую можно смотреться, как в зеркало, доктор Стоун ведет тихую беседу со своей бывшей приятельницей, которая променяла его на Джорджи. Он знает, что она сожалеет об этом. Очень сожалеет. И это доставляет ему удовольствие.

– Well[65], – говорит он, злобно ухмыляясь из-под своих черных усиков, – как дела, dear Rose?

– Не очень, доктор, – отвечает Роуз, – с тех пор как я вышла замуж, мне не по себе... Все время что-нибудь беспокоит...

– Хм, приходи ко мне на прием, Роуз, – говорит доктор Стоун профессорским тоном, – посмотрим, что мы сможем сделать...

Как все крупные профессора, он говорит о себе во множественном числе.

Джорджи нежно протирает дорогую машину, полирует стекло и подает доктору Стоуну счет. Доктор Стоун рассеянно платит за все и не хочет брать несколько центов сдачи, которые ему причитаются.

– О'кей, Джорджи, – говорит он громко, чтобы слышала Роуз.

Джорджи краснеет и не может отказаться.

– Thanks, doc[66], – бормочет он, хотя эти несколько центов жгут ему пальцы.

Довольный доктор Стоун, гордый и своей дорогой машиной, и своей успешной практикой, и тем, как он элегантно выглядит в сравнении со своим соперником, перепачканным и перемазанным, заводит машину и важно уезжает.

– Бай-бай, Роуз, – говорит он из-за опущенного стекла, – приходи ко мне на прием, посмотрим, что мы сможем сделать...

Роуз смотрит ему вслед и о чем-то вздыхает.

– G-d![67] – шепчет она и с ненавистью смотрит на своего долговязого мужа. – Как хорошо было бы поехать вот так за город на прогулку. Такая чудная погода...

– Yeah[68], чудная погода, – соглашается Джорджи, возясь с мотором больной машины.

Выхлоп барахлящего мотора отравляет чистоту и свежесть чудесного летнего дня.

Перевод с идиша Игоря Булатовского и Валерия Дымшица

[1] Î ò áí äë. «store» – ëàâëà

[2] Ðàëíí Î áí õý ò ò áí à (Í üþ-Éíðë), ää à á í äðäë é í í ëí äë í á ÕÕ ääëà ðäëëëëííí áääí üá ääðäë-ëí í ëäðäí òü.

[3] Î ò áí äë. «bicycle» – ääëíîëí ää

[4] Ääëëà í à ëäëðá – «äíðëë».

[5] Î ò áí äë. «movie» – ëëíí ò ää ò ð

[16] Çàòéí è ò àí ã, æóí ú á ääâ: í í èè! (àí ã.)

[17] Ðúæ è è Áæ í ð ä æ è, ðúæ è è Áæ í ð ä æ è! (àí ã.)

[18] Áâðæ - áúôíäöú è ç Êè ò âú è Áæ í ð ú ñ è.

[19] Î ò àí ã. «boys» - í æü:- è ø èè.

[10] Áæ í ð ä æ è, jé, Áæ í ð ä æ è, äðæü è í ! Ñì äðòú äâðæ÷ è è àí è è ò à æüý ø è àí (áóéâ «ðæ è àí » è «í æ äðí í í è è àí »)! (àí ã.)

[11] Î ò àí ã. «overalls» - ðááí÷ è è ê í æ í á í í.

[12] Î ò àí ã. «dollar» - äí è è äð

[13] Î ò àí ã. «missis» - ñúäðú í ý.

[14] Î ò àí ã. «junk» - í áò à è è í è í í.

[15] Î ð ä ä ä ö ú (àí ã. - è æ è ø).

[16] Ê í á: í í, í à í à (àí ã.).

[17] Ê í á: í í, í à í à, äí è ò í ð (àí ã.).

[18] Î ò àí ã. «school» - ø é í è à

[19] Á í ð è æ í æ á ý è ñ ê í à à í ð è ä ä ä í ú í í - ð ú ñ è.

[20] Î ò àí ã. «fun» - í í ò äðà

[21] Î ò àí ã. «trouble» - í áí ð è ý ò í í ñ ò ú

[22] Á ÷ ò í í á ò æ ñ ó àí è è è æ, í à í à? (àí ã.)

[23] Î ò àí ã. «Europe» - Á ä ð í í à

[24] Î ò àí ã. «prize-fighters» - í ð í ó á ñ è í í æ ü ú á á í è í ä ú (àí ã.).

[25] Î ò àí ã. «motorman» - ø í ó äð

[26] Î ò àí ã. «dime» - í í í á ò à á ä ä ý ò ú ó á í ò í á

[27] Î ò àí ã. «laundryman» - æ ä ä ä æ ä ò í ð à: á: í í é.

[28] Î ò àí ã. «gangs» - á á í ä ú.

[29] Î ò àí ã. «boy» - í æ ü:- è é.

[30] Î ò àí ã. «public school» - í à: æ ü ý ä ý ø é í è à

[31] Î ò àí ã. «job» - ð á á í ò à

[32] Î ò àí ã. «customers» - è è è á í ò ú.

[33] Î ò àí ã. «cars» - í à ø é í ú.

[34] Ê ÷ ãðòó è í æ á í ãðí í á ääëí (ái æ).

[35] Î ò á í æ. «track-drivers» - ãí æ è ò á æ è ãðçí æ è í á

[36] Î ò á í æ. «church» - ò á ð é í äü

[37] Î ò á í æ. «sweetheart» - ë þ á è í äý.

[38] Î ñ ò í ð í æ í í, äí ð í äý (ái æ).

[39] Ñ è á í ú á ë þ á è, Ð í óç (ái æ).

[40] Ç ä ð á ñ ò á æ è ò á (ái æ).

[41] ß ò á è ð á ä ä, í á (ái æ).

[42] Â ÷ äí ääëí? (ái æ)

[43] Í è ÷ ä ä, í á (ái æ).

[44] Ò ü äí ð í æ è, ë þ á è í ú é (ái æ).

[45] Õ á í ò ð á è ü í äý ÷ äñ ò ü Î á í ö ý ò ò á í á

[46] Á ð á ò á È ä ð í æ è í á (é äí) - í á ç ä í é á, ò è í è ÷ í í á äý ð á ò í ð í è ñ ò ñ è è è ó ä æ í æ è è é í í ä ä ä ñ è è á Ñ Õ Ä.

[47] Í ð á ä í ä ä ò á è ü äí ä ð è é á í æ í é ð á ò í ð í è ñ ò ñ è é è ó ä æ í æ í é í á ü è í ú.

[48] Í ð è ä á ò, äí ð í äý (ái æ).

[49] Õ ä ä ò è ò, äí é (ái æ).

[50] Í í é ä äí - é ä, äí ð í ä ä ò á (ái æ).

[51] Õ è ä ý (ái æ).

[52] Ê í í á ÷ í í, äí ð í ä ä ò á (ái æ).

[53] Î ò á í æ. «nickel» - í í á ò á á í ý ò ü ò á í ò í á

[54] Î ò á í æ. «licens» - ð á æ ñ ò ð á ò è ý á ð á è á

[55] Î ò á í æ. «junk-dealer» - ò í ð ä ä ä ò í á ò á è é í é í í í.

[56] Í í ò á è äí í! Á ð í äý äí! (ái æ)

[57] Î ò á í æ. «tramp» - á á ç ä í í í ú é, á ð í äý äí.

[58] Ç í æ è ò á í á ý Á æ í ð ä æ è (ái æ).

[59] Á á ò í í í á è è ü í äý á í è ü í è ò á Á æ í ð ä æ è (ái æ).

[60] Î ò á í æ. «good boy» - ö í ð í ò è é í á è ü í è é

[61] Î ò á í æ. «body» - í ð è ý ò á è ü

[62] *Í ò àí æ. «ice-box» – õĩẽĩæëĩĩ èê.*

[63] *Ñĩñẽñã á ò ãĩ ò á, õĩ ò - ãĩ ã*

[64] *Í ò àí æ. «department store» – óĩ è á ã ò ãĩ èĩĩ ù é ì á ã ã è í.*

[65] *Ê ò à ê (àí æ.).*

[66] *Ñĩ ã ã ã á í, ãĩ ê (àí æ.).*

[67] *Á - æ á í (àí æ.)*

[68] *Á à (àì á ò àí æ.).*

ЛЕХАИМ АВУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ИСПАНСКИЙ ЖЕНИХ

Daí à Bẽĩãõëãũ

Во всем был виноват летчик-орденоносец, прилетевший в отпуск. Ребята со всей улицы сбегались посмотреть на знаменитость. Каждого он угостил конфетами и подержал на коленях. Славка тоже заявила. Получила порцию сладостей и обняла героя за шею. Тот погладил ее по голове, но вдруг отдернул руку и сбросил с колен.

Славка заплакала и заковыляла к двери.

– Не реви! Ты ведь взрослая, – вернул ее летчик, не зная, как исправить оплошность и утешить странное существо ростом чуть более метра.

Он придумал. Но лучше бы этого не затевал...

Издали она казалась девочкой лет десяти: короткая косица с голубой лентой, юбка в клетку, высокие ботинки на шнурках.

Никто точно не помнил, откуда взялась Славка. Рассказывали, что ее ребенком нашли на базарной свалке, в корзине. Другие уверяли, что сверток с грудным младенцем подбросили в крестьянскую подводку цыгане. Но на смуглых таборных цыганок девочка не походила – была белокожа, голубоглаза, с непомерно высоким лбом. Вспоминали, что найденыша взяли в дом Малкины – скорняк Янкель и портниха Этл. Ходили слухи, что принятая девочка вовсе не подкидыш, а дочь их дальней родственницы. Она-де согрешила в городе, подбросила несчастное дитя и исчезла. Но кое-кто утверждал, что непутевая мать махнула в Америку с каким-то авантюристом.

Славка росла с другими детьми Малкиных, но не вырастала. Ее сестры повыходили замуж и родили детей, а она в свои двадцать пять осталась похожей на ребенка.

– Наказанье Г-сподне! – шушукались соседи. – Дитя греха.

– Чадо-то нежеланное, мать, видно, истребляла его в чреве и повредила. Родила черт-те что, – строили догадки.

– Тайну уродства и ученые еще не разгадали, – вздыхали сердобольные.

Славка не была в доме обузой. Помогала по хозяйству, нянчила детей, ходила на рынок. Но с трудом могла угнаться за расшалившимся малышом, дотянуться до чугунка на печи.

У портнихи Этл в комнате стояло большое зеркало. Когда примерки кончались, Славка забиралась на табурет и разглядывала себя с пристрастием.

– Я не горбунья! Не хромая. Все на месте: руки, ноги, голова. Лицо хорошее. А волосы всем на зависть: выются и пушистые, как золотая кудель.

И все-таки ее точила обида: я не такая, как все.

– Ошибка Б-га! – услышала она однажды за собой сочувственный шепот.

Может, и впрямь небесный Ваятель просчитался. Сваял дурака. Или просто поспешил на материал и сотворил дитя не по канонам. Поспешил и забыл про законы соразмерности: получилась голова взрослого, а туловище как у ребенка – короткое. Понемножничал Творец, и живи теперь на белом свете, Г-сподня аномалия, мучайся!

В детстве она не сознавала своей ущербности, пока сестра Аня случайно не сказала:

– Славка похожа на куклу! – И бросила на пол сшитое неумелыми руками тряпичное чучело, набитое соломой. Мать дала Аньке шлепка, а Славка затаилась.

Соседи и вся улица маленького белорусского городка к девочке-карлице привыкли. Зазывали в гости, выносили пряники и яблоки. Но едва та оказывалась на чужой улице, мальчишки бросали в нее камни и улюлюкали: «Уродка! Недомерок!» А однажды натравили на нее собак. Славка прибежала, запыхавшись, домой, вытащила ржавый серп, которым на ночь закрывалась калитка, и проковыляла в глубь двора. Там она решила, когда стемнеет, убить себя. Вечером в темноте зловеще квакали лягушки и в траве что-то шелестело. Девочка испугалась и оружие – серп – бросила в пруд.

Мало что сознавая, Славка боялась смерти. Узнав, что родная мать ее, вероятно, умерла, она убегала на кладбище и бродила среди могил. Если на улице случались похороны, она выскальзывала из дому и пристраивалась к похоронной процессии. Всякий раз ей казалось, что она идет за материнским гробом! В отличие от людей с врожденным изъясном, Славка не была замкнутой или злопамятной. Напротив – улыбчивой и простодушной. Завидит знакомого, просияет и идет навстречу, раскрыв объятия.

– Побудь с моим ребеночком, подшей сарафан, – просили ее соседки. Славка была безотказна. Часто сидела с малышкой, рассказывая сказки и бесхитростные истории. Дети, особенно девочки, считали ее равной себе, подругой.

В доме ей поручалось принимать бедных. Те обычно являлись по пятницам после захода солнца: Юдка Шлепер^[1] – костлявый, босой, две сумки через плечо. Всегда сплетничал:

– Ваш хозяин с девками гуляет!

Голох Питкес^[2] шаркал ногами, гудел, ухал и свистел, изображая паровоз.

Полуслепая Сореле приводила с собой лохматых золотушных девочек и молча подставляла корзину.

Нищие рассаживались по табуретам, а Славка раздавала гостинцы: халы с маком, рулеты с корицей, груши и остатки ужина.

В школу девочка не ходила, но выучилась читать и считать на счетах.

– Занятие бы ей какое найти! – скреб в затылке Янкель. – Скорняжное дело – не женское. Да и времена какие... Раньше выделывал и шил лисьи горжетки, муфты или пелерины из куницы. Благородный мех. А сейчас «ушанки» да тюбетейки для комсомолии... Какой тут интерес. Может, шитью обучить ее...

Но Славка хмурилась: «Не стану портнихой. Хочу в Польшу. На шляпницу учиться».

– Варшава далеко, а мадам Гершензон – рядом, – нашла компромисс Этл.

В шляпной мастерской поначалу Славка выметала мусор: клочки меха, обрезки шелка, нитки. Перетаскивала «болванки», подносила мастерицам влажный фетр. Те постепенно обучили новую работницу ремеслу. По вечерам, когда никто не видел, она примеряла перед зеркалом шляпы заказчиц. Но ни бархатные тюрбаны, ни каракулевые береты, ни кокетливые шляпки с вуалетками на Славкину голову не надевались.

– Вот вам! – сбрасывала она на пол шляпы и топтала их ногами.

Мишурное царство атласных лент, булавок, сверкающих бусин не покорялось. Женское счастье карлице было не по размеру. Короткие пальцы, державшие иголки, оказались недостаточно проворны, тяжелые ножницы выскальзывали из рук. К тому же однажды Славка свалилась с высокого кресла и разбила лицо.

– Забери своего шлимазла^[3], – с грустью привела мадам Гершензон Славку к матери, всю в следах от зеленки и йода.

– Не буду нахлебницей, – обиделась изгнанная из шляпного рая.

– Я пошла бы в кассирши или в аптекарши: сидишь на стуле – в окошке только голову видно... Или на чулочную фабрику. Там весело. Вечером клуб открыт. Кино показывают. Хороших работников путевками награждают в Сочи или в Москву.

Славка никогда не видела ни моря, ни столицы. Но это несбыточная мечта: ведь ей не дотянуться до станка...

– Давайте отдадим сестрицу в цирк! – удумала Анна.

Но Этл разозлилась на дочь:

– В цирк берут лилипутов, а карликов – редко.

– Что опять за спор? – вмешался Янкель. – Девушке нужен заработок, живая копейка! Найдите ей занятие по силам. Думайте! Или зачем вам головы?

«Какой еврей без перины? Какая невеста без приданого – пухового ложа любви? И пары подушек?» – так подумало семейство Малкиных, и страдальцу отдали в артель.

Она бродила по берегу озера и ждала, пока, наплававшись, выйдут из воды гуси. Выйдут переваливаясь, стряхнут с себя влагу, и вместе с брызгами полетят в песок и прибрежную траву перья и пух. Славка собирала пуховый мусор в мешок и сдавала швеям. А те вскоре научили делать ее перины и подушки. Теперь, когда на малкинской улице намечалась свадьба, матери невест радостно оповещали:

– Идем к Славке! Перину заказывать.

Почему-то считалось, что у маленькой мастерицы легкая рука. Поэтому Славку приглашали и на свадебные праздники, отводя особую роль. Пока женихи и невесты проходили под хупой^[4], а гости поедали праздничные блюда, Славка важно восседала во главе другого большого стола на высоком стуле. Она принимала подарки: складывала коробки, свертки, узлы и букеты. Ничто не ускользало от бдительного взгляда хранительницы: ни столовое серебро, ни подстаканники с гравировкой, ни миниатюрные ложечки для мороженого. Отдельно возвышались чайные и обеденные сервизы. Белели стопки скатертей и пододеяльников. В эти краткие часы Славка ощущала себя важной персоной – владелицей сокровищ. Она сидела за большим столом в белой матроске с голубой лентой в короткой косице, похожая на малолетнюю принцессу. Девочка-талисман.



Бывало, гости, разгоряченные угощением и танцами, спускались к Славке просто поболтать. А как-то мороженщик Арон Шуберт, не остывший от фрейлехса^[5] и краковяка, подлетел к ней:

– Фейгеле[6], танцен, танцен!

И не успела Славка отмахнуться, как кавалер сгреб ее в охапку и закружил. Она обхватила руками его шею, боясь упасть.

– Спусти на землю! – завизжала растерявшаяся Славка. Но страх вдруг улетучился, а осталась непонятная радость.

Она любила праздники.

Перед Пейсахом улица пахнет жареными шкварками. Все еврейские дома готовятся к праздничной трапезе. А Славка первая мастерица откармливать гусей. Сидит хозяйка в кухне, крепко прижав к себе птицу, а Славка-помощница раскрывает гусине клюв и проталкивает мучные катыши.

– Глотай, гуска, жирной будешь! – приговаривает, нежно массируя гусиную шею. – Скоро гости!

Праздники Славка любила с детской безоглядностью, и взрослые не лишали ее иллюзий. Она получала в подарок ханука-гелт[7], орехи, засахаренные фрукты. В Пурим ее вместе с детьми сажали в пролетку и катали по городу. Грива и хвост у лошади разукрашены цветами и бантами, бубенцы звенят. Сидит Славка барыней, а отец спрашивает:

– Мороженое хочешь? А ситро? Может, мармелад? Ландрин?

Праздники кончаются, а Славка, навсегда застрявшая в детстве, ждет следующих. Она наденет новое платье... Платьев у нее полно. Из посылок. На ее имя приходят ящики – из Америки. Кто таинственный благотворитель, точно неизвестно. Говорят, дядя-миллионер или бездетная дальняя родственница. Но по самым упорным слухам, благодетель этот – беспутная мать Славки, бросившая когда-то родное чадо на произвол судьбы. В посылках обычно была одежда и деньги. Заграничные платья кое-как скрывали изъяны Славкиной фигуры, а доллары она отдавала Этл. Та складывала их в сундучок: на приданое Славки. Однако женихи не толпились, и сосватать ее могли только разве вдовцу с оравой ребятишек. Претенденты были малочисленны и незавидны.

Извозчик Мейлах всегда с хлыстом. Пахнет от него лошадьми и водкой.

Кузнец Борух угрюм, груб, и уши торчат как у волка.

Но оба воротили носы: невеста – чертова кукла. Какая из недоделанной жена?

Да и Славке такие партии ни к чему.

Вот мороженщика Арона Шуберта она бы не отвергла. Еще девчонкой бегала к нему за вожделенным лакомством. Тогда он казался веселым фокусником: погружал в банки-цилиндры длинную ложку, извлекал белую прохладную массу, и формочки сами выталкивали мороженое-тюбик.

— Держи, детвора, чудо в вафлях!

Славка думала, что жизнь с таким человеком – сплошной праздник.



Ей снился сон: жаркий летний день. Арон Шуберт катит по улице голубой ящик на колесах. А за ним шествует важная Славка, держа за руки его деток: Мулика и Блюмку. И все вместе они выкрикивают:

— Кому мороженое? Ванильное, шоколадное, земляничное!

Но сон не сбывся. Коварный мороженщик Шуберт не доехал до невесты, а привез себе из города жену ростом с водонапорную башню. Потом продал голубую повозку и укатил в Оршу. Славка погоревала и перестала мечтать. И в этот миг нелегкая принесла летчика Моисея Рубинчика, который заморочил ей голову, лишив покоя.

Позже он корил себя за грубость, за то, что не смог отличить карлицу от ребенка, и причинил боль незащитной. В сердце отважного героя жило сострадание: если нельзя исправить ошибку природы, то надо дать надежду...

Славка стояла перед обидчиком и вытирала слезы рукавом матроски.

— Не реви! Сядь! – заговорил он. – Каждому человеку полагается счастье, твое еще не пришло.

Славка придвинула скамейку и села рядом.

— Когда я воевал в Испании, у нас в эскадрилье был один борт-штурман...

Славка рассеянно слушала рассказ про чужую удачу. От летчика пахло кожей, одеколоном и табачным дымом, а Славке казалось, что это запах счастья. Она протянула руку и погладила ремни портупеи. Рубинчик улыбнулся и осторожно снял ее ладонь. Его осенило. Он вспомнил, как в Мадриде, во время передышки между боями, переводчица

повела его экипаж в музей. На полотнах старых художников он увидел рядом с королями карликов и карлиц, облаченных в золото и бархат. В них не чувствовалось ущерба. Напротив, лица их были исполнены достоинства и благородства.

– Послушай! – он обнял Славку за плечи. – Я расскажу тебе об Испании.

Славка слушала про старинные замки, про бой быков и бесстрашных тореадоров. И про прекрасных испанок с веерами и кастаньетами.

«Зачем мне это летчик рассказывает? – недоумевала она. – Лучше бы разрешил потрогать орден на гимнастерке».

Но тут Рубинчик поведал главное, от чего Славка задохнулась.

Оказывается, в стране Испании часто рождаются маленькие люди, подобные Славке. Особенные. Мужчины и женщины. Их никто не смеет оскорбить. Никто вслед не крикнет: «Уроды, головастики!» А в старые времена короли назначали их советниками. А маленькие женщины считались наперсницами инфант – испанских принцесс.

– Я не верю тебе! – мотала головой Славка, потрясенная услышанным.

– Клянусь мамой! – приложил руку к сердцу рассказчик. – Приходи завтра! –

Он выпроводил девушку и на следующий день предъявил ей доказательство.

– Покажи картинку! – вырвала она из рук летчика журнал с цветной репродукцией.

– Смотри! – Рубинчик поднес иллюстрацию близко к Славкиному лицу.

Она глядела во все глаза: рядом с королем и королевой стоял маленький человек, похожий на Славку. Но она не замечала ни его коротконогости, ни непомерно крупной головы. Человек был прекрасен, горделив, статен и по праву приближен к коронованным особам.

– Вот какой мне послан Б-гом жених! – Славка почувствовала укол прямо в сердце.

Давно уж улетел из городка летчик Рубинчик, а Славка только и думала о предназначенном суженом.

Однажды она созвала девчонок из соседних домов и торжественно объявила:

– У меня есть жених!

– Врешь! Где же он? – не поверили подружки.

– Он живет далеко. В Испании. В горах. Там целые города, где живут маленькие люди. Особая порода.

– Такого не бывает! – засомневались девочки.

– Клянусь мамой! – Славка скрестила на груди руки и вытащила из кармана помятую репродукцию. – Гляньте! – ткнула пальцем в изображение: с бумажного листа смотрели карлики и карлицы, сверкающие золотом и драгоценностями. Неотличимые от королевских особ, величественные и загадочные.

– Дурочка ты, Славка! – пожалели наивную не по годам разумные подружки. – Эта картинка из старинной жизни...

– Дослушайте! – Славка от досады сжала кулаки. – Мой жених точь-в-точь как тот, с королем. У него сейчас, конечно, другой костюм. Но зато золотая цепь и часы.

– На чем же он к тебе из Испании явится? – откровенно хихикали девчонки.

– На эроплане! – с вызовом ответила невеста.

Ей хотелось, чтобы любимый походил на летчика Моисея Рубинчика, заронившего в сердце сладостную мечту. Поэтому, когда насмешницы спросили, как зовут испанского жениха, она ответила:

– Его зовут Мойше-Хуан! Имя у него двойное. С подкладочкой...

Славке теперь не нужен был ни один вдовец, ни даже мороженщик Арон Шуберт.

Взрослые отмахивались от ее рассказов об объявившемся женихе:

– Балаболка. Совсем рехнулась дурья башка!

А малолетние подружки, веря и не веря, обступали Славку:

– Скажи, отчего только в Испании твое племя?

– Особая земля. И небо.

– А какие у этих жителей города? – не унимались ехидны.

– Небольшие. Дома невысокие. Без всяких лестниц. А собаки там добрые...

- А дети у маленьких людей рождаются?
- Да!
- Когда же твой Мойше-Хуан наконец прибудет? – не верившие поначалу, теперь они ожидали пришествия мифического суженого.

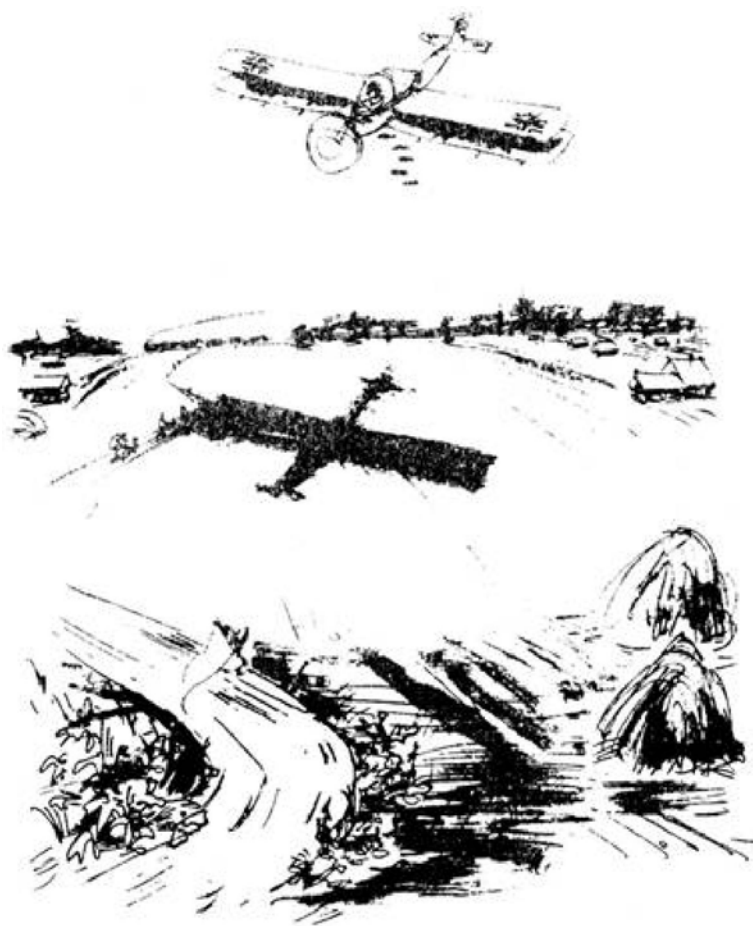
А у Славки сердце настороже:

- Не пропустить бы! Встретить!

Она идет на окраину, вскарабкивается на высокий холм с развалинами старинного ливонского замка и долго смотрит вдаль. Потом разводит руки в стороны и обнимает небо.

Ей приснился аэродром. Самолеты взлетали и садились. Из кабины вышел летчик, статный, в шлеме, куртке и кожаных перчатках. Он лихо раскрутил пропеллер и скомандовал:

- Взлет!



Самолет был легкий, небольшой, под стать пилоту. И Славка узнала героя. Проснувшись, она вздрогнула:

- Сон-подсказка. Заморский суженый вот-вот нагрянет.

Одевшись, кое-как зашнуровав ботинки, она почти побежала на базар и в лавках купила медный гребень, веер из розового целлулоида и шелковую шаль. Потом спешно перебрала перину – пушинка к пушинке – и у мадам Шапиро заказала наволочки из батиста с прошвами и кружевом.

Каждое утро она отправлялась в ближний лес и приносила корзинку ранней земляники. В лихорадочном ожидании испанского жениха Славка не расслышала раскатов канонады.

– Очнись! Война! Немцы войдут в город. Надо уходить! – трясли за плечи зачарованную невесту домочадцы.

Она собрала узел. Кинула его на повозку. С нею рядом в толпе шли мать Этл и сестра Анна. Лошадь еле тянула скарб. Едва беженцы миновали лес, началась бомбежка. Люди в панике бросались на землю. Но Славка не понимала людского страха: в небе парили невиданной красоты стальные птицы.

Славка стояла как вкопанная, зачарованная их мощью и величием. Штурмовики шли низко, так что Славка видела тень крыла, кабину и приближающееся лицо летчика.

Она почти задохнулась от счастья: знала, что дождалась, но не произносила заветного имени. Просто в немом восторге раскрыла руки для объятий, словно хотела сказать: «Я здесь! Не ошибись!»

Штурмовик шел совсем низко, на бреющем полете, девушка не успела даже вскрикнуть.

Все люди вокруг нее гибли, испытывая предсмертный страх и ужас. Только карлица Славка, так ничего и не поняв, приняла свою смерть с восхищением.

[\[1\]](#) *Í áíðáí áö (èäèø).*

[\[2\]](#) *Éóðí íñé (èäèø).*

[\[3\]](#) *Í áö áö, íáíðáí, íáíðáí íñé (èäèø).*

[\[4\]](#) *Ááðéñéé ñáíí íé íáöä*

[\[5\]](#) *Ááðéñéé òáí áö (èäèø).*

[\[6\]](#) *Í òè-éà (èäèø).*

[\[7\]](#) *Ááíñé, ííáðáí íúá ááöyi á-áñöí íðáí ééà Óáí óéà*

НА ПОКОЕ

Ààdī àdā ī àēàī àā

В последнее время он снова стал учить греческую грамматику, за которую не брался лет пятьдесят. Он читал Булфинча [\[1\]](#) и хотел перечитать «Одиссею» по-гречески. Жизнь его переменилась. Теперь он спал меньше, по утрам вставал и глядел на небо над парком Грамерси. Он подолгу разглядывал облака, ища в их очертаниях пищу для воображения. Ему нравились странные призрачные корабли, нравились мифологические птицы и животные. Он заметил: если глядеть на причудливые формы облаков и сосредоточиваться на них, утренняя депрессия отступает. Доктору Моррису исполнилось шестьдесят шесть, он был врачом-терапевтом, но два года назад отошел от дел. Он закрыл свою практику в Квинсе и переехал на Манхэттен. Работу он бросил после сердечного приступа, не слишком серьезного, но все-таки. Это был первый и, он надеялся, последний приступ, но смерти он желал себе быстрой. Жена его умерла, дочь жила в Шотландии. Дважды в месяц он ей писал, дважды в месяц получал письма от нее. Друзей, к которым он захаживал в гости, у него было немало, медицинские журналы он читал регулярно, по театрам и музеям тоже ходил, однако большую часть времени он боролся с одиночеством. Его беспокоило будущее – будущее, которое принадлежало старости.



После легкого завтрака он одевался потеплее и шел на прогулку по площади. Это была самая простая часть моциона. На прогулку он шел и в стужу, и в проливной дождь, и даже когда все заметало снегом и идти надо было очень осторожно. Пройдя площадь, он переходил улицу и шел – высокий, в плаще, с палкой – к Ирвинг-плейс, где покупал «Таймс». Если погода была не слишком плохая, он направлялся дальше – по Четырнадцатой улице до Парк-авеню и по Восточной Двдцатой к узкому высокому зданию белого кирпича, в котором жил. В последнее время он изредка отправлялся в другом направлении, впрочем, во время долгих прогулок он непременно хотя бы однажды останавливался – у магазина посреди квартала или на углу – и спрашивал себя, куда бы еще пойти. Это была самая трудная часть прогулки. Трудность заключалась в том, что ему было безразлично, куда идти. Теперь он жалел о том, что бросил практику. Отойдя от дел, он стал острее ощущать свой возраст, а ведь шестьдесят шесть – это еще не восемьдесят. Однако это уже старость. И порой на него нападала тоска.

Однажды утром, пройдя под дождем весь маршрут, он нашел в холле, на резиновом коврике у почтовых ящиков, письмо. Холл был узкий и темный, с зелеными

колоннами под мрамор, там стояло несколько громоздких кресел, в которых редко кто сидел. Входя в дом, доктор Моррис встретил молодую длинноволосую женщину в белом плаще, с бордовой сумкой через плечо и с прозрачным зонтиком под мышкой – она как раз спускалась вниз. Собственно говоря, он даже придержал ей дверь, и его обдало дерзким ароматом ее духов. Ему показалось, что раньше он ее никогда не видел, и ему вдруг захотелось узнать, кто это. Позже он представлял себе, как она вынимает письмо из ящика, быстро его просматривает и сует в висящую на плече бордовую сумку; но в сумку она сунула только конверт, а не само письмо.

Оно же упало на пол. Все это он представил себе, когда наклонился, чтобы его поднять. Это был сложенный лист плотной писчей бумаги, исписанный мужским почерком, черными чернилами. Доктор развернул его и взглянул на письмо, но не разглядел ни обращения, ни самого текста. Надо было бы надеть очки для чтения, но он подумал, что Флаэрти, консьерж, если вдруг лифт спустится, это заметит. Конечно, Флаэрти может решить, что доктор читает свою корреспонденцию, но только он никогда не читал ее прямо здесь, в холле. Ему совсем не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто он читает чужое письмо. Он было собрался отдать письмо консьержу и описать ту молодую женщину, которая его обронила. Или самому его вернуть? Но доктор по какой-то еще непонятной ему причине сунул письмо в карман – чтобы прочитать наверху, дома. Рука его задрожала, а сердце забилось в таком ритме, что он забеспокоился.

Доктор вынул из ящика свою корреспонденцию – всего лишь несколько медицинских проспектов, – и Флаэрти отвез его на пятнадцатый этаж. Флаэрти сменял ночного дежурного в восемь утра и работал до четырех часов дня. Это был мужчина лет шестидесяти, с редкими седыми волосами, окаймлявшими лысину. Ему сделали две операции и удалили левую часть челюсти. Несколько месяцев он отсутствовал, а когда вернулся, нижняя левая сторона лица была словно стесана; и все же лицо его оставалось по-прежнему привлекательным. Консьерж никогда не упоминал о своей болезни, но доктор понимал, что рака челюсти ему не вылечили, сам он об этом не заговаривал, однако догадывался, что Флаэрти мучается сильными болями.

На этот раз он, хоть и был занят своими мыслями, все же спросил:

- Как дела, мистер Флаэрти?
- Помаленьку.
- Денек выдался неплохой. – Сказал он это, думая не о дожде, а о письме, лежавшем в кармане.
- Просто чудный, – хмыкнул Флаэрти. Обычно он и говорил и двигался очень живо и всегда проверял, прежде чем выпустить пассажиров, доехал ли лифт до этажа. Иногда доктор думал, что надо бы побольше с ним разговаривать, иногда – но не в это утро.

Он стоял в свете пасмурного февральского дня у большого окна гостиной, выходящего на площадь, и с приятным волнением читал найденное письмо, оказавшееся именно тем, чего он и ожидал. Это было письмо отца к дочери, «Дорогой Эвелин». Начало было довольно мягким, но дальше отец строго корил дочь за ее образ жизни. Заканчивалось письмо выдержанным в менторском тоне советом: «Ты столько времени спала с кем попало! Не понимаю, что ты находишь в такой жизни. По-моему, ты испробовала все, что только возможно. Ты считаешь себя серьезным человеком, однако

позволяешь мужчинам использовать себя так, как им заблагорассудится. Ты толком ничего от этого не получаешь, разве что сиюминутное удовольствие, а вот они наверняка гордятся тем, как легко получили свое. Я-то знаю, как они к таким вещам относятся, как наутро обсуждают это в сортире. Настоятельно советую тебе задуматься о своей жизни. Хватит экспериментировать! Прошу тебя, умоляю, требую: постарайся найти человека положительного, состоявшегося, который возьмет тебя в жены и будет относиться к тебе как к личности, которой, уверен, ты и сама хочешь стать. Мне тяжело думать о том, что моя дочь стала чуть ли не проституткой. Возьми себя в руки, последуй моему совету, ведь двадцать девять – это совсем не то, что шестнадцать». И подпись: «Твой отец», а внизу приписано аккуратным мелким почерком: «Твоя неразборчивость меня пугает. Мама».

Доктор спрятал письмо в ящик стола. Волнение ушло, теперь он стыдился того, что прочитал письмо. Он сочувствовал отцу, но одновременно сочувствовал и молодой женщине, впрочем, ей меньше. Чуть погодя он попробовал заняться греческой грамматикой, но не мог сосредоточиться. Он открыл «Таймс», но перед глазами по-прежнему стояло письмо; оно весь день не шло у него из головы: не пробудило ли оно в нем некие смутные надежды? Отрывки из письма то и дело всплывали в памяти. Эта женщина жила в его воображении – такой, какой он представил ее после прочтения отцовского письма, такой, какой он видел ее, – точно ли это была Эвелин? – когда она выходила из дома. Он не знал наверняка, ее ли это письмо. Может, и нет; но все же он думал, что письмо написано ей, той женщине, которой он придержал дверь и аромат чьих духов все еще щекотал ему ноздри.

Ночью мысли о ней не давали ему уснуть. «Я слишком стар для таких глупостей». Он встал, взялся читать и даже смог сосредоточиться, но едва голова его снова коснулась подушки, мысли о ней потянулись длинной чередой – как товарный состав, который тянет тяжелый черный паровоз. Он представлял себе Эвелин, «чуть ли не проститутку», в постели с разными любовниками, в разных эротических позах. Ему привиделось, как она лежит одна, обнаженная и соблазнительная, прижимая к себе бордовую сумочку. А что если она – самая обычная девушка и любовников у нее гораздо меньше, чем мнится ее отцу? Скорее всего, так оно и есть. А что, если он может быть ей чем-нибудь полезен? Его вдруг пронзил необъяснимый испуг, но он смог его рассеять, пообещав себе, что утром сожжет письмо. Товарный состав, громяхая вагонами, умчался в туманную даль. Проснувшись в десять часов, морозным солнечным утром, доктор не обнаружил в себе ни малейшего намека на утреннюю депрессию.

Однако письмо он не сжег. Он перечитывал его несколько раз в течение дня и всякий раз клал его обратно в ящик письменного стола и запирали на ключ. Однако снова и снова он отпирал ящик и читал письмо. К концу дня он понял, что одержим страстью. На него вновь нахлынули воспоминания, его обуяли желания, которых он не испытывал многие годы. Его не на шутку обеспокоила эта перемена, это поселившееся в нем волнение. Он пытался заставить себя не думать о письме, но не мог. И все же сжигать его он не хотел, словно боясь, что тогда отсечет некие новые возможности, перекроет себе новые пути. Он был изумлен, даже шокирован тем, что с ним это происходит, в его-то возрасте. Он наблюдал такое у других, в том числе у своих бывших пациентов, но никак не ожидал, что это не минует и его.

Его томила жажда, жажда наслаждений, ему хотелось изменить устоявшуюся жизнь, вновь увлечься, и одновременно в нем рос страх – так засохшее дерево возрождается к жизни, расправляет поникшие ветви. Ему казалось, что он жаждет неведанных впечатлений, но если он попытается утолить эту жажду, потом ее не избыть.

А этого он никак не хотел. Он вспоминал героев мифов – Сизифа, Мидаса, проклятых навечно. На память ему пришел Титон, который, состарившись, превратился в цикаду. Доктор чувствовал, что страсть захватывает его, кружит в мрачном ураганном вихре.

Когда в четыре часа дня Флаэрти закончил работу и на его место заступил Сильвио, брюнет с короткими курчавыми волосами, доктор Моррис спустился в холл и уселся в кресло, сделав вид, что читает газету. Как только лифт поехал вверх, он направился к почтовым ящикам, решив отыскать Эвелин по табличкам на них. Ни одной Эвелин он не обнаружил, но нашел Э. Гордон и Э. Каммингс. Одной из них вполне могла оказаться она. Он знал, что одинокие женщины избегают указывать свои имена, опасаясь всяких психов и возможных домогательств. Будто бы невзначай он спросил у Сильвио, не зовут ли мисс Гордон или мисс Каммингс Эвелин, но тот ответил, что не знает, об этом лучше спросить мистера Флаэрти, потому что почту раскладывает он. «Здесь столько народу живет», – пожал плечами Сильвио. Доктор сказал, что спрашивал просто из любопытства, это прозвучало малоубедительно, но ничего лучшего ему в голову не пришло. Он вышел на улицу и немного побродил безо всякой цели, а вернувшись, с Сильвио уже не заговаривал. В лифте они ехали молча, доктор стоял замерев и вытянувшись в струну. Той ночью он спал отвратительно. Стоило задремать, ему снились эротические сны. Проснулся он, мучаясь желанием и отвращением, долго лежал, сам себе сострадая. И чувствовал, что ничего изменить не в силах.

Встал он около пяти, а около семи уже спустился в холл. Ему просто необходимо было выяснить, кто же она. В холле Ричард, ночной дежурный, привез его вниз, тут же вернулся к чтению какого-то порнографического журнала; почты, как мистер Моррис и предполагал, еще не было. Он знал, что привозят ее в девятом часу, но ждать дома было выше его сил. Он вышел на улицу, купил на Ирвинг-плейс «Таймс» и направился дальше, а поскольку утро выдалось чудесное и совсем не холодное, даже посидел на скамейке в парке Юнион-сквер. Он развернул газету, но читать не смог, понаблюдав за воробьями, клевавшими прошлогоднюю траву. Да, он пожилой человек, спору нет, но опыт подсказывал ему, что возраст в отношениях мужчин и женщин часто не имеет значения. Энергии у него пока что хватает, а тело – это всего лишь тело. В холл доктор, нарочно задержавшись подольше, вернулся в восемь тридцать. Флаэрти уже принесли мешок с почтой, и он, перед тем как положить письма в почтовые ящики, раскладывал их на столе по алфавиту. Выглядел он на этот раз неважно. Двигался он с трудом. Его искаженное лицо посерело; он тяжело дышал, а в глазах затаилась боль.



– Вам пока ничего, – сказал он доктору, не поднимая глаз.

— Сегодня я подожду. Дочь должна была написать, — объяснил доктор Моррис.

— Пока не видно, но, может, вам повезет — вот еще одна пачка осталась. — Он развязал бечевку.

Пока он раскладывал последнюю пачку писем, кто-то позвонил — вызвал лифт, и Флаэрти отошел.

Доктор делал вид, что поглощен «Таймс». Едва двери лифта закрылись, он тотчас подошел к столу и поспешно перебрал стопку на букву «К», Э. Каммингс оказался Эрнестом Каммингсом. Он схватил стопку на «Г», следя за металлической стрелкой, показывавшей, что лифт уже спускается. В этой стопке лежало два письма, адресованных Эвелин Гордон. Одно было от матери. Второе, тоже написанное от руки, от некоего Ли Брэдли. Почти что помимо воли доктор взял это письмо и сунул в карман. Его обдало жаром. Когда дверь лифта открылась, он уже сидел в кресле и листал газету.

— Вам совсем ничего, — сказал через минуту Флаэрти.

У себя в квартире доктор, прислушиваясь к своему сиплюму дыханию, положил письмо на кухонный стол и, дожидаясь, пока вскипит чайник, сидел и смотрел на него. Чайник, вскипев, засвистел, а он так и сидел перед нескрытым письмом. На него напало оцепенение. Потом он представил себе, как Ли Брэдли описывает сексуальные забавы, которым предавался с Эвелин Гордон. Он воображал себе их любовные игры. А затем, хоть и вслух запретив себе это делать, он распечатал над паром письмо, вскрыл конверт и снова положил письмо на стол, чтобы удобнее было читать. Сердце его колотилось от предвкушения. Но, к его удивлению, письмо оказалось скучным — это был самодовольный рассказ о какой-то дурацкой сделке, которую Брэдли пытался заключить. Только последние две фразы оказались поживее. «Вечером я приеду, жди меня в спальне. И чтобы на тебе были белые трусики, и больше ничего».

Доктор даже не мог решить, кто ему более отвратителен — этот кретин или он сам. Если честно, то он сам. Осторожно засунув листок бумаги обратно, он смазал конверт тонким слоем клея и заново запечатал письмо. Днем он сунул письмо себе во внутренний карман и, нажав кнопку, вызвал Сильвио. Доктор сходил за свежим номером «Пост» и делал вид, что погружен в чтение, пока Сильвио не повез на лифте двух каких-то женщин; тогда доктор опустил письмо в ящик Эвелин Гордон и вышел подышать воздухом.

Молодая женщина, которой он придерживал дверь, вернулась в начале седьмого — он как раз сидел в кресле около стола. Почти сразу же он различил запах ее духов. Сильвио на месте не было — он спустился в цоколь перекусить. Она отперла маленьким ключиком почтовый ящик Эвелин Гордон, стояла, курила и читала письмо Ли Брэдли. На ней был голубой брючный костюм и коричневое вязаное пальто. Ее черные волосы были стянуты в хвост коричневым шелковым шарфом. У нее было хорошенькое, хотя и тяжеловатое лицо, ярко-синие глаза, чуть тронутые косметикой веки. Ее фигура показалась ему безупречной. Она не обратила на него внимания, а он был уже почти что влюблен в нее.

Каждое утро он наблюдал за ней. Теперь он спускался вниз попозже, к девяти, и, сидя на троподобном деревянном стуле, стоявшем под незажженным торшером в глубине холла, просматривал медицинские проспекты, которые вынимал из своего

ящика. Он наблюдал за людьми, отправлявшимися на работу или по магазинам. Эвелин появлялась около половины десятого и стояла с сигаретой перед почтовым ящиком, читая утреннюю почту. Когда наступила весна, она стала носить цветастые юбки с кофточками пастельных тонов или светлые брючные костюмы. Иногда она надевала мини. Сложена она была великолепно. Писем ей приходило много, большинство из них она читала с явным удовольствием, некоторые – с тайным волнением. Кое с какими она расправлялась быстро: пробежала их глазами и совала в сумочку. Он решил, что это были письма от отца или матери. Наверное, думал он, ей пишут ее любовники, бывшие и нынешние, и ему становилось грустно оттого, что там нет его письма. Он обязательно ей напишет!

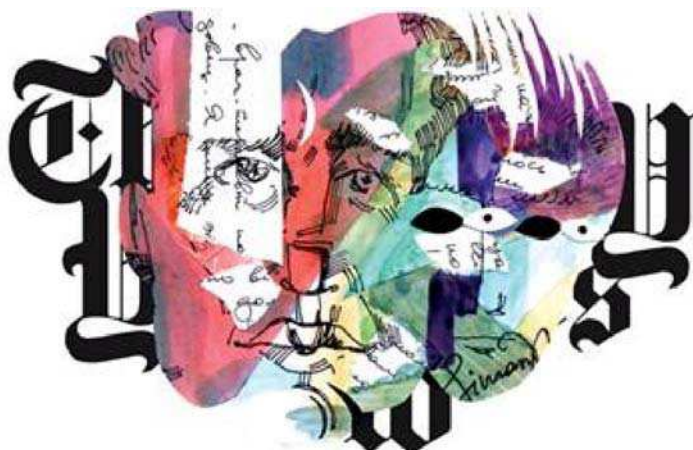
Он все тщательно продумал. Некоторым женщинам нужен мужчина постарше: это упорядочивает их жизнь. Порой разница в тридцать или даже в тридцать пять лет идет только на пользу. Молодая женщина помогает пожилому мужчине сохранить силу и бодрость. А у него хоть и были неполадки с сердцем, но в целом здоровье отличное, во многом даже лучше, чем раньше. Такая женщина, как Эвелин, живущая, скорее всего, не в ладах с собой, может извлечь много полезного из тесного общения с пожилым мужчиной, который будет любить и уважать ее, а ее научит любить и уважать себя; который будет требовать от нее гораздо меньше, чем мужчины помоложе, погрязшие в эгоизме; который пробудит в ней вкус к жизни, а если все сложится хорошо, то, возможно, и любовь к этому мужчине.

«Я врач-терапевт на пенсии, вдовец, – писал он Эвелин Гордон. – Я пишу эти строки с глубочайшим к Вам уважением, однако мучаясь сомнениями, поскольку по возрасту я гожусь Вам в отцы. Я часто видел Вас здесь, в этом доме, иногда встречал на улице, и я все больше восхищаюсь Вами. И хотел бы, если Вы, конечно, не против, познакомиться с Вами. Не согласитесь ли Вы как-нибудь отужинать со мной, а может быть, посетить кинотеатр или сходить на какой-нибудь спектакль? Полагаю, узнав меня поближе, Вы не разочаруетесь. Если эта просьба не обидела Вас, буду Вам очень признателен, если Вы опустите записку с ответом в мой почтовый ящик. С глубочайшим уважением, Саймон Моррис, доктор медицины».

Он не спустился вниз, не положил письмо в ее почтовый ящик – решил, что сделает это в последний момент. Он ненадолго забылся сном, но проснулся от испуга. Ему приснилось, что он написал и запечатал письмо, но вдруг вспомнил, что приписал еще одну фразу: «Наденьте белые трусики». Проснувшись, он хотел было вскрыть конверт и проверить, не повторил ли он слов Брэдли. Но когда сон ушел окончательно, он понял, что нет. Рано утром он принял ванну, побрился и некоторое время разглядывал облака за окном. Около девяти доктор Моррис спустился в холл. Он решил дожидаться, когда Флаэрти вызовут, и опустить письмо в ее ящик, но Флаэрти в то утро, похоже, никому не требовался. Доктор забыл, что сегодня суббота. Понял он это, только когда сел в холле и открыл «Таймс», сделав вид, что ждет почту. По субботам почту доставляли позже. Наконец он услышал протяжный сигнал, и Флаэрти, чистивший на коленях медную дверную ручку, встал и медленно побрел к лифту. Его асимметричное лицо посерело. Без нескольких минут десять доктор сунул свое письмо в почтовый ящик Эвелин Гордон. Он решил было подняться к себе, но потом решил подождать там, где он обычно ждал, пока она заберет свою почту. Там она его никогда не замечала.

Мешок с почтой принесли в вестибюль в начале одиннадцатого, и Флаэрти только успел разложить первую пачку писем, как его снова вызвали. Доктор читал свою газету, сидя в глубине холла, в полумраке, что ему не мешало, потому что он только делал вид, что читает. Он с волнением ожидал появления Эвелин. На нем был новый

зеленый костюм, рубашка в синюю полоску и розовый галстук. Шляпа у него тоже была новая. Он ждал с надеждой и любовью.



Дверь лифта открылась, и вышла Эвелин в элегантной черной юбке с разрезом и прелестных босоножках, волосы повязаны алым шарфом. Следом за ней вышел мужчина с резкими чертами лица, пышными баками и тщательно причесанными полудлинными волосами, подстриженными по моде начала века. Он был ниже ее на полголовы. Флаэрти протянул ей два письма, она сунула их в черного лака сумочку. Доктор подумал, вернее, понадеялся, что она пройдет мимо почтового ящика, но она увидела его письмо в прорезь, остановилась и вынула его. Разорвав конверт, она достала лист бумаги, исписанный от руки и, сосредоточенно нахмурившись, прочла его. Доктор закрылся газетой, смотрел поверх нее. Смотрел со страхом.

Глупость какая, как же я не просчитал, что она может выйти с мужчиной!

Закончив читать письмо, она протянула его спутнику – вероятно, Брэдли, который проглядел его с ухмылкой, и, сказав что-то вполголоса, вернул ей.

Эвелин Гордон невозмутимо порвала письмо на мелкие кусочки и, развернувшись, швырнула их в сторону доктора. Они полетели к нему, как огромные снежинки, влекомые порывом ветра. Он подумал, что так и будет сидеть вечно на своем деревянном троне, под этим снегопадом.

Старый доктор сидел на стуле, и пол вокруг него был усыпан обрывками его письма.

Флаэрти смел их шваброй на совок. Доктору он протянул тоненький конверт с иностранными марками.

– Вот письмо от вашей дочери, только что пришло.

Доктор потер переносицу, вытер пальцами глаза.

– От старости не скроешься, – сказал он, помолчав.

– Увы, сэр, – ответил Флаэрти.

– От смерти тоже.

— Они наступают нам на пятки.

Доктор хотел сказать что-нибудь очень доброе, но не мог подобрать слов.

Флаэрти доставил его на лифте на пятнадцатый этаж.

1973

[\[1\]](#) Булфинч Томас (1796–1867) – американский писатель, автор популярных пересказов классической мифологии.

ЛЕХАИМ АВУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ЕВГЕНИЯ СМАГИНА

Родилась в Москве в 1954 году (чего не скрываю). По профессии филолог. Основное занятие: исследую и преподаю древние языки и тому подобные ненужные вещи. Зачем – сама толком не знаю. Также время от времени работаю переводчиком – по крайней мере, полезное занятие. В том числе удостоилась чести переводить Библию. Много путешествовала – как пешком с рюкзаком, так и различными видами транспорта. Также увлекаюсь бардовской песней – правда, без особой взаимности. Не курю, мало интересуюсь спиртным, все виды наркотиков мне заменяет беспорядочное чтение чего попало. Замужем за хорошим человеком, который не забывает хвалить мои стихи: мужа, учиться. Главное достижение в области еврейской культуры – сын, получивший степень бакалавра по иудаике. Стихи публиковались мало, зато в «Знамени», «Новом мире», «Гранях» и им подобных знаменитых журналах. Впервые в полной мере ощутила себя еврейкой, когда впервые же обозвали жидовской мордой. Чтение различной литературы и две академические поездки в Израиль значительно укрепили это самоощущение. При этом не перестаю ощущать себя русской, что не может не создавать некоторого разлада во внутреннем мире. В общем, гражданка диаспоры.



íÀ ÑÒÀÒÓÐ Â ÐÓÑÑÊÎÌ Ì ÎÇÀÀ

Башни уходили вверх и прямо,

В линзу неба, в выпуклый овал.

В переулках гетто Амстердама

Жил философ, стекла шлифовал.

Видишь – по пятам плетется тенью

Мудрость неприютная твоя.

Нас отцы отвергли за сомненье

И чужой не принял в сыновья.

Спит Восток под черным переплетом,

Громоздится Запад за окном...

Что ж, вернемся к мысленным высотам,

Никого ни в чем не упрекнем.

Белый мрамор, старческая поза,

Зал музейный на исходе дня...

Всё как надо, Бенедикт Спиноза,

Что еще ты хочешь от меня?

ÈÇÓ×ÀΒ ÑÀÎ ÈÒÑÊÈÀ ΒÇÛÊÈ

1.

Согласный костяк, недвижим и тяжел,

потоками гласных промывает.

Ветвистая крона – сирийский глагол –

листвой надо мною шумит.

Быть может, и правда, куда ни пристань,

корней родовых не рассечь:

раскроется книга – и вспомнит гортань

в крови растворенную речь.

Но что бы ни думать о связи времен,

а только ясней и верней

сквозят очертанья знакомых имен

в решетке семитских корней.

2

Над Псалтирью царь-пастух

поднимает руки.

Снова плотью станет дух,

растворенный в звуке.

Помнишь ли родимый кров –

свод палатки рваной?

Слышишь звуки «хет» и «коф» –

терпкий вкус гортанный?

С хриплым стоном древний «айн»

вырвался из зева.

Скроюсь ли от вечных тайн,

святости и гнева?

Пусть горит и бьется стих –

все равно отраден

привкус этих слов литых,

твердых виноградин;

но сквозь золото и мед

проступает четко

трех согласных разворот –

вечная решетка.

3

На заре последних лет,

рдеющей багряно,

вышли мы на Б-жий свет

из пещер Кумрана;
и недолгая весна,
цвет пустыни мрачной,
заплатила нам сполна
зеленью прозрачной.
Но Писанье мы прочли
и забыть не в силах.

Мертвым морем соль земли

плачет в наших жилах.

Жар небес очистит мир

от цветочной мути;

снова будет нищ и сир

образ голой сути –

Скалы, воды и песок,

солнца взор бесстрастный,

силуэт, скелет, исток,

корень трехсложный.

Погляди: прошла весна,

мир не стал моложе.

Остаются письма

на воловьей коже.

Будет небо землю жечь,

жалости не зная;

будут вязко волны течь –

злая кровь земная.

Разбрелись народы, не властные
управлять родным языком.

Передвинь немецкие гласные –
что получится? В горле ком.

Завозился быт-недоросток,
вечный долг неоплаченный –
и затренькал язык сиротский,
от чужого отхваченный.

Есть на чем смеяться и плакать
среди мерзлых, чужих полей:
балалайка, тум-балалайка,
веселей, дружок, веселей.



Вспоминай, ашкенази, родные пески
темной памятью мозга костей,
смутной памятью крови, стучащей в виски, –
не от разума ждать нам вестей.

Ты дождался свободы, запретной досель, –
все дороги открыты, изволь.

Европейская ярмарка мчит карусель,
кто быстрее да вострей, тот король.

Так вертись, совершенствуй повадку и стиль,
будь умен, обаятелен, лих.

Ты когда-нибудь вспомнишь, как плачет Рахиль
безутешно о детях своих.

Забывая, как был и силен, и хитер,

зажимая ладонью висок,
ты поймешь, что судьба наша – черный
шатер,
Б-жий гнев и палящий песок.

1979-1984

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Мы скажем: глохнет звук шагов

грядущему навстречу,
где, может статься, нет следа

обещанных чудес;
но замели снега снегов
лесное междуречье,
и воды кованные льда
прочней, чем твердь небес.

Под высохшей стоймя травой

молчат речные броды;
природа навсегда права,
на зависть временам,
ей все равны, ей все равно,
в чем нас винят народы,
какие страшные слова
в лицо бросают нам.

В глухих сугробах городов,

под небом мутно-белым,
свирель диаспоры, играй

и Б-га не зови,

пророча оторопь годов,
где слово станет делом
и захлебнется милый край
в позоре и крови.

Ну что ж – в преддверье перемен,
в которых мы не властны,
гори, медовых слез не лей,
пасхальная свеча,
когда язык святых письмен,
их подлинник безгласный
на снежной Библии полей
проступит, не звуча.

1991–2001

ÂÎÏÐÃÊÈÂÑÂÎ Ó

Горит, горит звезда моя печальная

1. Çàï'ää

День томился и парил, а ночь свежа,
скоро сумерки дремой сморит
и огни побережья канут, дрожа,
в синий пух вечернего моря.

Пальмы веют пером, трепещут ветра,
и песок, остывая, дремлет,
но не спит Тель-Авив – морские врата
на дороге в Святую землю.

А вдали, за провалом темных морей,
снежной ночью стеклобетонной

от работы своей – от жизни моей
вскинет очи ангел бессонный.
И ответит мой голос: «Душа полна»,
но не прежний голос, не прежний...
Царской кровью лазурной бьется волна –
беспечальный пульс побережий.
Город манит в неоновый свой лубок,
обнимая пеньем и светом;
в старой Яффе проулки свились в клубок...
но не надо, хватит об этом.
Просыпаться опять на седой заре –
очевидице дней творенья;
просыпаться и ждать на Святой земле
то ль забвенья, то ль откровенья.
Завтра выйдет заря из ночных оков,
отряхнув налипшую тьму,
и язык, что молчал семнадцать веков,
зазвучит, вопреки всему.
Мы поедem на юг, где складку тропы
заметает песок белесый,
и лицо опалит соленая пыль –
Красноморья сухие слезы.
Так, должно быть, тоскует трава пустынь
о прохладных лугах Эдема;
так, должно быть... но ты увлеклась, остынь,
это вовсе другая тема.

2 Па

Что сказать вам? Пустыня – страна пустот,

ни сокровищ здесь, ни чудовищ.

Здесь так мало воды – только едкий пот

и верблюжья моча становищ.

Здесь на каменный мусор пустых земель

дышит печкой горячий ветер,

и пустыми глазницами смотрит тель

с высоты тридцати столетий.

Только раз в году, тягучем, как век,

раз в году промывает потоков бег,

оживляет цвет и листва

край бесплодных нагорий, безводных рек

и безликого Б-жества.

И воды этой полой должно хватить

на оставшийся год горячий.

Раз в году прозревают глазки-цветы

на бесцветной траве незрячей

и глядят в неподвижный, безмолвный свет

и свистящую ветром тьму.

Этот кустик седой не просто растет –

он растет вопреки всему.

Он из сердца земного по капле пьет,

впившись корнем в камень горячий.

На коре его соль, нектар его – пот,

вместо листьев – коготь колючий.

Ты расти, не грусти, что потерял рай,
славь творенье, праздную свободу,
в звонкой полости сердца впрок собирай
холод жизни — полую воду.

Высыхай без огня, страшись Б-жества
и безликий облик лепи.

Ты дождешься — опять нахлынет весна
и природа скажет: люби.

И конечно, природа во всем права,
ей бы только плоды и рост.

Но для тех, кто не птица и не трава,
тёмен жребий и путь не прост.

И любовь отзовется (в который раз),
заморочит душу и плоть —
и минутным цветеньем заманит нас,
чтобы после жечь и колоть.

Солон масляный жир, дурманит вино
и горчит миндальный орех.

По стопам торжества плетется вина,
а с любовью приходит грех.

Кто там замер, кто чашу допил дотла,
до солей, до злого осадка?

Не узнали?.. Она так цвела, звала,
и манила, и пела сладко.

Но сыграла свой праздник — и вот стоит,
белый взгляд устремив во тьму.

На лице ее соль, покров ее – стыд,
жизнь ее – вопреки всему.

3 Nizid

В Галилее полого цветут сады,
нисходя по холмам в долину,
и крученые струны живой воды
утекают в озеро-лиру.
Там, где речка пробила в скалах каньон,
с городищем греческим рядом
есть пещерный проем, увитый вьюнком,
занавешенный водопадом.

Там, где шелк водяной перевил листву
горькой ивы и дикой вишни,
и какому-то младшему божеству
обитать позволил Всевышний.
Это, верно, богиня простых утех,
дочь листвы, земли и воды.

И не знает она, что такое грех, –
только знает цвет и плоды.

Не устанет тропинка ее вести
лабиринтом вер и неверий.

А в кудрях водопада – Б-жьи цветы
и монеты древних империй.

Об ином шелестят листы синагог
и церковные шепчут свечи.

Это верно, закон справедлив и строг,

только я вам вот что отвечу:

Через гром, славословья, бряцанье войн,

через хор Истории жуткий

все звучит молодой, прохладный, живой

голосок тростниковой дудки.

Эта песенка длится, струясь ручьем

по лицу античных мозаик,

и не думает нас упрекать ни в чем,

только учит тому, что знает.

Мой словарный запас совсем невелик,

я не все до конца пойму.

Но одно разбираю: что жить велит

и любить – вопреки всему.



4. Восток

Вот и всё. И дорога в Бен-Гурион,

все же эта страна не наша.

Сизым воздухом полон дикий каньон,

склон кедровый, скальная чаша.

Много можно забыть, но ты не таков,
всех веков печаль и отрада –
белый камень под цвет каленых песков,
свет и морок Святого града,
там, где розы язвят и улицы выют
круговерть по склонам предгорий,
где История вяжет в единый жгут
сотни тысяч малых историй.

Наших планов судьба в расчет не берет,
и по улицам-коридорам
от Дамасских ворот до Яффских ворот
не гулять нам шагом нескорым –
где кофейню и лавку от света дня
Старый город сводом завесил
и за долгую память клянут меня
голоса десяти конфессий.

Не пои меня, память, горькой водой,
нужды нет – я и так не рада...

Быстро гаснет закат за скальной грядой,
в жестких травах трещит цикада,
и горит позади сухою звездой
свет и морок Святого града.

И о чем говорит нам древняя кровь,
этот Город, проплывший мимо,
этот край, отвоеванный у ветров,
у веков, у судьбы, у мира?

Нам покоя не знать – мы осуждены
то прощаться, то ждать чего-то.
Там, где наши Эдемы насажены,
были скалы, пески, болота.
Вот и все твое счастье: мы рождены
не для счастья, а для полета.
Пролететь над простором сухих земель
и над кручей той поднебесной,
где взбирается лес на гору Кармель,
уцепившись за склон отвесный;
где лежит Иордан – золотая ветвь –
на зеленой пене долины.
Прежде чем к небесам пойти на ответ
или вспять, в Адамову глину,
прежде чем воспарить, прорасти травой
или просто кануть во тьму,
мы еще пролетим над этой страной,
что живет вопреки всему.



ЇАЇ ЇЇАЇ АЕАЕАЕНӨЕЕЕ

Светлой памяти Марьяны
Свод небес летит в никуда,
и февраль замечает след.
На могильной плите – звезда,
даты жизни, имя, портрет.
Неужели с этой плиты
в винограде глаз и кудрей
вновь глядишь и смеешься ты,
Поражающая Царей?
Ничего, что в датах пробел, –
знаем мы не только из книг,
что досталось тебе в удел,
Покорительница Владык.
Общежитье, война, барак,
коммунальный жалкий уют.
И нескладный, недолгий брак,
и людской безжалостный суд.
Не звенит ни подвиг, ни стих,
славя лик твой, голос и взор.
Всех певцов, героев твоих
унесла война и террор.
Скажут: век двадцатый таков.
Только был ли к тебе добрей
хоть один из прошлых веков,
Поражающая Царей?
Но сквозь время, сквозь бед пласты

проступает вновь и опять
вековой твоей красоты
лазуриновая печать.

Вечереет. Двадцатый век
закрывает свою Псалтирь.

На Введенском кладбище – снег.
«Комментарий к книге Эсфирь».

А́ОА́ІÈÈ́ А́А́ІŮÂ ÈЇА̀ÈÈ́А́

До пятницы после полудня,
до первой субботней звезды
у нас европейские будни,
обычный досуг и труды.

Вот разве что солнце жестоко,
и ветра налет воровской,
и медной печатью Востока
отмечен пейзаж городской.

И скверик в тропических красках,
и надпись на спинке скамьи,
что Левин из штата Небраска
поставил на деньги свои.

Пристроился нищий в ермолке
с молитвенником на углу,
и блеклые губы не молкнут –
всё шепчут хвалу и хвалу.

К чему славословить и славить,
зачем, раздражая врагов,

себя, горемычного, ставить
превыше людей и богов?

Твой путь средь лачуг и развалин,

средь ветхости и тесноты,
гвоздями гонений оскален
и устлан тряпьем нищеты.

Они всё надеялись выжить
до первой субботней звезды,
а их всё надеялись выжечь
и солью засыпать следы.

Но, выжив под прахом и солью,

вставали они из золы,
и губы, сведенные болью,
твердили обрывки хвалы.

И это не страшная сказка
о распрях космических сил,
и Левин из штата Небраска
о прошлых скорбях не забыл.

Прости меня, нищий в ермолке,

я мало тебе подала.

На брань, клевету, кривотолки

ответит хвала и хвала.

За все, что храним и утратим,

за кров и земные плоды,
печное тепло и заплаты,
краюху и кружку воды,

которых, конечно же, хватит

до первой субботней звезды.

י' אהיה עובדך י' אהיה עובדך אהיה עובדך

ЛЕХАИМ АВУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

עלילת י' ה'תשנ"ה

Детская серия «Кешет / Радуга» издательства «Текст / Книжники» вскоре пополнится книгой замечательной поэтессы Кади Молодовской (1894–1975), писавшей на идише.

Уроженка белорусского местечка, Молодовская училась в Варшаве, в пореволюционные годы жила в Полтаве, Одессе и Киеве, где попала в круг ведущих еврейских поэтов и писателей: ее наставником стал Давид Бергельсон, а Дер Нистер печатал ее стихи. Основным ее занятием в то время было преподавание идиша и иврита в школах для детей и взрослых. Тогда же она начала писать детские стихи.

В 1935 году Молодовская переезжает из Варшавы в Нью-Йорк, впоследствии несколько лет живет в Израиле, но все-таки возвращается в Нью-Йорк.

Кадя Молодовская издала семь поэтических сборников, написала сборник рассказов, два романа и несколько пьес. В Нью-Йорке издавала и редактировала литературный журнал «Свиве» («Среда»).

Про зайчонка с хоботом как у слоненка

Был нос у одного зайчонка

Совсем как хобот у слоненка.

Зайчонок свой длиннющий нос

С гордостью по жизни нес.

Другие ж зайцы из-за носа

На него смотрели косо.

И прозвали его так:

Носонос, большой дурак.

Раз решил он: стоит вроде

Съесть капусты в огороде.

Смотрит – а в траве у гряд
Улеглись уж зайцы в ряд.
Все жуют, наставив уши:
Всем капуста греет души.
Носонос к ним сел спиной,
Будто вовсе не родной.
Что ему до мелкой сошки?
Да у них носы-картошки!
Фыркнул заячий народ:
«Задавака! И урод!»
Нося слушать не желает,
Нос все выше задирает.
Разве родич зайцам он?
Нет уж, он почти что слон!
«Не пойду я с ними в ряд!
Буду есть у дальних гряд».
Только виден за версту
Нос, торчащий в высоту.
Заяц зайца ввек не бросит.
«Попадешься, Носоносик! –
Крикнул Лапка. – Дуралей!
В землю нос уткни скорей!»
Нося слушать не желает,
Нос все выше задирает.
Заяц зайца не оставит.
«Нос из грядки вырастает! –

Крикнул Зубчик. – Зайцеслон,
Виден ты со всех сторон!»
Нося слушать не желает,
Нос все выше задирает.
Заяц все отдаст за друга:
«Эй, тебе придется туго! –
Крикнул Скок. – Большой дурак!
Так сидеть нельзя никак!»
Сторож охраняет грядки,
Смотрит, все ли там в порядке.
Хобот? Зайцы! «Чтоб вам пусто!
Пропадет моя капуста!»
Палку – хватать, и во всю прыть
Зайца он бежит ловить.
Видят зайки: плохо дело,
Задрожали аж всем телом,
Шорох, прыг, мелькнувший след,
Зайцы были – зайцев нет.
А у Носи – вот ведь грустно! –
Нос застрял в ботве капустной.
Жизнь не сахар! Жизнь не мед!
Сторож с палкою идет.
Только тут же, слава Б-гу,
Скок примчался на подмогу.
Носоноса с грядки – хватать
И от сторожа бежать!

Оба прочь летят стрелою,

Удирают сразу двое,

Раз – прыжок – и пустота

Там, где были два хвоста!

Убежали! Целы всё же!

Б-г все видит, Б-г все может.

Башмачки

Танцуют ловко гвоздики –

Сапожник за верстаком:

Сейчас стачает он башмачки,

Каждый – с красным шнурком.

И мальчики, и девочки

Сбегутся босиком,

И все станут мерить башмачки,

Которые с красным шнурком.

Чуть тесно в пятке Симе,

И Берке узок след,

А Мойше впору, только

У Мойше денег нет.

Так и будут башмачки,

Каждый – с красным шнурком,

Грустить себе на гвоздике

В мастерской над верстаком.

Откройте ворота

Откройте пошире створки ворот,

Здесь цепь золотая сегодня пройдет:

Папочка,

Мамочка,

Братик,

Сестричка,

Невеста, жених

На санях золотых.

Откройте пошире створки ворот,

Здесь цепь золотая сегодня пройдет:

Дядюшка,

Тетушка,

Бабушка,

Дедушка

И внуки их

На санях золотых.

Откройте пошире створки ворот,

Здесь цепь золотая сегодня пройдет:

Листочек,

Цветочек,

Меда горшочек

И пряник там будет

На золотом блюде.

Сапожки

Вот, гляди, стоит гора,

Вот под ней долина,

Вот сапожник на горе

С дратвой очень длинной.

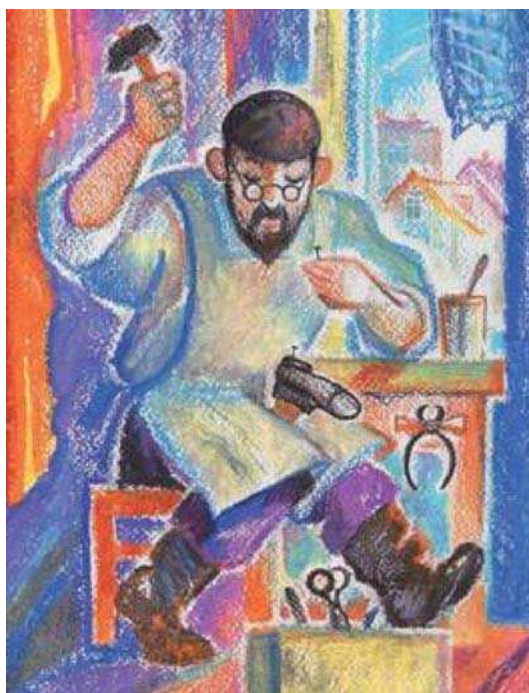
Вот сапожник дратвой длинной

Помахал немножко,

Раз и два,

Да раз и два,

Вышли два сапожка.



Им сапожник говорит:

«Ну-ка за работу!»

Он сидит, глядит в окошко,

Как уходят два сапожка,

Как уходят оба сразу

Исполнять его приказы:

Скажет – так идут за хлебом,

Скажет – так идут за чаем,

Так и ходят взад-вперед,

Порученья исполняя.

Так шагали и шагали,

Только вдруг у двери встали.

Правый стукнул: ну-ка раз!

Левый стукнул: ну-ка два!

Приоткрылась дверь едва.

А за нею, бос и наг,

Маленький стоит бедняк.

Рядом с ним сапожки встали,

Никуда не пошагали.

Что ж сапожник? Так уж вот,

Ждет и ждет,

И ждет, и ждет...

Сверчок

Всю-то ночь поет сверчок,

Кто он, где он, дурачок?

Тири-ри,

Тири-ри,

От заката до зари.

Что он ест и что он пьет?

Баба говорит, что мед,

Деготь – деда говорит,

А сверчок твердит:

Тири-ри,

Тири-ри,

От заката до зари.

Где он спит и где живет?

Баба говорит: где кот,

В шелке – деда говорит,

А сверчок твердит:

Тири-ри,

Тири-ри,

От заката до зари.

Солнышко встает опять

И сверчка идет искать.

Лезет солнце под кровать,

Лезет солнце под комод,

А сверчка как будто нет:

Он притих и не поет.

Но лишь солнышко зайдет,

Слышно снова:

Тири-ри,

Тири-ри,

От заката до зари.



Ссора

**Раз в погожий летний день –
Света солнца было вволю –
Вышли дети поиграть
Под высоким дубом в поле.
Вышли поиграть втроем:
Хоне, Мойшеле и Циля,
Грызли яблоки они,
Из колодца воду пили.
Был бы золото, не день –
Игры, шутки, разговоры, –
Только из-за пустяка
Между ними вышла ссора.
Солнце село, и луна
Поплыла на небосклоне.**

Тут заговорили все:

Циля, Мойшеле и Хоне.

Хоне говорит: «У нас

Во дворе есть бочка,

В ней луна лежит и пьет

Ночку по глоточку».

Циля, покраснев со зла:

«Ишь ты, врет как гладко!

На окошке спит луна

У моей кровати».

Ну а Мойшеле на то:

«От врунишки слышу!

Спит у бабушки луна

В ящике на крыше!»

Перессорились они,

Да и передрались,

И на много дней носы

Вспухшими остались.

Кто из них троих был прав,

Сами разберитесь,

Только об одном прошу:

Вы уж не деритесь!

И אבבאי'א'ו

Жили-были папа с мамой.

Папа – как палка,

Мама – как бочка,

Как колобочки – сыночки и дочки.

Один хочет сушек,

Другой хочет плюшек,

А выдумщица Ханна

Хочет марципана.

Понять бы, что это за чудное чудо,

Понять бы, оно из чего и откуда?

Папа сказал:

«Марципаны растут на ветке,

Так же как сливы и груши, поняли, детки?»

Мама сказала:

«Марципаны покупают в лавке».

Сестра сказала:

«Марципаны собирают вдоль канавки».

Но даже бабушка, которой лет немало,

Марципанов никогда

Не видала,

Не едала.



Почтальон с письмом явился вскоре.

«Марципаны? – говорит. –

Их привозят из-за моря.

Там есть город, прозывается Гавана,

В нем куда ни глянь растут охапки

марципана».

Почтальону, понятно, никто не поверил.

Он давай кричать: «Нет, это так,

в самом деле!»

Но его не слушали и на него не глядели.

Пришел сапожник, принес башмак и колодку.

«Марципаны? – И давай хохотать во всю

глотку. –

Их едят обжоры из самых богатых,

Уж куда до таких-то нашему брату.

Даже Ротшильд, у которого богатый папа

И богатая мама,

Раз в год получает вот столечко марципана».

Ну, сапожнику, понятно, никто не поверил.

Он давай кричать: «Нет, это так,

в самом деле!»

Но его не слушали и на него не глядели.

«Марципаны – то, марципаны – се», –

Всяк судачит на свой манер,

Но тут вдруг открылась дверь,

И вошел Йосл-Бэр.

**Йосл-Бэр? У него, как известно,
во лбу семь пядей!**

**Знает он, где заяц живет в лесу,
Может рожь от овса отличить, не глядя,
Знает он, где спит канарейка,
И что ест на ужин медведь,
И куда текут всякие реки,
Знает, как по-птичьему петь.**

**Он в Америке знает название каждого
городочка –**

Словом, знает все на свете – и точка.

**Ну, все к нему, как будто мухи на стакан:
«Где, Йосл-Бэр, достать нам этот марципан?»**

**А Йосл-Бэр – он пошутить-то не дурак:
На Ханну вылупил глаза: «Ну вот так-так!
Такая умненькая Ханна, а ишь что хочет –
марципана!**

Есть в некоем царстве-государстве городок,

А в нем корзины с марципанами повсюду.

Но что за городок – забыл и врать не буду».

Все рассмеялись: ну, тебе не стыдно, Ханна?

Совсем большая – а подай ей марципана!

«Туда доехать можно меньше чем в три дня,

Но лишь в телеге без колес и без коня».

Все рассмеялись: ну, тебе не стыдно, Ханна?

Совсем большая – а подай ей марципана!

«Народ же там – сплошь лежебоки

и простушки;

И лень им даже почесать в своей макушке».

Все рассмеялись: ну, тебе не стыдно, Ханна?

Совсем большая – а подай ей марципана!

Тут и сам Йосл-Бэр рассмеялся:

Га-га-га-га.

«Марципан – вроде нашего пирога,

Его всякий может в печке испечь,

Йосл-Бэр – он знает, о чем ведет речь.

Всех и дел-то, дружочек Ханна:

Закатай рукава до плеч,

Тесто вымеси быстро и ловко,

А потом его – прямо в духовку».

И тогда на зависть всему городку

Напекла наша Ханна целый стол марципана.

Вот и сказке конец, в ней ни слова обмана.

*Ĭ ääiä pēäeä
Ääiäi ädi Ääiäiäiä*

ЛЕХАИМ АБУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗАНДИЗМ

Пинхас Полонский, Шломо Громан

Издательство «Эксмо» выпустило русский перевод бестселлера профессора Тель-Авивского университета Шломо Занда «Кто и как изобрел еврейский народ». Основу книги составляет сенсационное утверждение: еврейского народа не существует...



«Еврейский народ был изобретен в XIX веке – собственно, тогда же изобрели понятия французского, русского и других народов. Разница между ними в том, что евреев как народа не существует», – заявил Занд на презентации книги, прошедшей 30 марта в Москве. И подчеркнул, что у тех, кто сегодня называет себя евреями, нет никакого исторического права на территорию Израиля, поскольку настоящими потомками Авраама, Давида и Соломона являются палестинские арабы – иудеи, обратившиеся в VII веке в ислам. А нынешние евреи – это потомки представителей различных народов, в разное время принявших иудаизм.

На чем же основаны столь нетривиальные рассуждения? Насколько они аргументированны и по-научному беспристрастны? Прежде чем ответить на эти вопросы, познакомимся поближе с личностью автора.

Шломо Занд родился в 1946 году в австрийском городе Линц, в лагере для перемещенных лиц. Его родители были еврейскими коммунистами – выходцами из Польши. Сразу после возрождения еврейского государства семья перебралась в Израиль. Юношей Занд вступил в Союз коммунистической молодежи, а потом перешел в его

наиболее радикальную группу – троцкистско-маоистское движение «Мацпен», ратовавшее за «десионизацию» Израиля и создание «социалистической федерации стран Ближнего Востока». Мацпеновцы наладили контакты с сирийской разведкой и готовили покушение на министра обороны Моше Даяна. В 1972 году всю верхушку «Мацпена» посадили в тюрьму, но Занд еще раньше вышел из рядов движения, разочаровавшись в его «устаревших методах». С этого момента, следуя ленинскому завету, он занялся кинематографией.

По окончании факультета общей истории Тель-Авивского университета Занд уехал во Францию, где вписался в среду «новых левых» и защитил докторскую диссертацию на тему «Сорель и марксизм». Получив предложение преподавать историю и кинематограф, он вернулся в Тель-Авив. Сейчас Занд занимает пост профессора отделения всемирной истории университета – но никаких исследований на темы, не относящиеся к кино или социологии марксизма, прежде не публиковал.

* * *

В книге Занда можно выделить три главных тезиса.

1. Исторический тезис

Занд утверждает, что еврейского народа не существует, а имеются лишь группы потомков прозелитов, объединенные общей религией и не имеющие никаких отношений к древним евреям. Ашкеназы ведут свое происхождение от хазар, сефарды – от берберов, йеменские евреи – от жителей Химьярского царства на юге Аравийского полуострова. «Иудаизм, – говорит Занд, – начиная со II века до новой эры является прозелитским монотеизмом. В I–II веках до новой эры хасмонеи насильственно обращали в свою веру всех, кого завоевывали. Затем началось дальнейшее распространение иудаизма по территории Египта, Малой Азии, Северной Африки и Древнего Рима. Таким образом, не было никакого распространения народа, а была диаспора религии».

По Занду, нет никаких доказательств того, что еврейская диаспора сформировалась вследствие насильственного рассеяния евреев из Эрец-Исраэль в 70 году н. э. Римляне не предпринимали массовой депортации евреев, а миграция в Вавилон была небольшая и добровольная. Большинство древних иудеев приняли ислам и растворились в ближневосточной среде. Лишь в XIX веке сионисты объявили всех прозелитов и их потомков единым народом, ведущим родословную от древних евреев, и отправились завоевывать Палестину.

2. Социальный тезис

Занд сетует, что сионистские идеологи, историки и педагоги скрывают от широкой общественности информацию о многочисленности иудеев-прозелитов, равно как и тот факт, что никакого изгнания евреев римлянами не было. В ходе московской презентации Занд рассказал, что, пока он был рядовым преподавателем, в университетской библиотеке ему отказывались выдавать книги и документы по истории еврейства, поскольку он «не специализируется в данной области»: «Лишь став профессором, я получил доступ к интересующим меня материалам».



3. Политический тезис

Как признается Занд, в своей работе он преследовал не научные, но прежде всего политические цели – доказать, что Израиль должен отказаться от формулировки «еврейское демократическое государство» и стать «государством всех его граждан». Дескать, в Израиле зародилась новая историческая общность – «израильский народ», без деления на евреев и арабов. «Евреи, на мой взгляд, не являются народом, поскольку в своем современном значении слово “народ” относится к человеческому коллективу, проживающему на конкретной территории, где развивается общая для всего этого коллектива живая повседневная культура – от языка до жизненных обычаев и привычек», – говорит он.

А коль скоро никакой этнической связи между древними и современными евреями нет, – значит, все права на Страну принадлежат палестинским арабам. Однако и Израилю великодушный профессор в праве на существование не отказывает, – правда, аргументирует он свою позицию весьма нетривиально: «Меня пригласили в арабский Университет Эль-Кудс. Спросили: как могу я теперь, после выхода книги, разбивающей все мифы, изобретенные для оправдания сионистской колонизации, продолжать жить в Израиле и даже требовать от палестинцев признать это государство? И я ответил, что даже ребенок, родившийся в результате изнасилования, имеет право на жизнь».



Шломо Занд

* * *

Выйдя в свет, книга Занда быстро стала бестселлером – подобно тому, как в России стали бестселлерами сочинения по «новой хронологии» академика Фоменко. И так же как сочинения Фоменко, она подверглась разгромной критике со стороны

крупнейших израильских историков (в том числе носителей левых взглядов — не радикалов, а умеренных).

Исторические тезисы книги подробно разобрала профессор Тель-Авивского университета Аниша Шапира, считающая, что «при помощи передергиваний и полуправды Занд пытается подмять историю под нужды политического спора, при этом прикрываясь академической мантией»: «Выдергивая отдельные факты, он выстраивает из них такую цепочку, чтобы создать видимость доказательства, что еврейского этноса нет и никогда не существовало. Занд, в сущности, проводит расистский подход, увязывая вопрос существования народа лишь с этническим происхождением. Никто не утверждает, что на протяжении всей истории евреи оставались расово чистым этносом. Все историки — и те, на которых Занд ссылается, и те, чьи взгляды он отвергает, — признают факты многочисленных переходов в иудаизм [однако это никак не доказывает, что так появились “все современные евреи” или хотя бы большинство из них...]».

В связи с хазарской тематикой Шапира обращает внимание на методы Занда. Например, большинство исследователей полагают, что иудаизм в Хазарии был принят лишь царским домом и аристократией, а остальное население исповедовало язычество, ислам и христианство (это, собственно, видно из знаменитого письма царя Иосифа и других источников). Но Занду почему-то ясно, что «хазары были иудеями абсолютно все». Мусульманские источники единодушно свидетельствуют, что разгромленные Святославом хазары обратились в ислам. Однако эти сведения Занд игнорирует. Ведущий специалист по хазарскому царству англичанин Д.М. Данлоп в конце своей книги с большой осторожностью упоминает, что, возможно, потомки хазар внесли некоторый вклад в развитие ашкеназских общин. Этого сдержанного предположения хватает Занду, чтобы зачислить Данлопа к себе в союзники и создать ощущение «широко разработанной научной точки зрения».

Вот еще образец подобной методологии. Прекрасно известно, что идиш — германский язык, а не славянский, хотя в нем и много славянских заимствований (как, например, в русском языке — много заимствований немецких, из-за чего его все же никак нельзя отнести к германской группе языков). Почему же евреи Восточной Европы (по Занду — переселенцы из Хазарии) говорят на идише? Занд приводит аргумент Авраама Поллака: польские евреи поддерживали торговые контакты с немцами Польши и заимствовали их язык. Но доказательств столь интенсивных контактов между евреями и немцами попросту нет. Более того, немецкие торговцы в Восточной Европе были весьма немногочисленны и проживали лишь в самых крупных городах (каковых было крайне мало даже в начале Нового времени). Вдобавок в истории не было прецедента, чтобы евреи перенимали язык конкурентного меньшинства, они усваивали (если вообще) только языки окружающего их большинства. Кстати, для понимания реальных процессов переселения евреев из Германии-Ашкеназа в Польшу очень важно, что вся культурная и религиозная традиция евреев Восточной Европы — алаха, минагим-обычаи, программа обучения и т. д. — является прямым продолжением традиции евреев Ашкеназа, с которыми поддерживалась непрерывная связь на протяжении Средних веков, пока в Новое время Восточная Европа уже сама не стала духовным центром всего европейского еврейства. Но всего этого Занд, видимо, просто не знает по причине отсутствия соответствующего образования.

Декан гуманитарного факультета Еврейского университета в Иерусалиме историк Исраэль Барталь назвал свою рецензию на книгу Занда «Изобретение изобретения»^[1]. Он препарирует социальный тезис книги, дезавуируя вымышленные Зандом «заговор» и «насильственный запрет на любые упоминания о хазарах на

израильской общественной арене». Барталь приводит простейший пример – израильскую молодежную энциклопедию «Михлаль». Это широко распространенное издание с воодушевлением рассказывало и про хазар, и про Химьярское царство.

Опровергая утверждение Занда, будто израильский истеблишмент скрывает важную историческую информацию, препятствует популяризации «неудобных» источников и цензурирует опасные места в опубликованных текстах, Барталь ссылается среди прочего на фундаментальную «Историю еврейского народа», вышедшую в Иерусалиме в 1969 году. Занд этот труд просто игнорирует, что и понятно: подробно рассказывая о еврейском прозелитизме конца периода Второго храма, авторы «Истории...» вместе с тем отмечают, что большая численность еврейской диаспоры в античную эпоху объясняется этим лишь частично.

Ну а «библиотечный» пассаж Занда рассчитан на людей, не знакомых с жизнью в Израиле. Запишитесь в Национальную библиотеку Еврейского университета: редкие и ценные книги на дом вам, конечно, не выдадут, но пользоваться ими в читальном зале или ксерокопировать можно сколько угодно!

И наконец – о политическом тезисе Занда.

Занд жалуется, что в Израиле недостаточно демократии. Но вот только союзники самого Занда еще менее демократичны. «Занд далеко не оригинален в утверждении, что ашкеназские евреи произошли от хазар, – замечает профессор Шапира. – Об этом же твердит организация “White Power” (“Белая сила”), выступающая против присутствия евреев в правящей верхушке США и помощи Израилю. Исламские экстремисты, возлагающие на евреев ответственность за события 11 сентября 2001 года, также уверяют, что евреи – потомки хазар. В том же “клубе” абсолютно дилетантская книга Артура Кестлера “Тринадцатое колено”. Занд делает вид, что не замечает, в каком хоре он поет».

* * *

Основной метод Занда – выборочное, тенденциозное цитирование с замаскированными подтасовками. Он создает эффектную, внутренне цельную картину, которая либо отображает реальность приблизительно, либо порождает реальность вымышленную, но с вкраплением подлинных фактов. Получается «научная фантастика», формально состоящая из кусочков правды. Как в анекдоте о советском спортивном комментаторе, сообщаящем о результатах забега двух спортсменов: «Советский спортсмен пришел к финишу вторым, а американец предпоследним!»

Древними языками (кроме иврита) Занд, видимо, не владеет, посему первоисточников не цитирует. На презентации в Москве он признался, что пользовался в основном не историческими документами, а книгами XIX –начала XX века, «многие из которых были позабыты». Но ведь это не древние рукописи, а относительно недавние исследования! Тогда почему они «позабыты»? В переводе на научный язык это означает: «фактологически ненадежны и аргументированно раскритикованы».

Например, труды лингвиста Пола Векслера, который, игнорируя лексико-грамматическую основу языка идиш, причисляет маме лошн не к германской, а к славянской группе. О том, что хазарский язык входил в тюркскую группу, а в идише тюркских слов практически нет, профессор молчит. Подвернулась подходящая книга – все, есть доказательство! (Одно из немногих тюркских слов в идише – это «ермолка», и

Занд на него ссылается. Он только не сообщает читателю, что польский язык заимствовал это слово из турецкого раньше, чем идиш из польского.)

Из малозначимых эпизодов Занд делает глобальные выводы. Действительно, арабский средневековый историк Ибн-Халдун описывает приверженность берберов к иудаизму в период, предшествующий приходу в Северную Африку ислама. В хрониках говорится о берберской королеве-иудейке по имени Дахия аль-Кахина, которая в 694 году вела борьбу с мусульманским нашествием. На основании этих рассказов Занд утверждает, что «многие испанские евреи являются потомками берберов – офицеров мусульманских армий, принимавших участие в походах на Иберийский полуостров». Но ведь у нас имеются многочисленные свидетельства того, что еврейская община Испании возникла за несколько веков до арабского нашествия. Например, в музее Героны хранятся (опубликованные) надгробные надписи на иврите III–IV веков, а общины были там еще в период римского владычества. Да и нет никаких данных об «иудейских офицерах мусульманской армии» (подданные Дахии аль-Кахины, согласно тем же хроникам, после поражения обратились в ислам). Но для профессора кинематографии это не заслуживающие внимания мелочи. Все факты и свидетельства, опровергающие его теорию, он называет мифами или игнорирует.

Самый яркий пример: Занд утверждает, что евреи насаждали свою религию среди соседей, и приводит цитату из книги Эстер. При этом все остальные свидетельства Танаха он провозглашает легендой, которая не тянет на базу для исторических доказательств. Как же тогда может служить доказательством книга Эстер? Но ведь это удобный для него фрагмент Библии, поэтому он объявляется истиной, а все остальное – сказками.

* * *

Занд рассуждает о еврейском самосознании фактически с расовых позиций (если у вас нет общих предков, то какой же вы этнос?!). Ему кажется, что, опровергая общее происхождение народа, он уничтожает его многовековое существование.

Конечно, принадлежность к еврейству никогда не определялась расой. Но все же и общим происхождением основной массы народа от евреев древности никак нельзя пренебречь. Тем более что именно сейчас этот факт находит научное подтверждение. Согласно последним исследованиям, примерно две трети современных евреев имеют генетическую общность, а треть, видимо, была добавлена прозелитами. Разумеется, данные о генетической близости представителей удаленных общин – выходцев из Восточной Европы, Северной Африки, Ирака – чрезвычайно опасны для построений Занда. Но когда ему говорят, что у евреев сходна не только религия, но и генофонд, он попросту отмахивается от оппонента – и заодно от логики: «Я не хотел бы, чтобы наша дискуссия скатилась на рельсы расизма».

В действительности генетические исследования, разумеется, отнюдь не проявление расизма. В наши дни анализ ДНК применяют даже в судах, – например, для подтверждения отцовства. И когда такая точная и объективная наука, как генетика, подтверждает общее еврейское «отцовство» – этим еще больше оттеняется псевдонаучность построений Занда.

Едва ли не самым важным аргументом в пользу своей теории Занд считает демографию. Например, он пишет, что в I веке до н. э. население Иудейского царства составляло 700 тыс. человек, а к концу I века н. э. евреев в Средиземноморье и Вавилоне

насчитывалось 4 млн, – и делает вывод, что только естественным приростом такой скачок объяснить нельзя. При этом в начале фразы Занд говорит лишь о населении Иудеи, а в конце ее – обо всех евреях огромного региона, «не замечая» тот общеизвестный факт, что уже и в 100 году до н. э. в Египте и в Вавилоне существовали большие еврейские общины, превышавшие по численности еврейство Страны Израиля. Эти общины возникли в период Первого и, в основном, Второго храма. История миграции многих групп и конкретных семей из Страны Израиля известна нам от Иосифа Флавия и из талмудических источников (а Занд пишет, что он «не нашел доказательств расселению евреев», – наверное, потому, что не там искал).

И на таких подтасовках, не всегда заметных «рядовому» читателю, но вызывающих возмущение и презрение специалистов, построена вся «доказательная база» книги.

Кстати, вот еще один немаловажный факт, указывающий на преемственность еврейского народа, который (возможно, не по злому умыслу, а по невежеству) не учел Занд: коены, которых всегда было множество в еврейских общинах всех стран, никак не могли быть прозелитами – это невозможно в иудаизме.

При создании своих конструкций Занд жонглирует понятиями, придавая им подходящие для его целей определения. Рассмотрим вопрос: является ли Тель-Авив городом? Если мы определим город как большое поселение, которое оГОРОДили крепостными стенами (для средневековья такая дефиниция была бы адекватной), то Тель-Авив – не город.

В интервью Занд подчеркивает: «Люди с общей культурой являются народом. У евреев нет никакой общей народной культуры, у них есть общая религиозная культура». Народ определяется им как социальная группа, живущая на четко определенной территории и обладающая морфологическими характеристиками, очерчивающими общие культурные нормы и практики нерелигиозного характера (схожие диалекты, обычаи, кулинарные пристрастия, предметы одежды, популярные мелодии и т. д.).

То есть перед нами классическое сталинское определение, на основании которого все этносы СССР были народами, за исключением евреев – «безродных космополитов» – ведь у них нет ни территории, ни общего языка. Но как же так: евреи есть, а народа нет?! А это, говорили нам, «советские граждане еврейской национальности»... Казалось, с распадом советской системы этот подход ушел в прошлое. Но Занд настойчиво стремится его реинкарнировать.

При таком определении евреи народом и вправду не являются: одна их часть предпочитает фалафель и восточную музыку, а другая – фаршированную рыбу и музыку классическую. Но тогда, например, русские в XIX веке тоже народом не были. Ведь дворяне и крестьяне имели совершенно разное представление о жизни, разный быт, несходную культуру. Да и разговорным языком большого числа дворян служил не русский, а французский. Диалектные различия внутри немецкого, арабского или китайского языков и поныне столь велики, что представители одного этноса плохо понимают друг друга. С другой стороны, шотландцы, валлийцы, ирландцы, американцы и австралийцы говорят по-английски (и едят похожую пищу, и слушают одну музыку) – англичанами себя при этом не считая.

Короче, абсурдно определять народ лишь через понятия языка или государства. Например, у миллионной алии, прибывшей в Израиль из стран бывшего СССР, родным языком родителей является, как правило, русский, а родным языком детей – иврит. Но лишь Занд на основании этого возьмется утверждать, что родители и дети относятся к двум разным народам...

Вообще, разделение понятий «народ», «нация», «этнос» представляется искусственным. Еще Танах применяет к евреям именно понятие «народ» – «Ам Исраэль». Оно используется далее в Талмуде и десятках тысяч других книг – как еврейских, так и нееврейских – на протяжении всей истории.

Испокон веков люди, проходившие гиюр, становились частью еврейского народа. Неверно полагать, что гиюр является чисто религиозным актом, – в нем сочетаются религиозный и национальный аспекты. Основой гиюра всегда считались слова Рут: «Твой народ – это мой народ, твой Б-г – это мой Б-г. Там, где ты будешь жить или умирать, там и я». Налицо комплекс трех параметров: религии, чувства национальной принадлежности и общности национальной судьбы.

Именно это чувство общности судьбы, устойчивое в поколениях, является сутью понятия «народ». Распространенным (хотя и необязательным) проявлением этого чувства является желание иметь собственное государство, поскольку государство в политическом смысле и выражает общность судьбы. И евреи во все века мечтали не только соблюдать религиозные заповеди, но и восстановить свое государство и встретиться «на следующий год в Иерусалиме». В XIX–XX веках стремление к национальному государству и связь с ним стали доминантными как для религиозных, так и для секулярных евреев.

У религиозных групп, не являющихся народами, подобных идей, да еще и передающихся из поколения в поколение, не возникает.



* * *

Несмотря на очевидную научную недобросовестность, политическая составляющая книги Занда позволила автору получить ряд восторженных рецензий и премий.

Британский историк Эрик Хобсбаум представил книгу Занда к титулу «лучшая книга года». Достаточно, однако, выяснить, кто такой Хобсбаум, чтобы осознать, что его рекомендация характеризует книгу Занда ярче, чем сто ругательных рецензий. Из соответствующей статьи в Википедии вырисовывается портрет пламенного сталиниста, безоговорочно принимавшего политику СССР в ее худших проявлениях, готового на что угодно во имя своих идеалов, среди которых – исчезновение любых этнических общностей. В 1994 году, давая интервью британскому телевидению, на вопрос «Посчитали бы вы оправданной гибель 20 миллионов людей ради осуществления коммунистической утопии?» историк ответил: «Конечно!» Кстати, научные интересы Хобсбаума весьма далеки от вопросов, затрагиваемых Зандом, – он специализируется на марксистском анализе двух революций: Великой Французской и британской индустриальной.

Активно продвигает книгу Занда еще один английский историк, Тони Джадт, также ратовавший всю жизнь за строительство коммунистического общества. Многочисленную когорту поклонников творчества Занда составляют исламисты. На их сайтах, призывающих к уничтожению Израиля, приведены восторженные отзывы о книге, выдержанные в манере: «Наконец-то нашелся честный израильский профессор, который объяснил, что еврейского народа нет. Мы всегда это говорили, а теперь и он нас поддержал».

Тем временем в России некоторые юристы уже начали, ссылаясь на книгу Занда, требовать отмены наказания за проявления антисемитизма: «Абсурдными и несостоятельными являются выдвигаемые в отношении граждан России обвинения в возбуждении ненависти либо вражды к лицам еврейской национальности, а равно унижения их достоинства, ст. 282 УК РФ. Ведь не существует, согласно этим добросовестным исследованиям, еврейского народа, еврейской нации в научном и практическом понимании народа и нации».

Итак, перед нами не серьезная монография, а псевдонаучная прокламация, снискавшая популярность потому, что она посвящена животрепещущей теме и попала «в струю» возрождающегося в Европе антисемитского (ныне, как правило, называющегося «антиизраильским») тренда.

Сейчас готовится к изданию арабский перевод книги Занда. Нет сомнений, что на стеллажах арабских книжных магазинов он займет достойное место – между весьма популярными там «Майн кампф» и «Протоколами сионских мудрецов».

[1] Durrèèè i'adaa'ä yôlé daa'á cèè m̃. íà m̃e'òà Áóéíèè dá 2010. 8 èbíỹ.

ЛЕХАИМ АВУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

**«ЭТО ПАМФЛЕТ С ЭЛЕМЕНТАМИ
НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ»**

Áãñäó âãäò Ì èõàèë Yãäÿø òäéí

Учитывая тот резонанс, который вызвала книга Шломо Занда «Кто и как изобрел еврейский народ», редакция «Лехаима» решила продолжить разговор о ней, начатый статьей Пинхаса Полонского и Шломо Громана. Что же все-таки представляет собой работа Занда – научный труд или политическую агитку? Для выяснения этого мы встретились с исполнительным директором Российско-американского центра библеистики и иудаики РГГУ, этнодемографом и специалистом по этнической истории евреев Марком Куповецким и преподавателем того же центра, исследователем библейской истории Леонидом Дрейером.



Леонид Дрейер

– Что представляет собой книга Занда – идеологическую прокламацию, спорное научное сочинение или совмещение того и другого?

Леонид Дрейер. Наверное, совмещение. Трудно определить пропорции – какой процент здесь идеологии, какой – академической науки, хотя, конечно, идеологическая составляющая очень значительная. Более того, у меня впечатление, что сама интенция была скорее политической. С другой стороны, Занд использует – правда, не всегда корректно – данные науки. Я бы определил его книгу как развернутый памфлет с элементами научного изложения.

Марк Куповецкий. На мой взгляд, это не более чем научно-популярный манифест израильских левых радикалов. Потерпев поражение в своих усилиях по превращению Израиля из национального государства в гражданскую нацию, они пытаются взять реванш в области идеологии. Главное в книге Занда – это стремление разрушить основные мифологемы традиционной еврейской идентичности: историческую связь с Эрец-Исраэль, скорбь галута и биологическую преемственность с библейскими праотцами, а также делегитимизировать еврейский национализм последних полутора веков. Все это нужно, чтобы посеять сомнения в правомерности создания национального еврейского Государства Израиль.

При этом, будучи специалистом в области интеллектуальной истории XIX–XX веков, Занд иногда затрагивает важные вопросы. Во многом релевантен его пафос относительно идеологической заданности сионистской исторической мысли. Но это родимое пятно любой национальной историографии. К тому же эта проблема была куда более актуальной в 1950–1980-х годах, сейчас ангажированность в большинстве случаев уступила место корректному научному анализу. Так что с критикой официальной сионистской науки Занд опоздал лет на 20–30. А вот в столь близкой Занду «постсионистской» историографии политическая заданность присутствует куда более определено.

О той части книги Занда, где речь идет об этнической истории евреев, можно говорить лишь как о малопрофессиональной компиляции, настолько она изобилует грубейшими фактическими ошибками. Любому специалисту ясно, что как в этногенезе евреев, так и в их последующей истории активно протекали процессы ассимиляции иноэтничных групп. Иудейский прозелитизм в Хазарии VIII–X веков – лишь один из подобных эпизодов. Можно ли из этого делать вывод, что современные восточноевропейские евреи – потомки хазар? Едва ли. Хотя бы потому, что миграции

евреев в Восточную Европу начались еще в античную эпоху, а завершились не ранее XVI – первой половины XVII века.

В целом же опус Занда – это скандальный в смысле некомпетентности и впечатляюще удачный по пиару проект, реализовавший циничную установку, сформулированную Андре Мальро: «История – это память народа. И чтобы изменить народ, достаточно изменить его память».

– Если пытаться все же вычленить в этой книге рациональное зерно – в чем оно?

Л. Д. Мне кажется, в попытке применить теорию «воображаемых сообществ» Бенедикта Андерсона к той общности, которую мы называем еврейским народом. При этом, правда, надо помнить, что сам Андерсон не противопоставлял воображаемые сообщества реальным – он называл некие группы «воображаемыми» лишь потому, что большинство их членов не знакомы между собой. Этим нация отличается, скажем, от товарищества членов кооператива, где все находятся в непосредственном контакте друг с другом. Причем Андерсон ведь не говорил специально о евреях, не противопоставлял «воображаемым» евреям «реальным» французов.

Другое дело, что тут же возникает вопрос, насколько правомерно употреблять термин «нация» применительно к евреям. Если считать вслед за Андерсоном, что нации создал национализм, а не наоборот, – то да, еврейскую нацию создал еврейский национализм, зародившийся в период Хаскалы и выкристаллизовавшийся в одной из своих окончательных форм в виде сионизма, а также автономизма и других направлений еврейской мысли того времени.

– А насколько справедливо утверждение Занда, что еврейскую нацию создали по сути Грец и Дубнов, заместившие сакральный текст, вокруг которого традиционно группировался этнос, сакрализованной историей?

Л. Д. Первые еврейские историки, и Грец, и Дубнов, действительно опирались на священную историю, изложенную в библейских книгах. Но утверждение, что они «подменили» религиозную общность этнической, не вполне, на мой взгляд, корректно. Ведь до возникновения национальных государств религия была этнообразующим фактором, и осознание общности носило не чисто религиозный, а скорее синтетический характер. И это касается не только евреев. До начала XX века то же было, скажем, в мусульманском мире, где этничности как таковой вообще не существовало и любой человек на вопрос, кто он по национальности, ответил бы: «мусульманин». А уже потом, на фоне распада Османской империи, возник турецкий или арабский национализм. Все это, включая и еврейский национализм, – романтические проекты, возникшие под влиянием европейских идей.

– Что собой представляет историческая часть книги Занда: героическую попытку закрытия «белых пятен», как говорят он сам и его сторонники, или «ломление» в открытую дверь пополам с невежеством, как утверждают его оппоненты?

Л. Д. Думаю, момент штурма открытой двери здесь очень велик. Как человек, следящий за специальной литературой, я не замечаю в современной израильской историографии никакого замалчивания острых или неудобных вопросов. Такие

«ревизионисты», как Израэль Финкельштейн, другие ученые тель-авивской школы, активно публикуются, цитируются, печатаются в европейских и американских изданиях.

– **Занд пишет, что библейская археология полностью дезавуировала историческую достоверность Библии. Так ли это?**

Л. Д. В той части, где Занд говорит о Библии, вообще много странного. Например, он оперирует данными из книги Эстер, хотя все сходится на том, что это самая аисторичная книга Танаха. Впрочем, у Занда и в других частях хватает крайне странных и подрывающих его научную репутацию замечаний. Так, он пишет, что «две ивритские буквы (“шин” и “цадик”) перешли в кириллицу вследствие длительного владычества хазар над русами». Но общеизвестно, что сами создатели славянской азбуки заимствовали эти буквы из иврита, поскольку в греческом не нашлось буквенного обозначения для соответствующих звуков.

Что до библейской археологии, то это вопрос, где нельзя сказать ни да ни нет. Действительно, в современной науке существует определенный скепсис по отношению к Библии как историческому источнику. Скепсис этот возник не вчера, уже в 1970-х годах стало более или менее ясно, что те данные раскопок, которые раньше воспринимались как подтверждение библейского текста, на самом деле его, как минимум, корректируют. Например, произошла передатировка строений, которые считались относящимися к эпохе Давида и Шломо. Кроме того, давно известно, что в Библии смещены многие реалии, а в текстах есть явные анахронизмы. Так, история Авраама традиционно относится к XVIII веку до новой эры, но там упоминаются верблюды, одомашненные на несколько сотен лет позже.

Это стандартная ситуация для археологии вообще. То же произошло, скажем, с крито-микенской цивилизацией: Артур Эванс считал, что откопал дворец царя Миноса, а это оказался некрополь. Точно так же и Генрих Шлиман был уверен, что нашел гомеровскую Троя, а потом выяснилось, что это другая Троя.

Но категоричные выводы в вопросах библейской археологии, конечно, пока делать рано: практически по всем ключевым вопросам полемика продолжается.

– **Апеллируя к западной леволиберальной критике национализма второй половины XX века, Занд по сути представляет эту традицию как единственно научную. Насколько правомерен такой подход?**

М. К. Занд опирается на работы таких классиков школы «теории национализма», как Бенедикт Андерсон, Эрнест Геллнер, Эрик Хобсбаум. Основные положения этих исследователей можно свести к следующему. Как идеология и движение национализм современен, его возникновение датируется концом XVIII или началом XIX столетия. Территориально он тогда был ограничен Западной и Центральной Европой, а также США. Согласно концепции «гражданской нации», национальная принадлежность определяется не этнической идентичностью, а гражданством. Границы наций должны совпадать с границами государств.

Надо признать, что эта школа весьма влиятельна. Дело в том, что в вопросе о национализме парадоксальным образом смыкаются интересы левоориентированных интеллектуалов и западных либеральных демократий. Для первых отрицание национализма было одним из проявлений постхолокостного синдрома (Геллнер и Хобсбаум – евреи, бежавшие от нацистов из континентальной Европы в Лондон) и

следствием их марксистского неприятия национализма как идеологии. Что же касается властных элит, то они заняты строительством гражданских наций на практике, и модернистская теория «критики национализма» является для них определяющим идеологическим обоснованием и инструментальным механизмом.

– **Актуально ли сегодня стремление к «гражданской нации» для Израиля?**

М. К. Не думаю, что реальность Ближнего Востока позволит таким планам воплотиться. Например, несколько десятилетий назад большинство арабского населения Израиля определяли себя как израильских арабов, а теперь все большее их число декларируют себя палестинцами. Реалистично ли в этой ситуации и с учетом роста исламистских настроений ставить вопрос об отходе Израиля от концепции национального государства?



Марк Куповецкий

– **Занд с полемическим задором отмахивается от определений и выводов известного английского исследователя национализма Энтони Смита как от антинаучных. Так ли это?**

М. К. Занд вообще чрезвычайно упрощает все вопросы, связанные с плодотворной полемикой упомянутых Андерсона, Геллнера и Хобсбаума с Энтони Смитом, который, кстати, является учеником Геллнера. Смит вполне резонно указывает на необходимость учитывать при анализе современного национализма его преемственность с этническими общностями древности и средневековья, которую стараются «не замечать» его оппоненты. Еще дальше идет, например, Джон Хатчинсон, который характеризует нацию как политизированную этничность. Для Занда столь непростые теоретические дискуссии по сути сводятся к стремлению разорвать связь между древними и средневековыми евреями, с одной стороны, и современным населением Израиля – с другой.

– **То есть мы можем, оставаясь в рамках науки, говорить о существовании еврейского народа применительно, допустим, к XVII столетию, несмотря на отсутствие таких общих признаков, как язык и территория?**

М. К. Особенности этнической истории евреев в том и заключаются, что со второй половины I тысячелетия до новой эры у них не было территориального и языкового единства. Значит ли это, что уже с древности евреев нельзя считать этнической общностью? Конечно же, нет. Просто в модели еврейской идентичности куда более важную роль стали играть другие этнические символы, в частности, иврит как язык высокой культуры и религиозных практик и Эрец-Исраэль как историческая родина, в которую евреи рано или поздно должны возвратиться. Любой непредвзятый исследователь может отметить, что эти символические «заместители» были для евреев исключительно значимы.

Природа этнической реальности столь сложна и многоаспектна, что сводить ее вслед за Сталиным к австромарксистскому определению нации с единством территории и языка в качестве основных ее признаков, прямо скажем, легкомысленно. Конечно, на этапе формирования этнической общности такое единство, как правило, присутствует, но в последующем это необязательное условие. Даже не ссылаясь на столь известные примеры, как армяне или китайцы, упомяну хотя бы о русских липованах – потомках казаков, мигрировавших в пределы Османской империи еще в начале XVIII века и проживающих в современной Румынии.

Кроме того, когда Занд говорит, что евреев не объединяло ничего, кроме иудаизма, он не понимает или делает вид, что не понимает: раввинистический иудаизм изначально формировался не просто как религия, но и как идеально отлаженный этнозащитный механизм. Мне не раз приходилось задумываться над феноменальной прозорливостью той части еврейской элиты рубежа древности и Средневековья, которая посчитала важным сохранение еврейского единства в условиях утраты территории, языка и общности культуры. Кстати, у них были интеллектуально весьма мощные оппоненты-универсалисты, которые реализовали совершенно иную задачу – навязать монотеистическое религиозное мировоззрение языческому миру. Но это уже другая история.

Что же касается тех, кого волновало этническое единство евреев, то, например, в конце XIII века в Крыму шел ожесточенный спор между раввинистами и караимами по поводу календаря. Казалось бы, что у них, более важных тем для обсуждения не было? Но в условиях территориальной разобщенности календарь превращался в один из важнейших факторов сохранения единства – единое время молитв, зажигания субботних свечей и так далее. Здесь дело не только в вере, но и в утверждении общего культурного пространства.

Или посмотрите, какое место уделяется в алахе отграничению евреев от остального мира, сколько интеллектуальных усилий потребовалось в раннем Средневековье, чтобы сохранить тот феномен, который один из крупнейших культурных антропологов второй половины XX века Фредрик Барт определил как этническую границу. Конечно, это уже признак не конфессиональной, а этноконфессиональной общности.

– То есть на сакраментальный вопрос Занда «Что общего между евреями Киева и Северной Африки в XV веке, кроме религии?» будет корректным ответ: «Религии достаточно»?

М. К. Это явное упрощение. Мы говорим, что современный мир – это глобальная информационная цивилизация, которую обеспечивает «всемирная паутина». Между тем уже в раннем Средневековье еврейская общность функционировала по той

же модели. Просто вместо оптоволоконной связи существовали караванные пути, по которым от Магриба и Испании до Китая за несколько месяцев доходили тексты, формировавшие не только правовое, но и культурное единство евреев как этнической общности, обладавшей к тому же устойчивой исторической памятью. Конечно же, в нюансах, иногда весьма значимых, евреи средневекового Киева отличались от евреев Магриба, но осознание своего единства у них, несомненно, присутствовало.

Например, в начале XIX века евреи Восточного Туркестана стремились установить контакты с евреями Шклова, чтобы торговать с ними напрямую, без посредничества бухарских купцов. Первое, что шкловские евреи написали им в ответ: «Не потомки ли вы потерянных десяти колен и не знаете ли, где еще живут наши братья?» То есть присутствовало представление о единстве происхождения – пусть и мифологическое. Кроме того, и в Шклове, и в Северной Африке, и в Туркестане еврей, встав утром, благодарил Б-га за то, что Тот сотворил его потомком Авраама, Ицхака и Якова.

С конца XVIII века традиционная еврейская идентичность вступила в полосу кризиса. Сейчас можно констатировать наличие многих еврейских идентичностей. Ощущение единства не столь сильно, как в прошлом, а иногда и отсутствует вовсе. Но у евреев уже был подобный исторический вызов – примерно две тысячи лет назад. Тогда адекватные ответы были найдены. К этому можно и нужно стремиться и в настоящем или, по крайней мере, в будущем. Остальной мир, как и в прошлом, от этого только выиграет.

Что касается «выдающегося израильского историка» Шломо Занда, то он, несомненно, пополнит список мифотворцев от науки, которыми столь богат современный постмодернистский мир.

ЛЕХАИМ АВУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

КНИЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ НА ФОНЕ НАВОДНЕНИЯ

Àèèòíðëÿ Î î-àëíàà

Î ðàçæàòü à î àëíëóô Áàððààò - àíààà òàíàíëüíð àëà ààæà àíëè ðàí èè àëààà è-àíëíà íàí àíà ííçàíëÿò ààæàòü ÿòí ðàíëÿðíí. Í î íà ííë ðàç Áàððààà àíëà íà-àëüíà: íàíà íàòëíàëëüàÿ òðààíëÿ íëó-èëàííí ñàííí íàíàáíí, ííà Ñì íëàííëíí, è íàí ÿòü î íàë ðàçëèòà à àòí ííòàðà àðíàà, íòðàæàíà íà àíëüòëò òíòíòàíààò íàðà íðàçàáíòíëè ààíòíí, íà íëàëàòàò, à àíçàòàò è íà òàëàëàáí èè; àðíàÿ - ñòðàóííà íàíàíàíà - ðàçàíðà-èààòíÿ «çàáíí è òàíàðí». Í à ÿèðàíà òàëàëàçíðà - çàòííëàííà àðíàà è ààðàíë, íëà-òùèà ààòë, ëðàë, à íàí î-àííà ííòàðÿàèà àíà íàíà èí òùàíòàí, ñàíàòàëü íí àðàáí à àíàà ñ èí òàíííé

*ṡāā-ēīē īā ḡēāḡ, īīāāḡīūā, ṡēāāōū, āīāḡīāīēūū ṡ āāīīā-īūīē āāēūīē
ī āēēāī ē ṡīāīēīī, ēīōīḡūā āīēāīū ṡōāōūī ḡāāāāīē ḡāēēāīpūēī ṡṡ āīāī Ḃēīēū
ē īāāāā, īāāāīā ēēōā ṡōḡāīū ā ḡāēīīāūḡ ṡāīīāāḡ...*



Торопясь в Институт литературных исследований на конференцию «Женщина и Б-г», я все же не могла не задержаться, чтобы послушать поразившее меня выступление премьера Туска – он говорил только очень конкретные вещи (сколько, где, что, какие потери, нужды, цифры), никакой риторики, дежурных официальных фраз, как бы довольно «скучное» выступление хозяйственника, человека дела, не слова... В голове крутились какие-то строчки из «Медного всадника» (кстати, Пушкин писал его, полемизируя с Мицкевичем, как-то все перепуталось – Петербург, Варшава, наводнение): «С Б-жией стихией царям не совладать», «спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ».

В польской истории библейским словом «потоп» описывается шведская оккупация страны в середине XVII века (историческая память поляков, всегда меня поражавшая своей длительностью и прочностью, бережно хранит и эти драматические события – на границе Старого и Нового города спустя 300 лет установлена мемориальная доска в честь героев-освободителей Варшавы от оккупантов). Происходящее в Польше сейчас не называют столь сильным словом, говорят: «наводнение» («повуджь»), но какой-то библейский отзвук во всем этом как будто присутствует. Во всяком случае, к льющемуся сверху ливню относишься не с беспечностью, как к обычному майскому дождю, а с настороженностью и тревогой, как к неуправляемой стихии. Уже улицы, расположенные близко к Висле, закрываются для проезда, разговорчивый таксист везет окольным путем («о, этот мост, проше пани, закрыли»), кого-то эвакуируют, жителей призывают помогать возводить дамбы из мешков с песком, которого, говорят, не хватает...

Таким неожиданно оказался фон моей поездки в Варшаву. И в этот фон мне предстояло вписать собственную осмысленную картинку. С моей польской коллегой, ехавшей в то же самое время в рамках того же академического обмена в Москву, мы успели обменяться информацией: я ей сообщила, что следует не пропустить из культурной еврейской жизни российской столицы, она мне – чего не упустить в Варшаве. Главным ее советом было посещение «Дней еврейской книги» (23–26 мая), ежегодного, уже 13-го по счету, книжного фестиваля, включающего презентации, дискуссии, встречи с авторами и переводчиками, выставки, концерты, показы фильмов.

Организует его журнал «Мидраш», у которого есть и собственное издательство^[1], а спонсорами выступили министр внутренних дел и управления

Республики Польша и Фонд Рональда С. Лаудера. У «Мидраша» в этом году было и много партнеров по подготовке фестиваля: Фонд им. профессора Моисея Шорра, еврейская община Варшавы, фонд «Шалом», австрийский Форум культуры, швейцарский фонд культуры «Prohelvetica», издательства «Чарне» и «Аустерия» (названо, очевидно, по одноименному роману Юлиана Стрыйковского, вышедшему недавно в русском переводе, см.: Лехаим. 2010. № 7).

Все мероприятия проходили хоть и на разных площадках, но в одном районе: в давнем центре варшавской еврейской жизни, на Гжибовской площади и втекающих в нее улицах, Пружной и Твардой, где находятся и (единственная теперь в Варшаве) синагога Ножиков, и общинный дом (там расположены Центр им. Моисея Шорра, редакция «Мидраша» и книжный магазин), и Государственный еврейский театр, внутри которого есть уютный клуб «Мамеле». Поэтому посетитель, который стремился ничего не упустить, легко перемещался в этом треугольнике – Гжибовска–Тварда–Пружна – с презентации книги (перевод и комментарии Петра Пажиньского, полиграфически – маленький шедевр) американского писателя и реформистского раввина Лоренса Кушнера «Книга букв. Мистический алфавит» (по замыслу автора это букварь еврейского духовного возрождения) на доклад немецкого историка Катрин Штолл и встречу с польским историком и социологом Хеленой Датнер, посвященные 20-летию со дня смерти директора Еврейского исторического института Шимона Датнера.



Стенд издательства «Мидраш»; главный редактор «Мидраша» Петр Пажиньский

И даже австрийский Форум культуры, где проходила часть богатой программы «Дней», оказался поблизости (на Пружной, где еще сохранились довоенные еврейские дома, в одном из которых жил основатель синагоги Залман Ножик). Здесь

была устроена замечательная выставка «Лица восточноевропейских евреев» немецко-еврейского художника Германа Штрука (Хаима-Арона Бен-Давида; 1876–1945), который в годы первой мировой войны, будучи солдатом немецкой армии, оказался на польских, белорусских, литовских и латвийских территориях и был очарован неизвестным ему ранее миром. Он создал несколько сотен рисунков, гравюр, составивших первую в XX веке художественную «антологию» типажей этих экзотических для западного еврея Ostjuden, изображений местечек, меланхолических пейзажей, всей этой вскоре исчезнувшей вселенной.

Другим чрезвычайно интересным событием в австрийском Форуме стала вечерняя дискуссия о пока еще не вышедших книгах – «Прочитанное в переводах». Начинающие переводчики представили здесь современную европейскую прозу: Агата Мокшицка – роман болгарского писателя и сценариста Анжела Вагенштайна «Прощай, Шанхай!», последнюю часть трилогии, посвященной еврейским судьбам в XX веке^[2]; Виктор Сыбильский – «семейную сагу» швейцарца Чарльза Левинского «Мелниц», охватывающую на 800 страницах период 1871–1945 годов и полную «бурных романов, неторопливых детальных описаний еврейской повседневной жизни и обычаев»; Лукаш Жебровский – роман «Последнее желание» австрийского (ох уж эта сложная идентификация: родился в 1966 году в Ленинграде, выехал с родителями в Израиль в 1971 году, переехал в Австрию, вернулся в Израиль, уехал в Америку, а с 1981 года живет снова в Австрии и пишет по-немецки) писателя Владимира Вертлиба, опубликовавшего уже несколько прозаических книг; в этом романе он задается вопросами, насколько человек нуждается в религии, где он пребывает – при жизни и после смерти...

Мне остается только сожалеть, что я не смогла быть (из-за свалившей меня с ног простуды) в австрийском Форуме на «философском салоне», где обсуждалась книга «В пустыне» Агаты Белик-Робсон, утверждающей, что избежать религии невозможно, что «светского» вообще не существует, а в современной философии есть множество «скрытых богов». Битва между ними не видна, ибо, как говорил Вальтер Беньямин, она происходит под столом, и целью книги Белик-Робсон как раз и являлось заглянуть под этот стол. Зато среди моих приобретений – книга другого философа, участника, как и Белик-Робсон, «сфферовских» конференций Адама Липшица из Института философии и социологии ПАН, «След иудаизма в философии XX века», где рассмотрены избранные концепции еврейских философов, от Германа Когена до Жака Деррида. Автор рассматривает не только мыслителей, идентифицирующихся с иудаизмом, но и тех, кто от него весьма удален, хотя на каких-то глубинных уровнях и обращается к его интеллектуальному наследию.

Лишь на одну презентацию – перевода документального романа «Зонненшайн» известной хорватской писательницы (а также университетской преподавательницы современной английской литературы) Даши Дрндич – пришлось бежать под дождем в другое место – клуб с загадочным названием «Тарабук». По своему характеру – сочетание интеллектуального клуба, кафе и книжного магазина – он похож на московскую «Билингву». Но в отличие от нее, здесь покупателю книги предоставляется бесплатная чашка кофе или пирожное (поскольку я спешила на следующее мероприятие, то воспользоваться этим бонусом не успела, но чек сохранила и готова передать его собирающемуся в Варшаву; адрес клуба: Броварна, 6).

Большая, сдержанно написанная книга Дрндич включает множество документов, биографических справок, протоколов допросов нацистских преступников, интервью, фотографий; 78 страниц занимает список 9 тыс. евреев, депортированных из

Италии или убитых в Италии и оккупированных ею странах в 1943–1945 годах (на публикации этого списка автор категорически настаивала: «за каждым именем скрывается история»). Автор тщательно прослеживает одну такую историю – еврейской девушки Хаи Тедески, влюбившейся в эсэсовца и родившей сына Антонио, которого сразу крестили и похитили у нее, чтобы воспитать в «истинно немецкой семье». Этой распространенной нацистской практике, неприглядной роли католической церкви, судьбам сотен тысяч детей военного времени (из многочисленных гиммлеровских домов «Лебенсборн», инкубатора достойных наследников фюрера), которым сейчас к семидесяти, но они не знают своих родителей, автор уделяет пристальное внимание. Эту книгу расчетов с прошлым, которое – со всем грузом своих до сих пор не раскрытых (а если даже и раскрытых, то не осмысленных) страшных, неприятных, грязных тайн – длится в настоящем, трудно читать, но и оторваться нельзя.

Бэлла Шварцман-Чарнота (философ, переводчица, одна из основателей журнала «Мидраш») представила свою новую работу – «Цена их выше жемчугов. Портреты еврейских женщин», которая является продолжением ее предыдущей книги – «Препоясали силою чресла свои». В названиях обеих книг – цитаты из книги Притчей Соломоновых, обе они включают в себя лекции, которые автор читала на протяжении последних лет. Издания сходны и структурно: используя «похвалы добродетельной жене» из Притчей, автор, вслед за Мидрашем а-гадоль, относит каждый стих к той или иной женщине, чья жизнь, деятельность и заслуги как бы олицетворяют данное свойство (в первую книгу вошло 14 таких портретов, во вторую – 8), причем наряду с женскими персонажами Торы (Сара, Мирьям и др.) вводит и образы светских женщин. Например, стих «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками» отнесен к Юдит Каплан-Эйзенштейн, дочери р. Мордехая Каплана, внесшей радикальные изменения в синагогальный обряд, а стих «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» – к идишской поэтессе Рухл Фишман.



Клуб «Мамеле». Бэлла Шварцман-Чарнота, Агнешка Дроткевич. Презентация книги «Цена их выше жемчугов»

Профессор Шимон Рудницкий с женой Еленой

Сборник энциклопедического характера «Польские евреи. Необычайные истории» покупать не пришлось – его подарила мне коллега, Ханна Венгжинек, одна из 19 авторов этого созданного сотрудниками Еврейского исторического института и Музея истории польского еврейства издания, включившего 200 биографических очерков о выдающихся деятелях XX века, в том числе и живущих в веке XXI-м (Шимон Перес, Роман Полански, Адам Михник). Здесь представлены люди искусства, науки, экономики, сыгравшие видную роль в польской культуре (Юлиан Тувим, Бруно Ясенский, Ежи Хоффман) или в истории других стран (Давид Бен-Гурион, Менахем Бегин, Хаим Вейцман, Ицхак Шамир), в мировом искусстве (И.Б. Зингер, Бруно Шульц, Станислав Лем), в политике (Роза Люксембург, Карл Радек, Ричард Пайпс). Здесь есть имена, много значащие в еврейском мире – И.-Л. Перец, С. Ан-ский, Януш Корчак, Марек Эдельман, есть выдающиеся историки еврейского народа, есть и доктор Людвик Заменхоф, мечтавший объединить все человечество общим языком – эсперанто. Собранные воедино, эти впечатляющие биографии позволяют оценить, сколь значителен вклад польского еврейства – на протяжении лишь одного прошедшего века – в общемировое наследие.

На книжной ярмарке, открытой в здании общины, поражает изобилие выходящих книг по еврейской тематике. Приобрести все то, что хотелось бы, просто невысказано, но даже и рассмотреть все представленное – выше сил. Листаю новинки, изданные «Аустерией». Вот переводы «Одесских рассказов» Бабея («Это книга,

которую я не взял бы на необитаемый остров только потому, что знаю ее наизусть», – написал переводчик Ежи Помяновский). Вот сборник чрезвычайно интересных, разнообразных, глубоких эссе профессора философии Варшавского университета Станислава Краевского «Наша еврейскость» (не подыскала русского соответствия – «еврейство» имеет иное значение, можно было бы сказать «идишкайт», но автор, хотя и употребляет это слово в тексте, в названии предпочел его польский аналог). Бесспорно, эта книга, заслуживающая более пристального погружения, могла бы вызвать интерес и российского читателя.

Автобиографические очерки израильского автора Нили Амит (некогда «барышни из приличной польской семьи», в детстве с родителями совершившей алию, сейчас живущей попеременно в Израиле и Польше, где читает в Варшавском университете и Collegium Civitas лекции по израилеведению и сотрудничает с Музеем истории польского еврейства), собранные в книгу «А ведь я должна была стать принцессой из сказки...», написаны с большим чувством юмора, которое не изменяет Амит, даже когда она касается довольно трудных обстоятельств (детство в социалистической Польше, сложный процесс адаптации к жизни в Израиле, спартанские условия мошава, служба в армии) или весьма личных тем (семейные отношения, «война полов»).

Есть и множество научных книг по иудаике, вышедших в нееврейских издательствах. Таков, например, впечатляющий своим полиграфическим обликом объемистый том «Там был когда-то мой дом... Книги памяти еврейских общин», выпущенный люблинским Университетом им. М. Склодовской-Кюри и представляющий собой результат работы над проектом «Книги памяти (Изкор бихер) как источник знания об истории, культуре и Катастрофе польских евреев». Это чрезвычайно ценный источник, со множеством тематических разделов («Вместо мацевы», «Мое местечко», «Культурная жизнь», «Характерные персонажи» и пр.), богатым иллюстративным материалом, фотографиями, воспоминаниями.

Тот же университет издал сборник исследований преимущественно молодых ученых из разных научных центров «Об аккультурации и ассимиляции евреев в польских землях», а во Вроцлаве вышло обширное исследование Агнешки Ягодзиньской «Между. Аккультурация евреев Варшавы во второй половине XIX века», что свидетельствует о том внимании и интересе, которые уделяются проблемам диалога, взаимодействия культур. Исторический музей Кракова подготовил издание «Краковяне. Выдающиеся краковские евреи XIV–XX вв.», построенное по принципу энциклопедического словаря с отдельными тематическими разделами («Раввины», «Политические и общественные деятели», «Купцы, промышленники, деятели экономики», «Врачи», «Ученые», «Типографы и издатели», «Люди искусства»).

Невозможно пройти мимо книги известного журналиста и писателя Стефана Братковского «Под одним небом. Краткая история евреев в Польше и польско-еврейских отношений», содержащей обзор целого тысячелетия – с X по XX век. Когда Братковский писал свою «Самую краткую историю Польши», то пришел к выводу, что истории еврейского народа, нашедшего в Польше свое убежище на много веков, придется посвятить отдельный труд. И вот теперь его новая книга погружает читателя в «мир великих купцов и банкиров, философов от рождения, раввинов и цадиков», в ту реальность, которая впоследствии даст «великих художников польского слова и ученых». «Это также и история сосуществования с поляками и отделенности от них, история дружбы и вражды», – пишет автор, убежденный, что познание накопившихся обид и мифов необходимо для примирения и взаимопонимания.

ВЗГЛЯД НА ИЗРАИЛЬСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 2009–2010 ГОДОВ

Елена Римон

6 июня на церемонии присуждения литературной премии Рамат-Гана выступил прославленный профессор Менахем Пери, автор классических исследований о Бялике, основатель теоретико-литературного журнала «А-сифрут» и влиятельного журнала «Симан Крия», в котором впервые увидели свет произведения Амоса Оза, А.Б. Иегошуа, Н. Заха и других авторов «новой волны». Да и сам Пери, вкупе с Биньямином Харшавом, Итамаром Эвен-Зоаром, Даном Мероном и Гершоном Шакедом, был видным представителем «новой волны» в израильских критике и литературоведении.



Эта волна поднялась в 70-х годах как отзвук впервые прочитанных русских формалистов. Юным израильским новаторам в особенности пришлось по душе теория Юрия Тынянова, согласно которой в литературе каждого исторического периода присутствуют четко очерченные «центр» (наиболее престижные течения, живая классика) и «периферия» (новые, только зарождающиеся явления). Периферийные жанры, направления и молодые авторы идут в атаку на центр (тут, конечно, не избежать ассоциаций с рабочими окраинами, штурмующими дворцы, почту и телеграф), вследствие чего господствующие слои с боями отступают, а их место занимает бывшими аутсайдерами.

Израильская литературная ситуация конца 50–60-х годов действительно как нельзя лучше подходила к этой модели. Резко сменилась мода, старые кумиры – Натан Альтерман и Леа Гольдберг – были грубо и скандально низвергнуты, а вместо них воцарились новые: Натан Зах, Давид Авидан, Йеуда Амихай и другие поэты группы «Ликрат». Так обстояло дело в поэзии. В прозе тоже появилась новая обойма: молодые писатели «поколения государства» Амос Оз и А.Б. Иегошуа стремительно заняли центр и воцарились там на долгие десятилетия...

И вот в 2010 году, получая престижную премию «за деятельность всей жизни в литературе», маститый Менахем Пери, как и подобает неисправимому бунтарю, нарушил благодатную атмосферу интеллектуального праздника. Да, заявил Пери, он действительно всю жизнь трудился на ниве израильской литературы в качестве критика и редактора, а также исследователя, преподавателя и заведующего кафедрой литературы

Тель-Авивского университета. Но результат этих трудов – нулевой: «У нас есть книги, но нет литературы. В Израиле выходит немало хороших книг, но они появляются в литературной пустыне, как рыбы без воды, вне всякого контекста, без всякого отношения к тому, что было раньше, без всякого намерения взбунтоваться, начать что-то новое. А ведь литература – это не просто груды книг. В ней должны быть центр и периферия, война стилей и вкусов, должны быть возникающие и разрушающиеся иерархии. Но мы уже забыли, как это было – было еще в 70-х годах прошлого века»[\[1\]](#).

Да почему же все это обязательно должно быть? Потому что так написано у Тынянова? Несомненно, исследователю гораздо удобнее работать с вполне обозначившимися школами и отчетливо выстроенными иерархиями. Ах, где вы, литературные кафе Берлина, Москвы и Петрограда, в которых юноши бледные со взором горящим рвались в драку за новые стили и жанры?! Ничего этого нынче нет.

Ну, собираются в Иерусалиме юноши в кипах и девушки в длинных юбках, читают друг другу стихи по мотивам ежедневных молитв и праздничных пиютов (группа религиозного поэтического журнала «Мешив а-Руах» под предводительством Элиаза Коена). Ну, собираются в том же Иерусалиме (но в других местах) молодые русскоязычные поэты и переводчики и опять же читают стихи при большом стечении народа (на мой взгляд, прекрасные стихи). Ну, началось в Тель-Авиве возрождение классической традиции ивритского стиха под руководством молодого поэта Дори Манора, редактора совершенно светского журнала «О!». Но не будет же престарелый профессор бегать по молодежным литературным вечерам, тем более там никто никого не ниспровергает, все тихо устраиваются сами по себе, в основном с помощью Интернета... Ни центра, ни периферии, вообще никакой структуры, сплошная ризома, простите за модное словечко.

Ну да, книги издаются и неплохо расходятся. Недавняя ярмарка «Неделя израильской книги», растянувшаяся в иных местах на месяц, собрала сотни тысяч любителей чтения. Но только вот почему-то в список бестселлеров попадают не Оз с Шалевом, а какие-то совершенно неожиданные сочинения – например, мишнаитский трактат «Авот» с новейшими комментариями Авиغدора Шинана.

Ну как тут выстроить иерархию? Как объяснить, к примеру, внезапный успех романа 38-летней Навы Макмаль Атир «Знак от Авшалома»?[\[2\]](#) Нава Макмаль – автор многочисленных детских книжек, «Знак от Авшалома» – первый ее «взрослый» роман. И вот надо же: в сентябре прошлого года он получил премию «Золотая книга» объединения израильских издателей, поскольку еще до официальной презентации было продано больше двадцати тысяч экземпляров. Сейчас распроданный тираж перевалил за пятьдесят тысяч, для израильского рынка это нечто неслыханное.

Роман этот чрезвычайно странный: даже самым неискушенным читателям видно, что он затянут и написан неровно – есть главы, от которых просто невозможно оторваться, есть довольно скучные, а есть такие, без которых вполне можно было бы обойтись. Над интересными главами проставлены даты с 1895 по 1916 годы. Над менее интересными – 2008. А над совсем уж загадочными главками, напечатанными бледным шрифтом, – 1974.

Приключения героев разворачиваются в трех пространственно-временных пластах, которые многократно пересекаются и переплетаются. Еврейские поселения в Палестине конца XIX – начала XX века. Тель-Авив, Париж и Стамбул 2008 года. И наконец, 1974-й, нью-йоркская клиника, в которой умирает от ран молодой израильский

солдат. Все эти эпохи и страны соединяет уроженец Палестины Авшалом Файнберг, бесстрашный борец за свободу еврейского народа, организатор антиоттоманского подполья «Нили», красавец, великолепный наездник и тонкий поэт, полиглот и блестящий знаток арабской, ивритской и французской литературы, кумир палестинских девушек.

И жизнь, и смерть его овеяны романтическими легендами. Не дожив до тридцати лет, он погиб в 1917 году при нападении бедуинов в Синайской пустыне, когда вместе с Иосифом Лишанским пытался пробраться к англичанам. Долгое время подробности его смерти были известны только со слов чудом выжившего Лишанского, над памятью которого десятилетиями нависало подозрение, что он сам убил Файнберга, поскольку был безнадежно влюблен в участницу подполья Сару Ааронсон, которая, в свою очередь, любила Авшалом, помолвленного с ее сестрой Ривкой. Только в 1967 году, после завоевания Синая, были разысканы останки Авшалом. У бедуинов сохранились рассказы о «могиле еврея», над которой выросла финиковая пальма – она проросла из фиников в сумке Авшалом, а финики дала ему в дорогу Сара Ааронсон. Авшалом Файнберг скакал в Египет, чтобы передать английской разведке сведения, собранные группой «Нили», и, может быть, спасти подпольщиков. Но до Египта он не добрался, «Нили» была разгромлена, несчастная Сара покончила с собой после чудовищных пыток, некоторые члены подполья были расстреляны или скончались от пыток, двоих повесили в Дамаске – один из них Иосиф Лишанский, кричавший перед смертью: «Сара, я люблю тебя!»

Но «Знак от Авшалом» – это роман не только о прошлом, но и об открытии прошлого по оставленным знакам – письмам и артефактам. Главная героиня сюжетной линии 2008 года, графолог Альма Бах, привыкла к атмосфере строжайшей тайны. Но как-то раз она получает для анализа анонимное письмо, причем заказчик предпринимает из ряда вон выходящие меры, чтобы сохранить свое инкогнито. Анализируя почерк, Альма приходит к выводу, что автор письма – мужчина ее мечты: сильный, нежный, чувствительный, смелый, человек пылких страстей и выдающегося интеллекта. Таких людей в ее тель-авивском окружении сроду не бывало, поэтому Альма без всяких колебаний решает бросить все и пуститься на поиски. Она летит в Париж, затем в Стамбул и снова в Париж, встречается с разнообразными людьми, среди которых престарелая египетская принцесса, турецкий антиквар и израильский разведчик. Параллельно разворачивается сага о семьях Файнбергов, Ааронсонов, Ханкиных, Белкиных – людях Первой алии, обосновавшихся в Палестине в конце XIX века. Третья линия романа – мистический контакт израильского солдата Авшалом Шоама, умирающего в нью-йоркской клинике, с духом его двоюродного деда Авшалом Файнберга.

Все сюжетные линии романа обрываются – и не случайно – на самом интересном месте. Образ Авшалом Файнберга остается окутанным тайной. Кто же он был? Наивный романтик, веривший, что созданная им организация ускорит победу интеллигентных англичан над коррумпированными и грубыми турками и еврейская Палестина воспрянет под могучим крылом Британской империи, – или же авантюрист, движимый безумной жадой приключений и вульгарной страстью к английскому золоту? Почему он завел странный роман с двумя сестрами Ааронсон и которую из них он любил на самом деле? И удастся ли Альме Бах забыть свою абсурдную страсть к мужчине, на костях которого давным-давно выросли финики, и ответить наконец на чувство симпатичного молодого агента израильской разведки Йорама, с которым ее свела профессия? О дальнейшей судьбе Авшалом Шоама и спрашивать нечего: в тех

надзвездных высях, куда его сопровождает призрак Авshalома Файнберга, уже не может быть никакой судьбы.

Трагическая и героическая гибель «Нили», хорошо известная израильтянам по учебникам истории и по роману Дворы Омер «Сара, героиня Нили», в книгу не вошла – историческая линия заканчивается 1916 годом. Зато подробно описаны запутанные отношения Авshalома Файнберга с сестрами Ааронсон и нескончаемые чаепития Альмы с предполагаемыми информантами. Тут-то и спрашиваешь себя: стоило ли доверять новое открытие истории «Нили» экзальтированной девице, влюбившейся в почерк (вернее, в собственные фантазии по поводу почерка), и умирающему солдату? По правде сказать, мне кажется, что на фоне мощных фигур Ольги Ханкиной, Авshalома Файнберга, Сары и Аарона Ааронсона, вообще всего героического быта еврейских поселений в Палестине рубежа веков, Альма Бах кажется бледной и скучной, а ее поиски и размышления – малоинтересными. Совмещение семейной саги и интеллектуального детектива в одном флаконе – дивная идея, но все-таки история детства и юности героев «Нили» и их окружения интересна сама по себе, без всякой детективно-мистической рамки.

Но исторические главы романа так увлекательны, полны столь точных и важных деталей, так убедительно воскрешают атмосферу времени, основаны на столь серьезном изучении архивных источников (в том числе найденных в самое последнее время и впервые изученных Навой Макмаль), написаны на таком богатом и интересном старинном иврите, что это искупает недостатки композиции. Украшают книгу недавно обнаруженные в архивах подлинные фотографии и письма Авshalома Файнберга.

Итак, обзор литературных новинок показывает, что израильтяне с удовольствием покупают и читают книги молодых авторов, которые еще не успели попасть в «обойму», – а может быть, и никогда в нее не попадут. В данный момент особенной популярностью пользуются исторические романы (см. мою статью о «Третьей книге Царей» Йохан Брандес: Лехаим. 2010. № 4–5), где развенчиваются и вновь создаются национальные мифы. Так что, видимо, известие о тотальном кризисе, посетившем израильскую литературу, о чем так прочувствованно возвестил Менахем Пери, несколько преждевременно. Может быть, пока обойдемся без иерархий?

[1] «I aeið Deoíí», i deéíaeíeá «Oááàò». 2010. 18 epíγ.

[2] Íááá I aei áeuAòeð Íò ì è-Ááøæíì. Áæíò póàðeì ; Nèóðæ Óai áá, 2009.

Непрошедшее прошлое

Pōiē Áaēāō

Áaōē Áōīēōāēīā

ī .: ōāēō; Ēīēāīēēē, 2010 – 347 ī

(Nāōēŷ «ī ōīcā āāōāēīēīē āēēīē».)



Роман «Дети Бронштейна» Юрека Бекера (1937–1997), прошедшего детство в польском гетто и в концентрационных лагерях, – о вине и ответственности, раскаянии и мести. Действие романа разворачивается в начале 1970-х годов. Восемнадцатилетний студент философии Ганс становится свидетелем и участником драмы, казалось бы, немыслимой через столько лет после конца войны. С момента смерти его отца прошел уже год, но лишь теперь молодой человек набирается сил, чтобы попытаться осмыслить цепочку предшествовавших этому событий...

Для свиданий со своей подругой Мартой Ганс использует загородный дом, построенный отцом после войны. Однажды юноша застаёт там отца и двух его друзей – они избивают человека, который оказывается надзирателем концлагеря Нойенгам, избежавшим суда. Ганс никак не может понять, зачем отец и его друзья пытками выбивают из бывшего нациста признания, – ведь никто из них не был узником того лагеря, где служил Хепнер (так зовут человека, привязанного к залитой кровью и мочой кровати). Он возмущен: «Почему же они не напишут заявление, не доверятся тому, чему все-таки можно доверять?.. Пусть он хоть сто раз будет мой отец, но я не считаю допустимым, чтобы бывшие жертвы хватали своих бывших палачей». Впрочем, не вполне мотивированное поведение отца и его поделльников составляет загадку не только для Ганса, но и для читателя.

Юноша забирает найденную в бумажнике Хепнера фотографию и машинально кладет ее в семейный фотоальбом. Так в роман входит идея общего нераздельного прошлого палачей и жертв. С ней связана другая ключевая тема книги Бекера – влияние утаенного, подавленного, но так и не избытого прошлого на настоящее. Ганс находится на пороге взросления, в том самом возрасте, когда выросшие дети стремятся погрузиться в историю своей семьи. Он размышляет о личности отца, которого любит, но от которого

отделен (непроясненность их отношений вызывает в памяти знаменитое письмо Кафки к отцу). Повествование то и дело отвлекается на взаимоотношения Ганса и его сестры, Ганса и Марты – но лишь для того, чтобы вновь вернуться к отцу и сыну, помочь им преодолеть разделяющее их расстояние.

Еще более явно тема непрошедшего прошлого возникает в истории старшей сестры Ганса – Эллы. В конце войны она пережила психическое потрясение, которое стало причиной ее заболевания: она подвержена неконтролируемым вспышкам агрессии, без всяких видимых причин кидается с кулаками на незнакомых людей. Из лечебницы Элла пишет Гансу письма, внешне абсурдные, но полные неявного смысла. Автор вновь заставляет читателя задумываться над мотивацией поступков героев, еще раз побуждает его решать темную загадку, корнящуюся в прошлом. Брат регулярно навещает сестру в больнице, заботится о ней – и одновременно, при всей ее беспомощности, видит в ней опору в мрачной истории, затеянной их отцом.

Но все же именно Ганс, которому жалко всех – сестру, отца, его друзей, бывшего надзирателя, – воплощает собой росток новой жизни, чье первое предназначение – прощение.

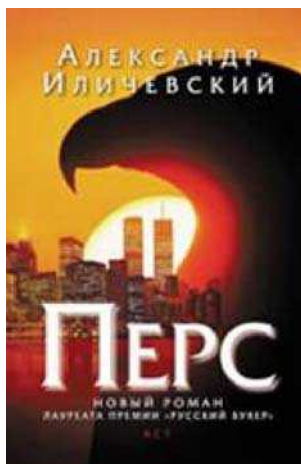
Àëäëñàí àð Èóçí àõíâ

Романный узор, или Путешествие в Апшерон

Àëäëñàí àð Èëë÷-àññëë

Перс

М.: АСТ; Астрель, 2010. – 640 с.



В роман, как в чемодан, можно положить все что угодно. Важно, есть ли у тебя, что туда положить. Ну и, разумеется, каким образом все уложено.

По богатству вошедшего, напиханного в роман, «Перс» Александра Иличевского, пожалуй, стоит на первом месте в современной российской словесности. Обилие разнородного материала, фактов и сведений не может не удивлять. Но это обилие не производит впечатления хаоса. Роман прихотливо устроен, но все-таки именно устроен, выстроен.

Начнем с названия. Оно вполне определенно и указывает на героя, на центральное место его линии в книге. Хашем – хранитель Апшеронского заповедника, почитатель и последователь Велимира Хлебникова, мистика, примеривавшего на себя платье мессии, – действительно главное действующее лицо, и его трагическая история, – в структуре романа обрамленная двумя знаковыми экспрессивными сценами (два описания мусульманского праздника Ашур, посвященного имаму Хусейну), – собственно, и есть основа сюжета.

Но вот только сюжет вырастает из воспоминаний, из довольно сложного путешествия в пространстве и во времени.

Иличевский пишет роман-травелог, роман описаний и роман-описание. Роман, пронизанный лиризмом, роман, позволяющий себе сложную фразу, почти забытый стиль лирических отступлений, заставляющий вспомнить славный XIX век: «Фотографии – дырки в забвении. Во дворе моего детства, полного утреннего тенистого затишья, гулкого вздоха горлинки, все-таки набранной садом к рассвету прохлады, – я вижу осу, сползшую по носику крана к набежавшей капельке... Солнце буравит мозжечок затмения. Вглядываясь в этот колодец зажмуренными глазами, чувствуешь на губах сладость, проступающую, как в росинке, сцелованной с рожка акации. Забыть? Да. Припасть к нему, как к соску Суламифи». Почти медитативный ритм, порой сменяющийся четким, размеренным историческим повествованием (а истории и историй в романе много).

Роман (и его центральный персонаж, Хашем) рождается из этих мемуарно-медитативных усилий лирического героя. Это он – путешественник, он рассказывает о себе и о Хашеме, он движется во времени и в пространстве по весьма извилистому маршруту: Сан-Франциско, Германия, Голландия, Москва, Баку. Апшерон, начало XX века, советское время и наша современность, война, революция. А плюс к тому – истории, истории, истории: родителей, учителей и наставников, Хлебникова и Абиха. Множество лиц и множество описаний.

А еще здесь есть пьеса о Хлебникове и персидская поэма, соколиная охота и миф о нефти, которая, оказывается, хранит в себе исток жизни, земного существования. Есть письмо Хлебникова Вячеславу Иванову, в котором поэт рассуждает о лурианской каббале и говорит о том, что ходил на уроки каббалы к раввину Меюхесу.

Это многолюдство, многоцветье как будто соприродно миру дореволюционного Баку, который в начале XX века «стал символом нового времени и самым сверхъестественным городом не только в Российской империи, но и в Европе. Всклотившие буйно шведская, немецкая, польская, греческая колонии, еврейская диаспора, презревшая черту оседлости, за пределы которой допускались только купцы первой гильдии, – все это составило плавильное содержание национального феномена нашего города, обусловило становление не имевшей примеров культурной и религиозной терпимости. Инженер компании братьев Нобелей Адольф Зорге, отец разведчика и племянник секретаря Карла Маркса, обедал в бакинском ресторане и играл в карты вместе с управляющим нефтеперегонным производством Ротшильдов Давидом Ландау, отцом великого физика». Ротшильд и Нобель – два имени наиболее значимые для Баку: «Долго в моем сознании фамилии Нобель и Ротшильд не значили ничего иного, кроме того, что обе эти семьи построили наш город. Бабушка сообщала, когда я просил деньги у матери, не знавшей, что отец перед уходом на работу дал мне пятерку: “Не давай. Он с утра уже ротшильд”... В отличие от отвлеченности “ротшильда”, все “нобелевское”, связанное с Нобелями, являлось символом совершенной практичности и

гарантией знака высшего качества... Вот почему для Апшерона словосочетание “Нобелевская премия” в детстве долгое время бессознательно воспринималось как просто “очень хорошая премия”».

И едва ли не главное очарование романа как раз и состоит в том, что читатель погружается в это разнообразие и многоцветье, в богатый и сложный повествовательный узор и следит за тем, как один цвет переходит в другой, одна история сменяет другую и один пейзаж уступает место другому.

Гила Лоран

В начале был камень

Гила Лоран

Фрикипедия, или Похождения Осколка

М.: Додо; Livebook, 2010. – 248 с.



В издательской аннотации «Фрикипедия» Гилы Лоран определяется как «цикл мидрашей о том, что все было совсем не так, как в официальных источниках». И это тот редкий случай, когда аннотация не врет: действительно мидраши, действительно не так.

– Масенька, Мася, – приговаривала старенькая тетя Роза, единственная выжившая из всей семьи, расчесывая Моисею седые кудри, пока он пил кофе – омерзительный, конечно, в походных условиях, совсем не то, что в Черной земле, но ничего не поделаешь. – У тебя сегодня важный день. Я погладила твою белую рубашку – надень ее, не забудь, и будь хороший мальчик.

Это тетя Роза, если кто не понял, снаряжает Моисея (ака Масенька) в поход на Синай, за скрижалями Завета. «Официальные источники» роль тети в событиях того дня попытались замолчать, но теперь Гила Лоран восстановила справедливость.

Тогда-то все и началось. На обратном пути с горы, заторопившись на разборку с соплеменниками, отлившими «какого-то мелкого рогатого скота из висюлек и побрякушек, в свое время спертых под шумок у людей Черной земли», Моисей не удержал скрижали, и они выпали и разбились. Самый мелкий осколок подобрал некий асоциальный элемент по прозвищу Чудак, по причине вышеотмеченной асоциальности

не участвовавший «в телячьих радостях всего лагеря». Подобрал, полюбовался – и спрятал в карман своих грязных штанов.

Этот-то камушек (один его скел был «цвета густого кофе, другой – цвета бараньего рога, третий – мокрого речного песка, а четвертый сверкал ослепительной белизной») и стал главным героем всех двадцати с лишним новелл, вошедших в книгу. Он катится сквозь эпохи и страны, появляясь то там, то тут, по своей воле выбирая себе хозяев, которым приносит чудесный дар и ужасный конец. Среди его временных владельцев – царь Соломон, Иисус Христос и Иуда Искарот, Брурия, жена рабби Меира Баал-Неса, «папесса» Иоанна, лжемессия Шабтай Цви и его «пиарщик» Натан из Газы, Осип Мандельштам и множество других известных и неизвестных людей и не вполне людей. А уж какая за осколком все эти столетия шла охота – не описать. Даже Джек Потрошитель вспарывал своим жертвам животы исключительно в поисках чудесного камушка – а то зачем же еще?

От «официальных источников» автор, как и было обещано, не оставляет камня на камне (хм!). Юдифь в исполнении Гилы Лоран будет до конца жизни любить Олоферна, которого и убила-то исключительно для того, чтобы он «никому другому не достался» и чтобы «больше уже никто к нему живому не прикоснулся». Царица Тамара, воспетая аутентичными лермонтовскими амфибрахиями, окажется потомницей царя Давида, а предводитель защитников Масады Элеазар бен Яир и описавший его подвиги Иосиф Флавий – родными братьями.

Подобных сочинений за последнее время вышло немало. От авторов большинства из них Гила Лоран отличается остроумием, эрудицией и много большим арсеналом повествовательных техник. Для такого рода книги нет ничего страшнее однообразия – автор «Фрикепидии» этой опасности счастливо избегает, придумывая едва ли не для каждой истории индивидуальный «костюм». Это могут быть беседы цадика с учениками на фарбрэнгене, интервью этнографа с информантом или белый пятистопный ямб «Бориса Годунова» (впрочем, непонятно, кого больше в «Сцене у фонтана» – Пушкина или анонимного творца «Протоколов сионских мудрецов»: «Скажи на милость, экая мадонна! / Моя взяла, однако, — молодцом! / Шма Исроэл! Гордитесь мною, ребе! / И решено: завтра двину рать»).

Чаше, однако, «прототипов» у той или иной новеллы два или несколько. Одна из самых остроумных идей Гилы Лоран – скрещение «Дон Кихота» с «Записками сумасшедшего». Действительно, давно пора было понять, что сервантесовский и гоголевский герои – это на самом деле один и тот же человек (излишне говорить, что человек этот – *ex nostris*), пытающийся, с камнем за пазухой, взойти на испанский престол. Дальше – больше: «Гамлет» скрещивается с Агатой Кристи, индейский эпос «Пополь-Вух» пророчествует о явлении Фриды Кало, а в почтенном талмудическом демоне Шабрири при ближайшем рассмотрении обнаруживаются черты толкиеновского Горлума.

Жаль только профессора Преображенского и примкнувшего к нему Борменталья. Они зачем-то скрещены с Менгеле и дружно отвечают на скамье подсудимых за евригический эксперимент, в результате которого на свет появился некто Эйхман. Булгакову и его героям вообще в последнее время много достается. Однако руки прочь! Филипп Филиппыч – наше все. Да и Евстигнеев, опять же, чудо как хорош.

Î éôâëë Î âéëîâ

Отражение в зеркале

Being Shylock – Ein Experiment am Yiddish Art Theatre New York 1947 («Быть Шейлоком. Эксперимент в Еврейском театре Нью-Йорка в 1947 году»)

На англ. и нем. яз.

Wien, 2009. – 96 s.



У этой книги почти детективная история. Опубликованные в ней фотографии случайно нашли в середине 1990-х – среди неразобранных архивов Еврейского музея Вены хранился конволют с 350 черно-белыми «театральными» негативами: сцены из спектаклей, портреты актеров. Была там и серия из двадцати с лишним снимков, посвященных одному спектаклю. Внимательное изучение единственной фотографии, запечатлевшей фасад некоего театра ночью, позволило установить, что попавшие в кадр автомобили выпускались в Америке до 1950 года, а световая реклама «подказала», что в театре играли спектакль «Шейлок и его дочь». После разысканий выяснилось, что такой спектакль в сентябре 1947 года поставил в Еврейском театре Нью-Йорка великий актер Морис Шварц (1889/1890 – 1960), родившийся на Украине, в 12 лет переехавший с родителями в Америку и сделавший там блистательную карьеру. Режиссер и импресарио Еврейского театра, Шварц и стал главным героем фотосъемки.

В основе пьесы лежал роман «Шейлок, еврей из Венеции», изданный в 1943 году в Тель-Авиве уроженцем Польши Ари Ибн-Захавой (1899–1971). В 1947 году роман печатался с продолжением в еврейской прессе, год спустя вышел его английский перевод. Для работы над нью-йоркской инсценировкой автор, бывший в то время ученым секретарем Еврейского университета в Иерусалиме, приехал в Америку к Шварцу.

Пьеса имеет дело с классическим мифом Шейлока, рожденным Шекспиром и позднее не раз переработанным, в том числе и Ибн-Захавой. Речь у него тоже об отце-еврее и принявшей христианство дочери Джессике (ее играла Шарлотта Гольдштейн, в спектакле также были заняты Муни Серебров и Дина Альперн). Гетто напоминает ей тюрьму, свобода связана с жизнью в нееврейской Венеции. Но решение отдалиться от иудаизма, еврейской идентичности, оказывается трагическим: Джессика кончает жизнь самоубийством.

Спектакль имел успех, он оставался в репертуаре до 1950 года и много раз показывался на гастролях. Эдна Нахшон, нью-йоркский специалист по истории еврейского театра, утверждает в опубликованной в книге статье, что «Шейлок и его дочь» предназначался прежде всего для той части иммигрантской публики, которая вряд

ли была знакома с Шекспиром. На первом плане в спектакле Шварца оказывались вопросы веры – прямая противоположность шекспировской пьесе, которую после войны из страха перед антисемитскими аллюзиями не раз изымали из репертуара и гастрольных планов, например, в городском театре Франкфурта в 1947 году или из афиши Британской Шекспировской компании, отправившейся в том же году в турне по Америке.

Вместе с Натаном Мудрым Лессинга шекспировский Шейлок стал ключевым образом европейской драматургии, определявшим границы понимания и представления о евреях и еврействе. В послевоенном мире этот сюжет имел особый подтекст, что видно прежде всего по немецкоязычным постановкам Георга Табори и Петера Цадека, а также по спектаклям в Польше и Северной Европе. Не случайно в Вене в прошлом году даже прошел симпозиум на тему «Шейлок после 1945 года. Инсценировки и дискурсы “Венецианского купца” Шекспира».

Снимки запечатлели закулисную жизнь спектакля: гримерные артистов, работу вспомогательного персонала. В статьях альбома подробно рассказывается и об истории театра, и об обстоятельствах таинственной находки. Достоверно известно, что фотографии хранились среди архивов, поступивших в музей из дома престарелых для евреев – выходцев из Белостока. Но среди его обитателей не нашлось фотографов, соответствовавших примерному возрасту автора, чье отражение на одном из снимков мелькает в зеркале гримерки. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы установить имя мужчины примерно сорока лет, с короткими волосами. В момент обнаружения снимков ему должно было быть около 90, не исключено, что он еще был жив.

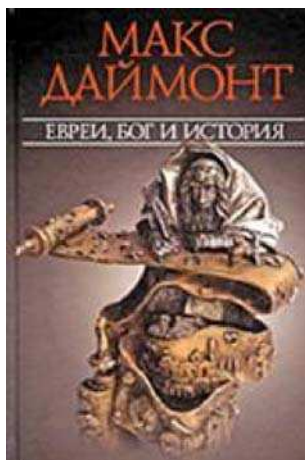
Алексей Мокроусов

Евреи, Даймонт и Россия

Макс Даймонт

Евреи, Б-г и история

М.; Иерусалим: Мосты культуры/ Гешарим, 2009. – 570 с.



Когда-то эта книга была глотком свежего воздуха. Обобщающих повествований о еврейской истории было доступно очень немного – академичный Эттингер карманного формата из «Библиотеки Алия», перепечатанный Дубнов с ятями

да альбомная Рут Самуэльсон. Потом к ним присоединился Пол Джонсон – умная содержательная книга в куцем анекдотическом переводе.

Даймонт выгодно отличался от них: от Эттингера – живостью изложения, от Дубнова – адресной направленностью современному читателю, от Самуэльсон – гораздо меньшим религиозно-пропагандистским прессингом. А Джонсона он удачно дополнял и во многом с ним полемизировал.

И вот сейчас – новое, исправленное и дополненное, издание в красивом оформлении, на белой бумаге. Но актуален ли Даймонт сегодня, когда российская иудаика уже сложилась как научное направление и дефицита соответствующей литературы вроде бы не наблюдается, а в больших книжных даже появились отдельные стеллажи, посвященные еврейской истории?

Однако обращение к этим полкам производит довольно удручающее впечатление. Для большинства авторов популярная история – это просто более или менее связный, как-то привязанный к хронологии пересказ того, что можно прочесть в других книгах (обычно в одних и тех же). Добавить праведных рассуждений на тему «а евреи лучше» – и готово, создан новый опус с неизменной аннотацией: «...раскрывающий читателям тайны еврейской истории».

Да, у автора популярной книги нет другого «строительного материала», кроме текстов. С другой стороны... Рассказ о прошлом предполагает одну из трех форм: научную, популярную или художественную. Выбор первой требует полной погруженности в актуальную историческую мысль, владения контекстом, аналитичности мышления. Беллетристика предполагает скорее синтетичность подхода, то есть умение выстроить целостную эмоциональную картину, которая вызовет доверие у читателя и вовлечет его в перипетии событий, но при этом не будет противоречить историческим данным. Если же книга неудачна, то это значит, что автор плох как ученый (в первом случае) либо как писатель (в последнем).

Может быть, именно поэтому невежественные бездари как за палочку-выручалочку хватаются за «средний» вариант и пишут «научно-популярную» книгу, причем ее «популярность» – это индульгенция концептуальной отсталости и слабому владению фактографией, а «научность» – не более чем склонность автора к псевдоглубокомыслию, призванному стимулировать благосклонность идеологических единомышленников среди читателей и, прежде всего, издателей. Конечно, это относится не только к книгам по еврейской истории. В действительности для написания научно-популярной книги требуются знания ученого, мастерство беллетриста, плюс особая ясность мышления, плюс склонность к междисциплинарному подходу. Именно поэтому хороших популярных книг так мало.

Но вернемся к Даймонту. Его переиздают и снова читают, хотя вряд ли в его книге можно найти что-то новое. «Хорошо забытое старое» – вот главный секрет Даймонта. Его манера увлеченного лектора сочетает виртуозное владение материалом с ясной и последовательной концепцией – утверждением неразрывной связи евреев с окружающими народами, с их пониманием политического прагматизма и религиозного долга. Внутренняя история еврейских общин, новые течения в иудаизме также увязываются с изменениями во внешнем мире – и в качестве их источника, и в качестве реакции на них. Нельзя сказать, что пропагандистские цели совсем чужды Даймонту, но и эту задачу он решает умно, тактично, избегая патетической риторики. Он просто

постоянно сопоставляет идейное наследие иудаизма с правовыми и политическими реалиями современного мира, прежде всего США.

Конечно, кое в чем Даймонт устарел. Жизнь меняется, иудаика развивается. Хочется больше знать о многих частных вопросах, не упомянутых или только слегка затронутых в книге: об истории региональных общин, особенно в исламском окружении, о новых научных теориях в иудаике и их обосновании, о еврейской культуре. Давно пора пересмотреть отношение к выкрестам и проанализировать это явление более дифференцированно. Жизнь современного Израиля представлена у Даймонта почти исключительно как история ближневосточной войны, что во многом справедливо: сейчас только очень наивные люди верят в «мирный процесс»; в действительности это военный процесс, ведущийся в том числе и невоенными средствами, – но и к нему существование Государства Израиль все-таки сводится не полностью.

Но при всем том книга Даймонта еще долго останется прекрасным введением в фактографию и проблематику такого малопредсказуемого явления, как еврейское бытие в его прошлом, настоящем и будущем.

Кибуц – это кибуц

Борис Дубсон

Кибуцы. Путешествие в светлое будущее и обратно

М.: Крафт+, 2008. – 336 с.



Когда на занятиях по ивриту мы с учениками доходим до того урока, где впервые встречается слово «кибуц», я сообщаю «перевод»: «Кибуц – это кибуц». Иногда приходится пояснять: «Ну, такие колхозы израильские». Став ближе к знакомым понятиям, перевод сразу утрачивает точность, но на самом деле довольно трудно с ходу объяснить, в чем разница между нашими колхозами и, в общем, тоже нашими, хотя и в другом смысле, кибуцами. Даже со специалистами-израилеведами говорить о таком явлении, как кибуц, трудно: любое обобщающее определение тянет за собой оговорки и уточнения, любое утверждение опровергается с помощью известных примеров.

Сейчас эту информационную лакуну заполняет умная, профессиональная и содержательная книга Бориса Дубсона. Посвященная истории, особенностям, перипетиям и перспективам кибуцного движения, насыщенная детальными описаниями

и конкретными данными, во всеоружии цифр, книга описывает кибудцы как социальный феномен, возникший на стыке утопического эксперимента и жизненной необходимости, но способный на всех этапах своего существования адаптироваться (порой весьма мучительно) к жизненным реалиям.

В основном книга написана с позиций экономиста и предназначена для экономистов же, но следует помнить, что все эти цифры и их динамика – это не просто так, за ними стоят тяжелый труд и борьба идеологий, полет менеджерской фантазии и партийно-политическая конъюнктура, финансовый протекционизм и отчаянный риск, трескучие лозунги и полная безысходность с угрозой неминуемого краха. Мы видим, как видоизменялась сама идея кибуца, как проходили самая настоящая индустриализация и переориентация на новые виды деятельности, порой довольно экзотические и рискованные, типа разведения аквариумных рыбок на экспорт. Мы можем подробно узнать, как строится финансовая и социальная политика кибуца и чуть ли не до шекеля подсчитать бюджет кибуцника. Мы узнаем, кто такие «кибукапиталисты», и постараемся оценить, исчерпала ли себя идея кибуца и выполнил ли он в полной мере свое историческое предназначение. Мы близко познакомимся с наиболее известными и удачливыми кибуцами, – в общем, картина получается достаточно полная.

Некоторые ее штрихи только намечены: книга, как уже сказано, рассматривает кибуцы как социально-экономический феномен, а социально-психологические факторы остаются несколько в стороне. О воспитании детей в кибуце, о домах для престарелых, о проблемах женщин-кибуцниц и о том, какие ассоциации связаны со словами «кибуц» и «кибуцник» в сознании современного израильтянина, мы узнаем только в самых общих чертах. Но и того, что есть, уже достаточно, дабы понять: кибуц – это... это... ну, в общем, сами прочитаете.

Î èõàèě Ěèìêèí

АРХИТЕКТУРА ТРАГЕДИИ

עֵשָׂא יִצְחָק בֶּן־נָחֻם

В Бордо в рамках городского фестиваля «Ивенто» прошла международная экспозиция, одним из участников которой был Амос Гитай, выступивший с показом своего нового инсталляционно-философского проекта «Цитатник». Амос Гитай – не просто «один из самых», он самый известный в Европе израильский кинорежиссер и самый успешный за всю историю Государства Израиль, моложе которого всего на полтора года. Гитай, можно сказать без преувеличения, совесть израильского кинематографа. Интернированный из страны в 1983-м за острую критику войн, проживший 10 лет во Франции и сохранивший с французским киноискусством глубокие связи, он, как истинный израильтянин, обостренно переживает события израильской действительности и считает основной своей задачей раскрытие внутреннего мира человека, проживающего в стране бесконечных войн.



Инсталляционно-философский проект

«Цитатник» Амоса Гитая в доках для подводных лодок WW2. Бордо. Франция

Понятно, почему режиссер, работающий с такими звездами, как Жанна Моро, Натали Портман, Жюльетт Бинош, неоднократный участник Каннских, Венецианских, Берлинских и других элитных фестивальных мероприятий, воспринимается как мастер Большого кинематографа, почему Музей современного искусства в Нью-Йорке в 2008-м устраивает у себя ретроспективу его фильмов, а в 2010-м отваживается на многоэкранную выставку. Но почему его безоговорочно помещают на территорию современного искусства, не употребляя при этом слов «инсталляция» или «видеоарт»? Почему «Нью-Йорк таймс» называет эти события «многоэкранной выставкой искусства совершенно неопределимого жанра»?

От видеоарта фильмы Гитая отделяет не только их фестивальная биография, но и жанр – это кино, со сценарием, актерами, развернутой драматургией. Тем не менее

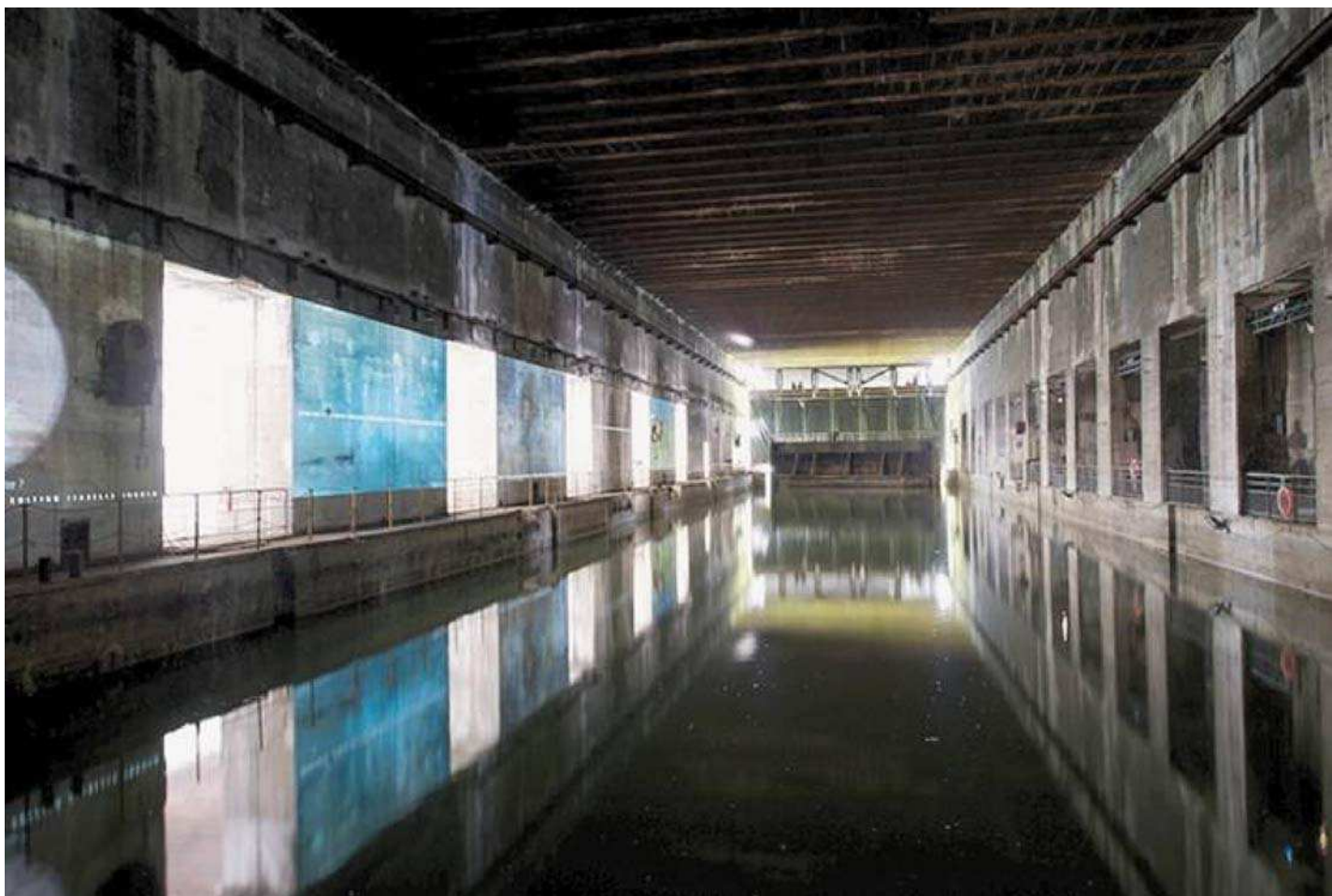
Гитай все чаще и чаще оказывается на территории именно изобразительного искусства. Почему так складывается? Видимо, потому, что изобразительное искусство длится дольше одного сеанса, оно вообще не зависит от времени. Есть и еще предположение: к художникам Гитай попал из-за своей оппозиционности, а современное искусство, как и сто лет назад, любит таких вот оппозиционных, колючих, неудобных, нуждается в них: привычка есть, а реальной оппозиции нет, за редкими исключениями власть не имеет ничего против того, что делают современные художники, более того, ей это, как правило, вообще не интересно.

Израильскому искусству более чем какому-либо другому свойственна частная, интимная интонация, порою доведенная до фальцета. Страна возраста человека, где все переживания укладываются в продолжительность жизни одной семьи, сама по себе почти не слышна ни стилистически, ни конструктивно: пока что слишком юна эта страна. Правда, есть еще одна – древняя, но та очень уж древняя.

Как уходит от этого парадокса в своем искусстве Амос Гитай?

Он несомненный педант, когда переживает обстоятельства жизни членов своей семьи, всех ее возрастов, а значит и периодов истории Государства Израиль, включая новейшую. Как европеец, он подходит к размышлениям об Израиле системно: берет максимально длинную дистанцию и выстраивает параллели из фактов еврейской истории и случаев из местной жизни. Супердревнее и суперновое объединяются им рамками Большого стиля и классической композиции, переживания его героев на историческом фоне обретают смысл, превосходящий частные переживания конкретного человека. Это хорошо артикулированный голос греческой трагедии, где не мораль, но самая неразрешимость узора судьбы подвигает зрителей к высшим степеням сопереживания.

Выставка в рамках городского фестиваля «Ивенто» в Бордо – опять-таки разговор со зрителями на античный манер. Разумеется, зрители в курсе сюжета. Подразумевается, что им не надо рассказывать все заново. Достаточно обозначить. И это справедливо: Гитай хорошо знает во Франции, он может позволить не утруждать себя законченными формами, а просто накидать видеоряд: сами разберутся, что с этим делать. Так что мультиэкранная ретроспектива в доках фашистских времен оказалась цитатником. Только в этот раз на экраны выпущены не целые фильмы, а несмонтированные куски хроники и отдельные игровые сцены.



Инсталляция в доке № 2

Бордо – центр знаменитого на весь мир винодельческого региона, древний средиземноморский порт, известный как своими культурными, так и военными традициями. Книжный фестиваль в этом городе сменяют театрализованные представления о далеких средневековых войнах. Но если знаменитые европейские войны стали на рубеже тысячелетий культурно-туристическим поводом для международных костюмированных действ, то израильские войны далеки от того, чтобы оказаться культурным аттракционом.

Творчество Амоса Гитая, будучи помещено в здание доков подводных лодок времен второй мировой войны, шокирует самым фактом подобного соединения. Очевидно, что идеей осеннего фестиваля «Ивенто» в Бордо было не столько устройство очередной большой выставки современного искусства, сколько наполнение пространства города высказываниями современных художников, от кинематографистов до архитекторов и дизайнеров. Экспозиции в общественных местах и просто на площадях, открытые для любого прохожего, – вот в чем была основная интенция куратора фестиваля, архитектора и художника Дидье Фурьоза Фаустино.

Доки WW2 – что на самом деле не более чем аббревиатура, обозначающая вторую мировую войну, – тоже превращены в выставочную площадку. Здание доков, построенное в 1940 году по приказу генерала Дёница, привлекло к себе внимание в 1990-х, на волне интереса к архитектуре промышленных сооружений и превращения их в культурные центры. Здание из монолитного бетона длиной более двухсот метров и шириной более полутора сотен, безусловно, является одним из шедевров

тоталитаристской архитектуры. Лаконичные формы, симметричная композиция, голые бетонные объемы, простые проемы между доками.

Одно из основных очарований средиземноморских культурных фестивалей – это легкость вхождения культурных объектов в жизнь города. Здесь никого не удивит видеопроекциями, появляющимися прямо на стенах зданий, они стали современной альтернативой классической архитектурной декорации. И превращение голых бетонных стен доков в экраны было бы простым продолжением этой эффектной привычки, если бы не живые, слишком живые обстоятельства места и предмета проецирования: еврейское кино, оживившее стены фашистской морской базы...

Тонкость такого способа проецирования состоит в точном соответствии размера проекции величине поверхности, превращенной в экран. И технические проемы в стенах, становящиеся естественной границей между изображениями, точно совпадают с ранами в сознании, оставленными преступлениями и трагедиями второй мировой войны...

Фильмы Гитая, в которых нередко звучит французская речь, традиционно снабжаются субтитрами для израильского зрителя. Оставлены субтитры и в проекциях, показанных в Бордо. Дань уважения международной неведомой зрительской аудитории портового города или историческая тяга евреев к написанному слову? Артикуляция, язык, речь, познание и понимание – отличительные признаки не только искусства Гитая, это общая черта израильского и – шире – еврейского искусства. Ясность послания, ответственность позиции, абсолютность и простота высказывания – родовые черты современного искусства, отличающие всех без исключения лучших его мастеров. Это счастливое совпадение делает кинематографиста Гитая одним из востребованных современных художников. И главным становится не способ создания киноинсталляций, а степень их воздействия на зрителя.



Док № 1, подготовленный для инсталляции Амоса Гитая

Куратор Дидье Фаустино, оказавшись в экспозиции Гитая в доках Бордо, не мог удержаться от слез. В менее острых ситуациях, когда искусство Гитая оказывается на нейтральных территориях музеев, критика неизменно говорит о его мультипоказах как о «кинопоэзии» или «кинематографических балладах». Кадрирование, монтаж, аппликация, смешение и противопоставление документалистики и игрового кино – Гитай использует все возможности средств выражения, завоеванные искусством в XX столетии. И технические приемы становятся приемами художественными. Монтажные ножницы – стихотворным ритмом, смена образов – мелодией.

Инсталляционно-философский шедевр «Цитатник» Гитая в доках WW2 в Бордо, конечно, не случайность. Архитектура и повседневная жизнь – это вторая, после войны, постоянно длящаяся тема в творчестве Гитая. Его отец Муньо Вейнрауб, архитектор, получил образование в «Баухаузе», легендарной и влиятельной интернациональной школе современной архитектуры в Германии 1930-х годов, переставшей существовать с приходом фашистов к власти. Сам Гитай прервал свое архитектурное образование из-за того, что был призван на войну Судного дня.

Материалы, вошедшие в «Цитатник», начинаются с фрагментов фильма «Берлин и Иерусалим» 1989 года. Зрители Гитая говорят о переживании коллективной интимности в смысле всеобщей вовлеченности (collective intimacy), о том, что Страна Израиля становится у Гитая территорией ссылок и утопий. Израиль как неотъемлемая часть мировой истории, Государство Израиль как вечно недоделанное домашнее задание, как открытая рана, заживления которой все ожидают... Фильмография, состоящая из

картинок, вступающих в резонанс с памятью и архитектурой места, в данном случае фашистского дока, обретает звучание симфонического оркестра.



Режиссер Амос Гитай и Жюльетт Бинош на съемках фильма «Размежевание». 2007 год

Еще посмотрим

Вилли Ронис. Поэтика ангажированности

Париж, Musée de la monnaie, до 22 августа



© Ministère de la Culture et de la Communication

Фотограф, который живет почти сто лет, успевает многое. Вилли Ронис (1910–2009) никогда не выдвигал эстетических программ и не примыкал ни к каким движениям. Он настаивал на том, что просто случайно фотографирует жизнь, вещи и людей, которых любит, которые ему интересны или чем-то его трогают.

Выходец из семьи еврейских эмигрантов из Восточной Европы, сын фотографа и профессора музыки, Ронис был человеком своего времени. В 1935 году он вступил в Ассоциацию революционных писателей и художников, а его первый репортаж был посвящен Народному фронту. На время войны, чтобы не носить желтую звезду, Ронис отправляется в свободную зону, где занимается в основном прикладным творчеством. Вернувшись в Париж, он вступает в компартию (с которой оставался связан до конца дней) и работает для крупнейших журналов Франции. Но профессиональная неуступчивость – Ронис не позволяет кадрировать без разрешения свои снимки и менять подписи к ним – в какой-то момент приводит к разрыву с работодателями и отъезду в провинцию. Зато сегодня парижские сцены Рониса, съемки из его многочисленных поездок по миру собирают толпы зрителей. Полторы сотни снимков, представленных на выставке, разбиты на пять разделов: «Улица», «Работа», «Путешествия», «Тело» и «Биография Автора». Уже на выходе понимаешь, насколько все они неразрывно связаны.

Герхард Франкль. «In memoriam»

Вена, Городской музей, до 24 октября

Венский живописец Герхард Франкль (1901–1965) вырос в художественной среде. Мать увлекалась искусствами, отец, юрист и меценат, поддерживал, в частности, выдающегося австрийского художника Антона Колига. Герхард стал изучать химию, но вскоре бросил университет, променяв его на занятия в мастерской Колига. В 20-х годах Франкль много путешествует, от Северной Африки до Голландии и Прованса, становится поклонником Сезанна, влияние которого ощутимо в его натюрмортах и ландшафтах. Позднее он отходит от конструктивистской и кубистической живописи, предпочитая мягкие, пастельные тона. В 1938 году Франкль сумел вместе с женой бежать из Австрии, «присоединенной» к нацистской Германии, в Великобританию. Его родители погибли в концлагере. Попытка после войны вернуться на родину оказалась unsuccessful. Несмотря на поддержку друзей, Франкль так и не обрел своего места в венской художественной жизни, он возвращается в Лондон и принимает в 1950 году

английское гражданство (не отказываясь при этом от австрийского паспорта). Признание соотечественников пришло незадолго до смерти: получив приглашение в качестве профессора в Академию изобразительных искусств, Франкль умер в Вене вскоре после приезда.

В память о жертвах нацизма, в том числе о своих родителях, в конце жизни он создал цикл «In memoriam», 17 работ из которого и показывает сейчас венский музей. «Что усиливает ошеломляющее впечатление от этих картин, – утверждал в предисловии к каталогу франклинской выставки в Кембридже один из самых проницательных знатоков искусства XX века Эрнст Гомбрих, – так это то, что художник избежал изображения ужасов, выражения лиц и запечатленные сцены говорят сами за себя».

«AES + F». «Пир Трималхиона»

Москва, ЦСК «Гараж», до 22 августа

Вместе с «Синими носами» «AES + F» является, пожалуй, самым знаменитым объединением современных художников в России. Группа в составе Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича и Евгения Святского (AES), а также Владимира Фридкиса (F) стала знаменита в мире после «Исламского проекта». «Пир Трималхиона» – вдохновленная одной из глав «Сатирикона» Петрония инсталляция из большеформатных фотографий и видео, проецируемого на расположенные кругом экраны. Современный отель класса «люкс» становится символом изобилия, излишества и пороков, заводящих обитателей отеля в места довольно отдаленные. Смешение рас обозначает глобальный характер происходящего: зритель еще может обнаружить в себе силы, чтобы попытаться его игнорировать, но спрятаться от него уже не удастся.

«Family Files»

Мюнхен, Еврейский музей, до 12 сентября



Вилли Ронис. Рождественская неделя, бульвар Осман. 1954 год.
Коллекция Вилли Рониса, Стефана Ковальски
и Министерства культуры и путей сообщения
Итай Зив. Йона смотрит в окно. 2004 год

При помощи видеоискусства и фотографии из Израиля кураторы мюнхенской выставки исследуют важнейший феномен человеческого бытия – феномен семьи. 16 современных художников запечатлели жизнь 16 семей, как собственных, так и выдуманных. Созданные ими «семейные фотоальбомы» (впрочем, иногда это словосочетание можно употреблять на выставке и без кавычек) выглядят как параллельное путешествие по волнам памяти и волнам воображения. Одновременно с «Family Files» в баварском музее показывают и выставку об уроженце Мюнхена писателе и теологе Шаломе Бен-Хорине (1913–1999), известном своей ролью в развитии иудейско-христианских отношений.

ЛЕХАИМ АВГУСТ 2010 АВ 5770 – 8(220)

ИЗ-ПОД ПРОПАГАНДЫ

Аëаëиë Ì íëðìáиá

Режиссер Яэль Херсонски

Неоконченный фильм (Shtikat Haarchion)

Израиль; Германия, 2009

Участник 32-го ММКФ



В 1942 году в Варшаву из Германии прибыла группа кинооператоров. Им поручили снимать повседневную жизнь еврейского гетто, не объяснив целей таких съемок. Сохранившийся материал продолжительностью в 62 минуты так и не был смонтирован. Коробки с пленками нашли после войны, их передали на хранение в один из архивов ГДР. Съемки сочли подлинными, их использовали в документальных лентах по истории нацизма. Но впервые кинопленки из Варшавского гетто стали предметом специального расследования.

По-прежнему остается неясным, кто тогда снимал, каковы были цели заказчика. Съемки прекратились незадолго до начала ликвидации гетто, массовой депортации его жителей в концлагерь. Между тем камера настаивает на обыденности запечатленной жизни, которая вдруг разрушается демонизацией происходящего, болезненным контрастом между богатыми и нищими, чудовищным расслоением общества. Одни сидят в ресторанах, танцуют, пьют шампанское, покупают мясо. Другие попрошайничают и выволакивают по утрам трупы из квартир на тротуар у подъезда. Кажется, это выглядит нормой: люди идут мимо, перешагивают через мертвых, словно их не замечая, будто это привычное дело – лежащее тело, за которым рано или поздно приедут двое с тележкой. Потом по длинному желобу трупы сваливают в одну большую яму. Камера бесстрастно наблюдает за процессом.

Яэль Херсонски попыталась восстановить историю фильма. Она проанализировала множество документов, связанных с гетто, мемуары и дневники,

запечатлевшие жизнь его обитателей. Так, переживший Холокост Владислав Шпильман вспоминает, как «немцы нашли себе новое занятие – начали ежедневно снимать нас на кинопленку. Зачем? Они вбегали в ресторан, приказывали официантам поставить на стол лучшие блюда и дорогой алкоголь, посетителям приказывали улыбаться, есть и пить, и это зрелище запечатлевали на пленке. В кинотеатре “Фемина” на улице Лешно снимали спектакли оперетты и выступления симфонического оркестра под управлением Мариана Нойтеха, которые проходили там раз в неделю. <...> Однажды согнали мужчин и женщин в баню, всем приказали раздеться донага и мыться в общем помещении, и эту странную сцену тоже во всех деталях запечатлели на пленке» (из книги В. Шпильмана «Пианист. Варшавские дневники 1939–1945» (М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2003).

Глава юденрата (еврейского органа самоуправления гетто) бывший польский сенатор Адам Черняков в своих дневниках прописал обстоятельства съемок фильма (английский перевод вышел в 1979 году). Это была не хроникальная, но постановочная лента. Сцены режиссировались согласно неизвестному сценарию. Черняков должен был разыскать людей для сцены в ресторане и предоставить еду и напитки за счет общины. Он принимал у себя делегацию старейшин и приводил к себе посторонних людей, которые выглядели в фильме так, словно находятся у себя дома.

В рабочих материалах фильма Херсонски удалось найти подтверждение описанному. Из-за незавершенности процесса монтажа сохранились дубли некоторых сцен, их не успели уничтожить. Разница в версиях незначительна, но именно она доказывает постановочный характер того, что должно было выглядеть запечатленной реальностью. На некоторых кадрах – например, в сцене в мясной лавке, торгующей кониной, – можно увидеть операторов, участвующих в съемках и дающих указания статистам. Имена операторов долгое время оставались неизвестны, пока не обнаружили следы одного из них. После войны тот поменял профессию, но, как утверждает в «Неоконченном фильме», старательно уничтожал пленки, которые снимал для нацистов. В 60-х годах его допрашивали по другому делу, в протоколах сохранились и вопросы-ответы, связанные с Варшавским гетто.

Поначалу допрашиваемый мало что помнил, утверждал, например, что был командирован в польскую столицу зимой, а не в мае 1942 года, незадолго до начала депортации. Память улучшалась по мере предъявления документов 1942 года, например датированного билета в Варшаву на его имя. Съемками руководил какой-то офицер из местной части. Должен ли был фильм обеспечить идеологическое прикрытие уже тогда планировавшейся депортации? Или, как пишет Шпильман, он «предназначался для заграницы и для немцев в Германии. Если бы какие-то сведения накануне ликвидации гетто просочились наружу, эти фильмы призваны были развеять тревожные слухи, а также послужить доказательством, что евреям в Варшаве живется хорошо и <...> что они лишены нравственности и недостойны уважения, поскольку мужчины и женщины моются вместе, бесстыдно раздеваясь на глазах друг у друга»?

Авторы съемок в гетто проявили виртуозное мастерство в постановке реальности, подменяя суть документального кино при помощи простых, но действенных средств. Потребовалось философское образование Яэль Херсонски, ее прежний опыт режиссера и монтажера – а это ее первая полнометражная лента, – чтобы показать, как функционировала пропагандистская машина Третьего рейха. Фальсифицированная реальность нуждается в манипулируемых образах. Иначе не создать картину мира, которая нужна власти. Хорошо, что иногда правда все же проскальзывает наружу.

РОГАТКА, ОСТАНОВИВШАЯ ТАНК

Àèàèñ Ðàííííðð

Режиссер Евгений Глуховцев

Еж против свастики

Россия, 2010



В начале мая на канале «Россия» прошла премьера документального фильма «Еж против свастики». В середине месяца в МЕОЦе состоялся второй показ, на нем присутствовали режиссер Евгений Глуховцев, сценарист Елена Прохорова, продюсер, директор «Телекомпании АБ-ТВ» Яков Каллер и сын главного героя кинорежиссер Владимир Гориккер. Фильм рассказывает о его отце, изобретателе противотанкового «ежа» генерал-майоре технических войск Михаиле Львовиче Гориккере.

Фразу о том, что все гениальное просто, не зря считают трюизмом. Это потом, после воплощения гениальное уходит в массы, становится привычным и кажется настолько простым, что «отчуждается» от автора и объявляется «народным». Именно так произошло с противотанковым «ежом». Те, кто рос на фильмах о войне, помнят, что он, как деталь пейзажа, присутствовал в каждой картине. О том, что у «ежа» есть создатель и дата рождения, стало известно при обстоятельствах случайных.

В 2000 году В. Гориккер, разбирая домашний архив, наткнулся на папку, которую никогда не открывал. В ней хранилась газета за 1941 год, где сообщалось, что на киевском полигоне прошли испытания противотанкового заграждения. Под заголовком «Звездочка Гориккера» Владимир Михайлович увидел фото своего отца. Найденные материалы он передал в Центральный музей Вооруженных сил.

Военная карьера девятнадцатилетнего кузнеца из местечка Берислав Херсонской губернии Михаила Гориккера началась в 1914-м. С первой мировой он вернулся с двумя Георгиевскими крестами. В Гражданскую служил в Красной Армии, потом учился в Военной академии механизации и моторизации РККА. В 1938 году Московское танково-техническое училище, которым он руководил, перевели в Киев, где застала генерал-майора Великая Отечественная война, третья по счету в его жизни. М.

Гориккеру 46 лет, на него возложены обязанности начальника гарнизона и начальника обороны Киева. 3 июля 1941 года на полигоне Киевского танкового училища прошли испытания «звездочки Гориккера», после наезда на конструкцию вышли из строя два танка. Эту дату можно считать днем рождения противотанкового «ежа». В Киеве не успели развернуть массовое производство «рогатов» Гориккера. Но уже осенью и зимой 1941-го, во время обороны Москвы, их было установлено 37 с половиной тысяч. Начальник автодорожной службы РККА генерал-майор Гориккер ежедневно контролировал производство и правильную установку на местности. Благодаря «ежам» темп танкового удара был потерян, у руководителей обороны появились время и возможность для подтягивания подкреплений.

Новизна изобретения в следующем. Три балки должны быть приварены в трех плоскостях. Правильная высота «ежа» — ниже линии лобовой брони. При наезде двадцатитонного танка «еж», весивший не более 300 кг, поднимал его над собой. Две опоры уходили в грунт, третья шла вверх и отрывала одну из гусениц от земли. Танк в прямом смысле зависал. Мало того: напоровшееся на вставшую двутавровую балку днище под весом машины проламывалось и разрушалась расположенная спереди трансмиссия! Для танкистов вермахта, победоносно прокатившихся по Европе, все это стало большой новостью. Тот самый случай, когда на специальную гайку нашелся болт с левой резьбой. Отступая, глубоко пораженные немцы увезли образцы «ежей» с собой. В дни обороны Берлина они выставили ограждение из более чем двадцати тысяч «ежей», что им, как мы знаем, не помогло...

Лента выполнена на высоком профессиональном уровне, сочетает документальные кадры, компьютерную графику и постановочную съемку, иллюстрирующую события прошлого. В картине использованы редкие фрагменты немецкой хроники и цитаты из фильма «Разгром немецких войск под Москвой», вышедшего на экраны 23 февраля 1942 года. «Еж против свастики» не оглушает треском пропаганды и артиллерийской канонадой. Помимо военной темы, в нем есть и личная — о жизни и переменчивой судьбе генерала. О доносе сослуживца и ожидаемом аресте, которого чудом удалось избежать. Рассказ о репрессиях и войне чередуется с рассказом о любви. Повествование о личном на фоне кровавых событий XX века составляет главную особенность этого «эмоционально-документального» фильма. Видеоряд сопровождается музыкой Рахманинова, Бетховена и современных композиторов.

В середине 1960-х на 23-м километре Ленинградского шоссе, там, где теперь поворот к гипермаркету, был установлен мемориал — памятник защитившим Москву «ежам», конструкцию которых предложил генерал-майор РККА Михаил Гориккер. Его имени нет на этом памятнике. Его всемирно известное изобретение стало символом и вошло в историю.

МОСКВУ «КАЧАЕТ» ХАСИДСКИЙ РЕГГИ

Аידען אאדאאאאאאאא

Высокий худощавый мужчина в белой одежде, кипе и накинутом на плечи платке с узором из магендовидов сидит передо мной в «зале славы» Центра Стаса Намина: со стен на него смотрят дружественные хозяину помещения Оззи Осборн и Джон Бон Джови.

Мужчина на белом кожаном диване наливает в бокал пиво, которое зовут так же, как его.

Мэтью Полу Миллеру, известному как Матисьяху, сегодня исполнился 31 год – есть повод хлебнуть легкого алкоголя. Он провел весь день за дверьми гостиничного номера. Если верить тому, что о нем говорят, провел в молитвах.



— Мой день рождения приходится на лето, так что в этот день я всегда оказывался в летнем лагере, далеко от моей семьи. Теперь я снова провожу дни рождения далеко от дома, потому что постоянно гастролирую.

Вероятно, Мэтью Миллер – самая большая еврейская поп-звезда, когда-либо гастролировавшая в России. В качестве псевдонима Мэтью Миллер выбрал свое школьное прозвище «Матисьяху», хотя при обрезании ему дали имя Файвиш-Гершл. Матисьяху – первый в истории поп-музыки артист с ярко выраженным имиджем правоверного иудея, выпускающий диски на мейджор-лейбле, то есть поп-звезда, существующая вне ниш «еврейского фольклора» или «еврейского джаза». Несмотря на то что в России его не увидишь на крупных музыкальных телеканалах и не услышишь по радио, в «Зеленый театр» на его концерт пришло более двух тысяч человек. Это гораздо больше, чем число зрителей, скажем, на редких концертах владельца лейбла «Tzadik» Джона Зорна или – тем более – отечественных клезмер-групп.

Если вычесть из субъекта поп-культуры по имени Матисьяху его еврейство, останется музыка регги с «альтернативными» партиями гитар. То есть вещь, интересная сугубо меломанской и, в основном, молодежной аудитории. Но на сцене – любавичский хасид, который, по слухам, отказывается записывать дуэты с женщинами и петь песни, в которых есть слово «Иисус». А в самой музыке обнаруживаются отголоски нигунов – традиционных хасидских распевов. И поэтому на скамейках «Зеленого театра» наряду с растаманами и татуированными скейтбордистами – вполне респектабельного вида господ в ермолках.

– Еврей из Бруклина не может не иметь родственников из бывшего СССР. Наверняка же у вас есть какая-нибудь бабушка из Одессы?

– Вся моя материнская линия из Одессы. Половина семьи. Со стороны отца у меня все родились в Польше и Австрии. Любавичские евреи – это люди, пришедшие с российской территории. Думаю, вы знаете эти названия – Любавич, Умань. А мой ближайший друг – русский боксер Дмитрий Салита. Он, к сожалению, проиграл свой последний бой. Но все равно остается моим другом.

Мэтью Миллера в детстве хорошо помотало по Америке. Он родился в Пенсильвании, позже семья переехала в Калифорнию, а бар мицву отпраздновал в Уайт-Плейнз, штат Нью-Йорк. Несмотря на еврейское происхождение, строгого религиозного воспитания Матисьяху не получил. Родители (отец – социальный работник, мать – учительница) воспитывали его в традициях реконструктивистского иудаизма. К 14 годам он был в школе далеко не на лучшем счету. Зато делал успехи на музыкальном поприще – играл на барабанах и совершенствовался в битбоксе – подражании инструментам, «игре на губах». Внешне он старался походить на адептов регги-культуры, а сердце его тянулось к хиппи. Лагерь, о котором рассказывал мне Матисьяху, находился в Колорадо, среди Скалистых гор, и был местом своеобразной ссылки, к которой родители приговорили юного хулигана. Предприняли они также попытку наставить его на религиозный путь, отправив в Израиль, в школу в городе Хода-а-Шароне. Вернувшись домой, Мэтью не обнаружил серьезных перемен в мироощущении, более того, завел близкое знакомство с галлюциногенами, с которых его «снимали» в спецшколе в штате Орегон. Выйдя на волю, Матисьяху устроился работать на горнолыжную базу и делил себя между сноубордом и хип-хопом. А позже продолжил образование в Нью-Йорке, где стал частым посетителем синагоги «Карлебах Шуль». Случайная встреча с раввином Довом-Йоной Корном еще больше сблизил его с религией, к тому же духовный наставник познакомил юного рэпера с музыкальным наследием хасидов.

– Зная вашу родословную, я должен был бы спросить, знаете ли вы какие-то русские слова, но лучше спрошу, знакомы ли вы с русской музыкой?

- Нет. Думаю, некоторые еврейские песни, которые поют в нашей общине «Хабад Любавич» в Кроун-Хайтс, похожи на русские народные песни.
- **Скорее уж русские песни часто основаны на еврейских мотивах...**
- Ага, скорее всего, русские застольные песни.



Матисьяху работал на сцене «Зеленого театра» два часа. Он, никуда не торопясь, разгонял свой концертный состав, в который, помимо него, входят еще трое музыкантов. В первой половине концерта казалось, что все байки про невероятную экспрессию, свойственную живым выступлениям Матисьяху, придуманы его пиарщиками, как и истории про то, будто он требует разделить толпу по половому признаку. Матисьяху бродил по сцене, присаживаясь на мониторы, читал свои речевки, то ускоряясь до ритма ска, то замедляя движение музыки до сонного даба с обильным эхом. Иногда уходил со сцены, давая волю аккомпаниаторам. В принципе, такой концерт мог бы длиться и четыре, и шесть часов. Но в итоге Матисьяху подтвердил репутацию мастера концертного исполнения, переведя шоу в режим почти-рейва, а заодно опроверг другой стереотип. Считается, что духовные отцы не рекомендуют ему «стейдж-дайвинг», то есть прыжки в толпу, – это чревато ненормированными соприкосновениями с женским телом. Тем не менее Матисьяху все же сошел в народ и вдоволь повалялся на руках фанатов, не разбирая, где женские, а где мужские.

Матисьяху сказал мне, что большинство странностей, которые ему приписывают, – выдумка. В его райдере нет никаких особенных «хасидских» пунктов: «Не думаю, что моя жизнь по большому счету сильно отличается от жизни так называемых обычных артистов. Разве что в еде...» Матисьяху – веган, но это не религиозное понятие.

И все же тема религиозной принадлежности Матисьяху не дает покоя журналистам. Меня, например, больше всего интересовало, как она сочетается с его любовью к дабу и регги.

– **Большинство религий, включая иудаизм, люди привыкли рассматривать прежде всего как набор ограничений. А растафарианство, напротив, проповедует свободу и сопротивление Вавилону. Как вы находите баланс в этой ситуации, будучи евреем, исполняющим регги?**

– Действительно, растафарианство часто представляют как веру, основанную на пестовании человеческого эго, сопротивляющегося злу внешнего мира. Но справедливости ради я бы сказал, что в этой религии тоже много ограничений. Люди знают о ней лишь то, что в ней поощряется курение травы. Но на этом растафарианство не заканчивается. Там полно ограничений. Строгая диета, например. Для меня ограничения, свойственные религиозному образу жизни, как раз и являются той дорогой, которая ведет к освобождению. Человек слаб, он – раб своих желаний и потребностей. Он сам держит себя в ловушке. Потакание своим страстям – это несвобода.

Когда Матисьяху появился на горизонте со своими альбомами «Live At Stubb's» (2005) и «Youth» (2006), впору было говорить даже о моде на поп-иудаизм, недаром певица тут же пригласила выступать у себя на разогреве Мадонна. Однако на «большой эстраде» не появилось ничего, похожего на «Tzadik». Несмотря на то что многие поп-музыканты в той или иной форме обнаруживают приверженность иудаизму, делают они это порознь.

– Среди музыкантов, живущих сообразно еврейским ценностям, Перри Фаррелл и Регина Спектор. Вы знакомы с ними?

– С ними обоими я, конечно, общался. С Перри Фарреллом мы несколько раз играли в рамках одних и тех же мероприятий. С Региной я так близко не знаком, зато у нас общий продюсер – Дэвид Кан. Он записывал наши с ней последние альбомы. Я также неплохо знаю ее брата, вот он действительно очень религиозен. И он – мой большой поклонник, что приятно. Регина привела его на мой последний концерт в Нью-Йорке, он даже взобрался на сцену. Но того, что можно было бы назвать «кругом» еврейских музыкантов, нет. Мы не тусуемся вместе.

ВКУСНЫЕ РАДОСТИ

Levni le A'vareim

«Кихелех, тейгелех, земелех» – сладчайшие слова из нашего детства, порождающие теплую волну воспоминаний. Летучий, проникающий во все уголки запах этих сладостей – пока они готовятся – обещает скорое незабываемое наслаждение. Наслаждение, связанное с ощущениями само собою разумеющегося счастья, родительского дома, тепла и света, которые бывают только в детстве.



С кихелех еврейский ребенок знакомился раньше, чем имел возможность его попробовать, узнать, каков этот пряничек на вкус. Еще в детской кроватке он засыпал под колыбельную, которую едва слышно напевала на идише мама: «Пече, пече кихелех, / Ди маме гейт койфн шихелех...» («Лепят, лепят прянички, / Мама купит туфельки...»).

А когда ребенок уже уверенно вставал на ножки и бежал играть во двор, вкус ароматных печений из детской колыбельной, нисколько не обманув его ожиданий, становился настоящим любимым лакомством.

И печенье (פֿליגלע – «угия») оказывалось частью не только твоего детства, свои истории были и у твоего папы, и у твоей бабушки. Наверное, каждому из нас бабушка или прабабушка могли рассказать о том, как, в свою очередь, ее бабушка в пятницу пекла халу, а из сдобного теста – кихелех и ставила на печку томиться в ожидании субботы глиняный чайничек с цикорием и кувшин молока, чтобы субботним утром подать их к завтраку горячими вместе с ароматными и воздушными кихелех...

А вот так свою бабушку, готовящую печенье, вспоминает в книге «И вблизи и вдали» поэт Александр Городницкий: «Бабушку свою по отцовской линии я тоже помню смутно. Облик ее ассоциируется в моей памяти с ароматом антоновских яблок, лежащих на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем, подобно вечернему солнцу, старом медном тазу, в процессе чего детям позволялось лакомиться “пенками”. Была она большой мастерицей

по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению “тейгелех” – маленьких орешков из теста, вываренных в меду».

Художник Владимир Любаров, в творчестве которого кулинарная тема играет заметную роль, тоже вспоминает тейгелех, испеченные его бабушкой Соней: «Приготовление фаршированной рыбы – это было, конечно, священнодействие, но для меня, ребенка, куда вкуснее были тейгелех, сладкие медовые шарики-печенья».

Поэт Владимир Вейхман, родившийся в Хабаровске, а в последние годы живущий в Израиле, с теплом и нежностью посвящает бабушке и печенье стихотворные строки: «А в детстве солнце было, как желток, / И во дворе была длинна скамейка, / И бабушка – природная еврейка – / Говаривать любила: “Чай – жидок...” / Ах, как она готовила еду! / Хоть чай был вовсе не жидок, а жидок, / Но кто решил, что это пережиток – / И рыба-фиш, и тейглах на меду? / Теперь о них и разговору нет, / Все Интернет, компьютер да процессор, / А в те поры сосед, старик профессор, / У бабушки заказывал обед. / Ее очков железный ободок / Мне видится средь новомодных лейблов, / Я вижу, как она готовит тейглах / И говорит лукаво: “Чай – жидок...”»

Некоторые признаются – расскажем по секрету, не выдавая имен: самое вкусное, когда готовят тейгелех, – это застывший сироп, который можно потихонечку отковыривать с доски, пока бабушка (делает вид, что) не видит.

А одна бабушка наставляла, что в тесто тейгелех обязательно надо добавлять водку, тогда они получатся рассыпчатыми.

Когда лепили тейгелех, бабушки и мамы каждый кусочек теста завязывали «узелком», поэтому порой эти шарики называют «медовыми узелками».

Многие бабушки сходятся в том, что, когда дома готовят тейгелех, надо вести себя тихо, нельзя кричать, шуметь, а после того, как укутали кастрюлю с печеньем, ходить на цыпочках. Про эту составляющую рецепта сказать что-либо сложно: может быть, эти печенья и правда портятся от шума, а может, тишиной дети «зарабатывали» у лукавой бабушки любимое лакомство...

К слову сказать, некоторые мамы совмещали вкусное с полезным и пекли не шарики тейгелех, а печенье кихелех в виде букв.

Можно сколько угодно спорить о том, кому больше нравится тейгелех, кому – кихелех, а кто предпочитает земелех, то есть разделиться на три группы поклонников сладкого. Бесполезно лишь спорить с тем, что это самое вкусное, что только может быть в детстве! Правда, иногда у этих воспоминаний появляется горький привкус, такова наша жизнь...

Выдающийся еврейский поэт Моисей Тейф (1904–1966), которому пришлось пережить многое из выпавшего на долю евреев в XX веке в СССР, написал стихотворение «Кихелех и земелех». Он посвятил его своему сыну, погибшему в Минском гетто. Через некоторое время стихотворение с идиша на русский перевела другой замечательный поэт – Юнна Мориц, она назвала его «Возле булочной на улице Горького»:

Аין אאדע עראָד פּעאַלנדע.

Daäe çai í ê í ê daái nò è
Á i è di ú é áá: ãð áóáí è ÷ í ú é
Ê è õ ä ä ã è çai ä ä ã
Í í ê ó í ä é ò á á á ó é í ÷ í í é!
B nò í þ, è ñ ü ø è ò ñ y
Ñ ú í á ã é ñ ñ ò è ò é é:
- Í é, é ó í è ñ á á í y
Çai ä ä ã è è è õ ä ä ã...
Ä ä á æ á ò ú, í í é í ä ü ñ è é,
Ñ è ä ä é í æ é ä, ã á á ò ú?
Í í ü õ ð ò í ä è
Ò à ñ, ã á á ú é í ã ò ò í.

В конце 1960-х это стихотворение стало песней, которая исполнялась в спектакле «Сказание о царе Максе Емельяне» в театральной студии МГУ «Наш дом». С тех пор ее иногда поет, пронзительно и трогательно, режиссер Марк Розовский.

Печеньем можно порадовать своих близких, приготовив его к любому субботнему утру, – получится уютный домашний завтрак. А на Рош а-Шана, который уже совсем не за горами, через месяц, 8 сентября (29 элула), его непременно надо испечь много-много, чтобы можно было радовать и баловать родных, близких и даже просто случайно оказавшихся у вас в гостях детей.

Предлагаем вам рецепты печений земелех и тейгелех уже не от наших бабушек, а от технолога ресторана «Йона» при Московском еврейском общинном центре Татьяны Карелиной.



Çai ä ä ã

Í à 16-20 íá-áíéé: 250 áí óéé; 125 áñééáí÷ííá í áñéá; 125 áñóòàà; 1 ñò. é. í íéíéá; 1 ýéóí; 10 ááíéééíá; 100 áéíðéòú.

Áñéé á ýòíí ðáóáíòá í áñéí çàí áíéòú ðáñòéòáéúúí í áðñáðéííí, á í íéíéí - áíáíé (á òáó æá íáúáí áó), òí íá-áíúá ñòáíáò í áðñá é áá í íáéíí áúúáò áñòúíá ááñáòò í íñéá í ýñ íé òðáíáçú.

Ðaçí ýá-áíííá, íí íé á éíáí ñéó:áá íá ðáñòííéáííá í áñéí (ééé í áðñáðéí) áçáéááí áí áñòá ñ ýéóíí, áíáááéýáí ñáòáð, çàòáí - í íéíéí (ééé áíáó) é ááíéééí íá éíí÷ééá ííáé. Áíñ íáðáí áóéááí é íá-éíááí áñííáòú í óéé, í íñòíýííí áñí áóéááý òáñòí, ííí áíéáíí í íéó:éòúýý óíðúáí é í ýáéí.

Ðáñéàòúááí òáñòí ééñòíí (íéíéí 0,5 ñ áññòíé) é ðáæáí ííáéíí íí áéááíáéé ñíááéò ñòíðíí ÷áðç ðááíúá éí òáðñáéú òáé, ÷òíáú í íéó:éééñíðíí áééé.

Í áðñééááúááí éó íá íðíòéááíú ñ áóíááé áéý çàíáéáíéý, í íñííááí éíðéóáé é íòíðááéýáí í éíóò íá 15 á áóóíáéé, ðaçíáðáòòá áí 170 °Ñ.



Òáéáñéáó

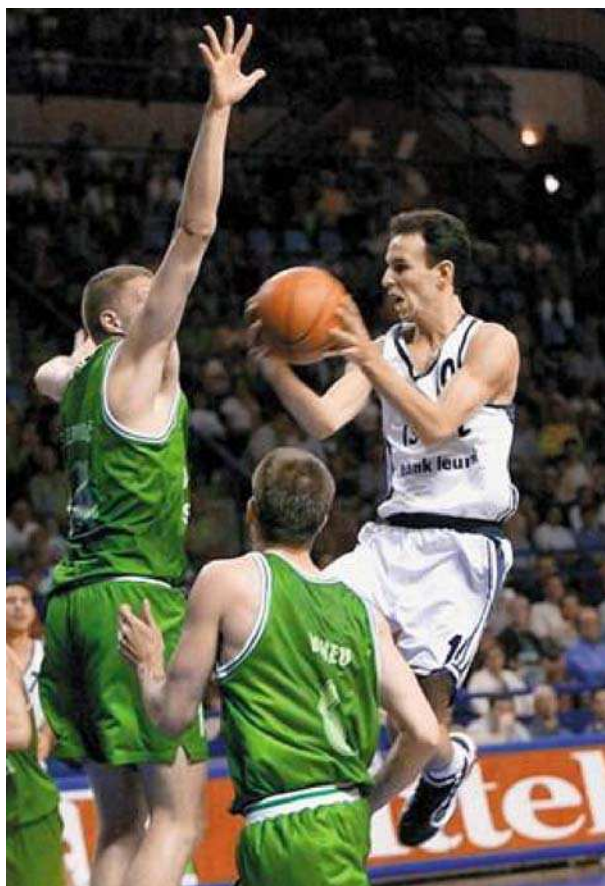
Í à 25-30 «í ááíáíó óáðééíá»: 170 áí óéé; ùáííòéá éí áéðý (ééé éíðéòú); ùáííòéá ñéé; 2 ýéóá; 3 ýé÷íúò æáéòéá; 2 ñò. é. ñáòáðíé íááú; 2 ñò. é. ðáñòéòáéú íá í áñéá.

Áéý ñéðííá: 350 áí ááá; 225 áñóòàà; 1 ÷. é. éí áéðý (ééé éíðéòú); í íáéíí áíáááéòú 100 á éçí áéú-áííúò áðñééò íðáííá Ñí áóéááí í óéó ñ éí áéðáí (ééé éíðéóáé) é ñéúþ. Áíáááéýáí ýéóá óáéééíí, æáéòéé é í áñéí. Çàí áóéááí í ýáéíá òáñòí. Áñéé òáñòí ééíéíá í íáéíí áíáááéòú áúá 1 ñò. é. í óéé. Ááééí òáñòí íá 8 ÷áñòáé, é éáæáð ÷áñòú ðáñéàòúááí á «éíéááñéó», áéáí áòðíí íéíéí 1 ñ. Ðaçðaçáí «éíéááñéé» íá éóñ÷éé, íéíéí 1 ñ áééííé éáæáúé. Ðaçíáðáááí áóóíáéó áí 180 °Ñ, ñ áçúááí íðíòéááíú í áñéíí, áíééááúááí «óáðééé» òáé, ÷òíáú íá ñíðééáñééñí é çàíáéáí í éíóò 10, í íéá ñéáéá íá ííáðúí ýíýòíý ñéçú Ñí áóéááí í áá, ñáòáð é éí áéðú (ééé éíðéòú) á éáñòðéáñ òíéñòúí áííí. Õíí éí íá í ááéáííí íáá, ííí áóéááý, í íéá ñáòáð í íéííñòúþ íá ðáñòáíðéòíý. Áíáíáéí áí ééíáíéý íá ñðááíáí íáá, íí íá ááá íáðáééíáòú Ííóéááí «óáðééé» á ñéðíí é ááðéí, í íéá í áññá íá çáññòáò, í éíóò 5-7. Áñéé éñíéúþáòá íðáé, òí éó í íéíáéòá á ñéðíí áí áñòá ñ «óáðééáíé». Í íéó:áíóþ í áññ, í íéá ííá íá çáñòúéá, áñíéíááí, áíééááúááí íá áíñéó (íá íðíòéááíú ééé óíéúí), ñéàòúááí ðéáòíí é íáðaçáí éóñ÷éáí é òíéùéíé 1,5-2 ñ.

И ГУЛЯЛА ВСЯ ГАЛИЛЕЯ

Î àdê çàé:éé

Случаются порою в жизни фантастические вещи, сочинить которые было бы не под силу даже большому выдумщику ни в тысяча первую, ни в любую другую по счету ночь. К примеру, недавно израильский тренер Оded Kattash со скромным галилейским клубом «А-Поэль» (Гильбоа) выиграл чемпионат Израиля по баскетболу 2010 года, обыграв не кого-нибудь, а знаменитую команду «Маккаби» (Тель-Авив) в финальном матче со счетом 90:77. Событие для израильского спорта беспрецедентное, с трудом воспринимаемое людьми с рационалистическим складом ума. А как иначе, если на твоих глазах в течение одного матча (и какого!) терпит крушение, без преувеличения, великая баскетбольная империя.



Оded Каташ (с мячом) во время матча Израиль–Словения второго тура чемпионата Европы.
Франция, По. 27 июня 1999 года

В подобного рода непостижимых историях, как правило, присутствуют не до конца выбеленные СМИ интригующие моменты. Наша история не исключение. За полтора года до этой игры Каташ был уволен с поста главного тренера своего родного клуба «Маккаби» (Тель-Авив) после шестимесячного пребывания в этой должности. «За

низкие успехи коллектива» (!) – по крайней мере, именно так говорилось в пресс-релизе «Маккаби» по поводу увольнения Каташа.

Человек не всегда контактный, однако всегда вежливый и сдержанный, свое увольнение лавроносный нынче Каташ переживал очень тяжело. Посидев дома пару месяцев, он был возвращен в команду «А-Позель» (Галиль-Эльон), с которой успешно работал до приглашения в «Маккаби».

По международным баскетбольным стандартам Каташ был, вероятно, самым одаренным израильским игроком за все времена национального баскетбола. При невероятной популярности этого вида спорта в Израиле подобного рода оценки дорогого стоят. Одед Каташ имел приглашения в несколько команд НБА, выигрывал Лигу чемпионов с греческим «Панатинаикосом» (тренер Желько Обрадович) и буквально пугал многие национальные сборные, с которыми предстояло сыграть израильтянам. В 2000 году Каташ вместе с «Панатинаикосом» обыграл в финале Лиги чемпионов родной «Маккаби», впервые наказав «свою» команду.

Врожденный вывих колена прервал карьеру этого талантливого игрока. Завершив в расцвете сил игровую карьеру, он стал даровитым, проницательным и оригинальным тренером.



Одед Каташ празднует чемпионский титул

У него безупречное понимание игроков. Он не ошибается в выборе легионеров, что важно при скудном бюджете клуба. Каждый из его игроков готов полностью выложиться на площадке. Ребята в команде не просто ценят и любят его, они его боготворят.

Молодые израильтяне, делающие игровую карьеру в баскетболе, мечтают попасть к Каташу. Они знают, что только он один, ни секунды не колеблясь, может поставить 18-летнего игрока в стартовую пятерку команды. И баскетболисты, и болельщики знают: быстрый качественный скачок в профессиональном росте можно совершить только у одного тренера в Израиле, и зовут его Одед Каташ.

Некоторые сравнивают Каташа с португальцем Жозе Моуриньо, футбольным тренером, выигравшим с «Интером» все имеющиеся континентальные титулы. На мой взгляд, трудно найти что-либо общее между блистательным португальцем и не менее блистательным израильтянином. Хотя спортсмены одинаково безоглядно преданы и тому и другому тренеру.



Финальный матч чемпионата Израиля по баскетболу.

27 мая 2010 года

Центровой «Маккаби» (Тель-Авив) Янив Грин с мячом



Брайан Рэндел с мячом

В 1993 году та же галилейская команда отобрала титул чемпиона у «Маккаби», выиграв решающую игру дома. Тренировал галилейский клуб Пини Гершон. Теперь Каташ, считающий Гершона великим баскетбольным наставником, отобрал золотые медали у «Маккаби».

Как тогда, так и сейчас, бюджет галилейской команды был в разы меньше, чем у бессменных чемпионов. Но не в деньгах, как в очередной раз выяснилось, спортивное счастье.

Интересно, что Каташ, отдохнув после торжеств и праздников, признался в интервью, что золото чемпионата страны – однозначно дело великое, которое переоценить ни в коем случае нельзя, но после добавил: «Все равно, как игрок я добивался большего, жаль, что этого не понимают сегодняшние болельщики».

Так ли это на самом деле? Да, он был великим баскетболистом. Теперь великий, без преувеличения, тренер.

После выигранного титула вся Галилея гуляла неделю, ни на минуту не прерываясь. На фермах и в кибуцных столовых, в селах и мошавах народ праздновал победу, по праву считая ее своей.



Тревога на лице Пини Гершона

Праздником дело не ограничилось. 36-летний Каташ получил предложение из Иерусалима, от которого трудно было отказаться. Столичный «А-Поэль» связывает с молодым тренером свои самые амбициозные планы.

В межсезонье началась подготовка к новым играм. В руководстве «Маккаби» не простили Пини Гершону потерянного титула и отодвинули ветерана в сторону. Место главного тренера занял наставник сборной России 51-летний Дэвид Блат, вернувшийся в клуб после шестилетнего перерыва. Дэвид уже работал с «Маккаби» прежде. На этого «своего» тренера в знаменитом клубе возлагают большие надежды.

В принципе, все перемены и переходы ожидаемы и объяснимы. Но как-то слишком быстро все произошло, слишком необратимо и предсказуемо: ошибся – уйди, победил – поднимись выше. Впрочем, это уже из области рассуждений, которые в сегодняшнем спорте, видимо, не к месту.

АВТОРЫ АВГУСТОВСКОГО НОМЕРА

Àëäëññí àðíá (à 1961) óëëíëíá ëëòáðàòóðíúé éðëòëé, ведущий программ на телеканале «Культура» («Разночтения», «Порядок слов») и радиостанции «Эхо Москвы» («Книжечки»).

Íëññí à Àëäëñññíà æóðíáëëñò, лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2002».

Áíðëñ Áàðáááííá (à 1973) æóðíáëëñò, музыкальный обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ».

Í ëðáëé Áíðáëëé (à 1946) ÿññíëñò, íóáëëòëñò, ëëòáðàòóðíúé éðëòëé. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

Ðëíí í Áðíí áí (à 1967) ëððáëëññëé æóðíáëëñò, íóáëëòëñò (газеты «Вести», «Новости недели», «Форвертс», журналы «Йеда», «Новый век», радиостанция «Седьмой канал» и др.).

Í àðé çáë:ëé (à 1947) æóðíáëëñò («Континент», «22»), прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»).

Ëññýë-Ëáíóá çëíáð (1893-1944) íðíçáëé è æóðíáëëñò, писал на идише. Автор романов «Сталь и железо», «Братья Ашкенази», «Семья Карновских» и др., книги очерков «Новая Россия», воспоминаний «О мире, которого больше нет» и сборников рассказов.

Àëäëññí àð Ëëë:áñëëé (à 1970) íðíçáëé, íýò. «Случай», «Не-зрение», «Волга меда и стекла», «Нефть», «Ай-Петри», «Гуш-мулла». Лауреат премий им. Ю. Казакова (2006) и «Русский Букер» (2007) за роман «Матисс».

Àëáí à Ëäëàóíëëíáà æóðíáëëñò, óëëíëíá автор книги «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками».

Ëáðáòí èäé Ëëòíáð (à 1972) ðáááëí, посланник Любавичского Ребе в Милуоки, штат Висконсин, США. Участвовал в проектах Rabbi.ru, Shma.ru и Jew-Club.com.

Борис Кли́н (р. 1970) журналист, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2006».

Ëëðëëé Ëíáðëí (à 1964) ëñòíðëé, íðíçáëé, æóðíáëëñò («От “Мабиногион” к “Психологии искусства”», «Книжный шкаф Кирилла Кобрин», «Где-то в Европе» и др.) Работает на радиостанции «Свобода» в Праге.

Àðëááëé Ëíáëññí áí (à 1949) ëñòíðëé, зав. кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура» и др.

Î æð Êæñíî (ð. 1959) îðáíååòæü êñîîðêê êóåæçì à переводчик и публицист. Автор книг «Владеющий Именем», «Еврейская чертовщина».

Î eōāēē Êēîēēî (ā. 1966) îāōāîā-ēē îāîāēēēîā ē ēāēōā («Пять отцов-основателей сионизма» Бенциона Нетаньяху).

Áàñíàdǎ Ī áěàì óǎ (1914-1986) àì àdèéàíñèéé í'èñò'áéü автор романов и рассказов. Лауреат Пулитцеровской премии, золотой медали Американской академии искусств и литературы и др. По-русски издано четыре сборника рассказов и роман «Мастер».

Àòáíáñéé Ì àí áúâ (ä. 1960) æóðíáèèò è ìðíçàéé. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам». Финалист Букера-2003, премии им. Льва Толстого (2005), лауреат премии им. Казакова (2007).

Àéàîîé Î îéðîîîâ (ð 1965) èèðàðîðîîîé è ðîîîæîðîîîîé èððèé,
печатается в журналах «Синий диван», «Теория моды».

Асєòòдєѣ І ѱ:аєіаѱ оєєієіаѱєаєіѱ, директор центра «Сэфер»; зав. Центром славяно-иудейских исследований Института славяноведения РАН; автор работ по истории восточноевропейского еврейства.

Ёс҃а Іѣаеіпѣу еіѳоїѡаїи, автор статей о русских художниках и архитекторах, куратор, арт-критик, художник. Публикуется в изданиях: «Проект Россия», «World Paper».

Ierōān Iteĩĩneé (d. 1958) iĩĩœyðeçaoĩđ eóãæçĩ ã публицист.
Преподаватель Торы в Университете Бар-Илан. Автор ряда монографий и статей.

Àéàrĩíàḍ Dàĩĩĩḍò (à 1960) ńyò (сборники «Образ жизни», «Имя и число») и журналист.

Áeáíá Ðeí íí èèòàðòóóñáá, íáðáñ-éé, доцент кафедры еврейского наследия в израильском университетском центре «Ариэль».

Ááíèèè Ðíí áííâíèèè (ð. 1952) ñí äöèàèèñò íí ííâíéðáé áâðéñíé èñòíðèè,
 сотрудник Центра по исследованию антисемитизма им. Видала Сассона в Еврейском
 университете в Иерусалиме.

Ááñíéé Nîøèèí (à 1974) íîýò, ôèèîèîã äáññèòîð (журнал «Солнечное сплетение»). Автор книги «Горенко и Мандельштам», статей о русской литературе.

Î adê Ôadêôîîâ (d. 1937) îdîçaeê, ýññeñò, îîýò, îadîñâ-ee Первый лауреат русской Букеровской премии (1992).

Ààèí Øòàéíçàèüü (ð. 1937) ðààèí, íàààñã ó-àíüé. Основатель новаторских учебных заведений и просветительских организаций в Израиле и СНГ, в том числе Института изучения иудаизма (1990). В 1988 году удостоен высшей награды еврейского государства – Премии Израиля.

Ĭ ēōāēē Ÿāēüōāēī (ā 1972) ōēēīēīā ēēōāāōōīūē ēēēōēē
заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели». Печатается в
«Русском журнале», «Новом мире», «Знамени» и др.

Ĭ ēāā Pōāā (ā 1959) īīyō, īōīçāēē («Франкфуртский выстрел вечерний»,
«Винета» и др.), драматург («Мириам», «Маленький погром в станционном буфете» и
др.), переводчик. Участник ленинградского неофициального объединения «Камера
хранения».

Đāīā Bēīāāēāy ēēīīāā, ēēīīēēēōēē, īēīāōāēū Печаталась в журналах
«Советский экран», «Искусство кино». Автор книги «Сибирские палестины».